

ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ

Заложники

Les Éditeurs Réunis
Paris

ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ

ЗАЛОЖНИКИ

роман — документ

LES ÉDITEURS RÉUNIS

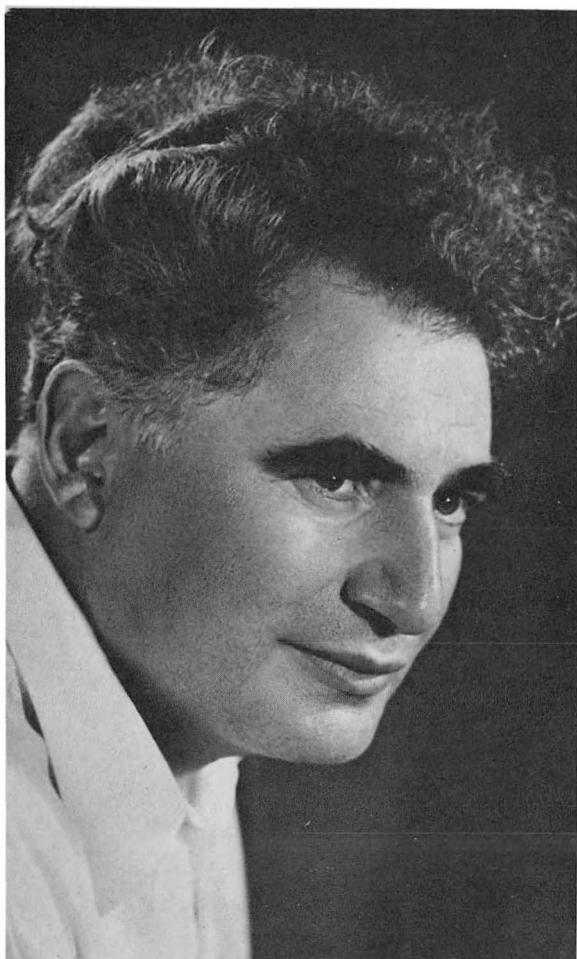
11, rue de la Montagne S^{te} Geneviève, Paris V^e

© 1974 — Les Editeurs Réunis, Paris

Printed in Belgium

*«... наш поезд уходит
в Освенцим —
сегодня и ежедневно.»*

Александр ГАЛИЧ
Москва, 1969 г.



ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕОЖИДАННОМУ ИЗДАНИЮ

Улетают из Москвы евреи. И неевреи. С Шереметьевского аэродрома. В Израиль или куда глаза глядят. А вслед за ними с Олсуфьева и других военных площадок взлетают транспорты с оружием, чтобы евреев убить.

Такова действительность. Нет конца кровавым трагедиям на Голанах, в Синае, в Тель-Авиве, Лоде, Мюнхене, Лондоне — где ныне не убивает евреев русское оружие!

Я надеялся на перемены в России. Всю жизнь. Порой вопреки очевидности: некогда видел, своими глазами видел, зеленые всходы равноправия, не ведая еще, что это зеленое чудо посеяно на каменистых осыпях беззакония...

Я верил в перемены в России и, как мог, готовил их.

А русские писатели дарили мне бронзовых и деревянных Дон Кихотов. Целый музей Дон Кихотов.

Я надеялся на перемены в России, не мысля еще об Израиле, как о выходе.

Я писал эту книгу, надеясь на остатки человеческой совести, на крохи благоразумия...

Выстрелы в Чехословакии расстреляли мои надежды.

Как бы мне хотелось ныне «подправить» свой роман-документ, который я был вынужден схоронить в России и издание которого поэтому для меня неожиданно. Как бы хотел выглядеть перед читателем умнее, прозорливее, внутренне свободнее. От затверженных цитат. От каменного

давления газетного листа, которому в России и веришь — и не веришь.

Увы, из песни слова не выкинешь. Как было — так было!... Я не вправе «прозревать» — до времени, не вправе спрямлять сейчас свою, и не только свою, дорогу: тем же торным путем двинулось сейчас трехмиллионное русское еврейство, в котором пробуждается, наконец, достоинство древнего народа.

20.X.73 г.

ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В Союзе советских писателей праздновали юбилей известного прозаика. С уважением говорили о свершенном им. Дело шло к концу, приветственные адреса в дорогом коленкоре громоздились на столе Монбланом.

А сам он сказал вот что: «Как-то, в конце войны, я видел в Болгарии такую сцену. По селу шел очень толстый человек, оплетенный рыбацкой сетью. На вытянутых руках он нес пишущую машинку. Его подгоняли солдаты.

Была страшная жара, толстяк пошатывался; казалось, вот-вот упадет. Я хотел вмешаться, но затем решил подождать: слишком необычно было зрелище.

Оказывается, так в этой местности поступали с воров. Толстый человек ограбил Правление рыболовецкой артели. Унес сеть и пишущую машинку.

И вот вели вдоль всего села вора, и он нес украденное им...

Надо бы и нас, писателей, в наши торжественные юбилеи прогонять вот так по городу, по главной улице, и чтобы мы держали на вытянутых руках то, что украли у народа. То, что обязаны были написать, но — не написали. Обязаны были сказать, но — не сказали. О, это было бы поучительнейшее шествие!»

Меня поразило не только то, что сказал юбиляр, но и как он это сказал. Он был бледен, голос его пресекался,

словно он говорил не на своем юбилее, а на Страшном суде.

Видно, много нес он на своих трагически вытянутых руках.

Я хотел бы нести меньше по нестерпимо жаркой улице своих размышлений, своего раскаяния. Поэтому я приступил к этой работе.

Я написал бы ее так или иначе. Больше невозможно молчать о ранящей, но как бы не существующей стороне жизни; это недостойно человека и писателя, низко, преступно, в конце концов.

Не скрою, я хотел бы забыть о ней, я просто мечтаю забыть о ней; она не отпускает меня, как, случается, не отпускает боль.

Мне скажут, книга *односторонняя*. Только о боли...

Да, и в этом нет беды: другие стороны бытия — в других книгах, в том числе и моих, которыми я жил, увлеченно и подолгу, уходя от того, что написано в этой.

Мне советовали изменить фамилии. Конечно, это — легко. Преврати я, к примеру, поэта Сергея Васильева даже в Василису Прекрасную, не было бы на Руси ни одной читающей души, которая бы его не узнала.

Но, в таком случае, повествование потеряло бы документальную основу. А оно должно быть, оно обязано быть, прежде всего, документом; тем более, что пройдет много времени, прежде чем книга увидит свет...

Роман — строго документален. Все приведенные в нем факты и фамилии — подлинны. Опираются на письменные свидетельства.

Здесь нет места слухам. Пишу лишь о том, что *видела и испытала моя семья*.

ЧАСТЬ I

«НАШИ ВОЙСКА ОСТАВИЛИ
ГОРОД КРИВОЙ РОГ»

ГЛАВА 1.

Полина подъезжала к заводу. В это время донеслось из репродуктора: «Наши войска оставили город Кривой Рог».

Показалось вдруг, перестал звенеть и гроыхать трамвай, притиснутые друг к другу люди закачались вместе с ним, беззвучно, как колокол без языка. Голос диктора, глухой и торопливо-ускользающий (об оставленных городах всегда упоминали скороговоркой), не утихал: «... оставили Кривой Рог».

Толпа вытолкнула ее из вагона и понесла к заводской проходной. Что-то крикнул вахтер. Она услышала свое: «Оставили Кривой Рог»...

На первом этаже находился цех молочной кислоты. От сырых осклизлых плит остро воняло прогорклым маслом. Молоденькие лаборантки пробежали, задерживая дыхание.

В своих белых, начищенных зубным порошком спортивных туфлях Полина топталась на площадке первого этажа. Подруги потащили ее наверх.

— Ты чего?... Что с тобой?!

Она молчала...

... Спустя неделю Полина увидела в университете объявление: «Лица, знающие украинский или белорусский язык, должны обратиться в Комитет комсомола».

Она побежала в Комитет. Там спросили: если ее решат забросить с десантом в родные места, согласится?

— Господи! Конечно!

Ее направили в партком. В парткоме вели разговор по-серьезному. Какие-то подтянутые мужчины в гимнастерках без петлиц долго допрашивали ее, листали документы, медицинские справки. Велели заполнить анкету.

Теперь оставалось только ждать.

Но потом ее вызвали и сказали: — Вас нельзя отправлять туда: немцы расстреливают евреев. Всех.

У нее занялось дыхание. Так значит, это правда?!

— Як вы думаете, товариши командиры, схожа я скільки-небудь на єврейку?

— Нет, не похожа.

— Так напишите в паспорте — украинка.

— А если докажут, что вы еврейка?

— Та кто?

— Соседи. Найдется сволочь...

— Та вы в своем уме? Этого быть не может!... Возьмите меня! Я там каждую тропку знаю!...

Она вышла на лестницу, — идти было некуда, — села на ступеньку и беззвучно зарыдала, прикусив палец на сгибе.

«Как могут так думать? Выдадут...»

«Мамо-мамочко!... — Она словно увидела свою мать, босую, в широкой и подоткнутой, как у цыганки, юбке. Мать скребет полы, готовясь к приезду Полины. — Ты же везучая, мамочка!

Сколько помнила себя Полина, в доме не переставали говорить о том, как им везет. Чуть беда, крестьяне спасают, соседи. Сплошное везенье!

В село врывались то Махно, то Петлюра, то синие, то зеленые, то жовто-блакитные. И всякий раз кто-нибудь из соседей стучал в окно: — Бежите!

Прятались в пустой конюшне. В сене. Однажды схоронились в сене, а махновцы поставили в конюшню эскадрон.

Мать с той поры стала суеверной. Уверовала в судьбу. «Как ржали и били копытами лошади, а нас, все равно, не выдали».

Случалось, кидали маме драную «спидницу», драный

платок. Лицо сажей мазали. Когда внезапно наскочили махновцы, соседка встала в дверях, сказала коротко: «Здесь тиф!»

Но деда все же схватили — деникинцы или петлюровцы. Набросили на сук веревку и, собрав крестьян, тут же, во дворе, повесили жида.

Село встало на колени и отмолило деда.

Его вынули из петли. Он три дня не мог слова молвить. Только смотрел на всех круглыми изумленными глазами, точно спрашивал — сон это или не сон?

В тридцать четвертом году пришла другая напасть: арестовали сразу всех маминых братьев, которые жили в Баку, с бабкой. Привезли домой, на Украину. Искали золото.

В доме взломали половицы. (Их уже дважды ломали: при гетмане Скоропадском и при атамане Зеленом). Выпотрошили перины. Куда спрятали золотишко? Признавайтесь, в бога душу! — Брат мамы, дядя Самуил, был человек вспыльчивый. Рванувшись, выбил следователю зубы. Дядю Самуила топтали ногами...

И опять село отмолило. Сбежались все, и стар, и млад. Заговорили разом: Забежанских всю жизнь знают. Безземельные.

— ... У них не тильки золота — хаты немає! — закричала молодка, у которой они снимали половину. — Сдаю ж им! Нехай у вас очи повылазят, коли вы и того не бачите!

Это убедило. Ничего не поделаешь, коль за всю жизнь хаты не слепили, значит, точно, голытьба. Выпустили братьев.

Но бабка умерла. Не вынесла ареста детей.

Своей хаты не было — это еще полбеды. А вот когда с хлебом стало туго...

Соседи спасали. Пока сами пухнуть не начали.

Никого не пощадил тот страшный, памятный Украине голодный год. В Широком уж давно хоть шаром покати, хлеб можно было достать только на Ингулецком руднике. Шахтерам выдавали.

Все, что можно было продать, вынесли на рынок. Поду-

шек и тех не осталось. Мамино пальцецо выменяли на пшено, и она бегала по морозу в жакетке.

Уцелела одна только темно-зеленая скатерть — подарок прабабки. Единственная фамильная ценность. Ее берегли, как реликвию.

Зимой отец упал на улице в Кривом Роге. Его отвезли в больницу.

Мать, желтая, с опухшими ногами, заперла детей и уехала за хлебом, — в Минводы, в Николаев.

Полина старалась не глядеть на полку, где за занавеской стояла миска с драгоценным зерном. Шли часы, Полина толкла две горсти зерна в ступе, пекла лепешки. Потом зерно кончилось. Дверь не открывали никому: уже были случаи людоедства.

Но однажды в хату, через окно, влезли двое чужих. Полина успела откинуть скалкой крючок и выскочить на улицу. Сбежались соседи. Успели...

«Как могли такое о них подумать? 'Выдадут...' Ее выдадут? Или, может, отца?!...»

Отец вспоминался, как праздник...

Соседи рассказывали, как женихался он в бабкиной мазанке: в реденькой шинели, под мышкой — малярная кисть, обернутая газетой. С немецкой пулей в плече и солдатским мешком за плечами, в обвязанных бечевкой ботинках, отец вернулся с империалистической войны.

Бабка подозрительно осведомилась, умеет ли он хотя бы управляться со своей кистью. Или по дороге подобрал? Солдат указал кистью на небо:

— Глянь, стара, як крыл. Голубым колером. Сколько держится! Не выцветает!...

Бабку извечная шуточка маляров рассердила. У нее были свои отношения с небесами. Не любила она, когда вот так, запросто, тыкали палкой в твердь. И потом, не такая она старая...

Зато заливчато рассмеялась Роза, дочь, выглянувшая, как на грех, из мазанки.

... Отец был добряком, этим пользовались все вокруг:

матери он приносил в лучшем случае половину полочки. Остальное у него разбирали в долг.

Но лицо у него было суровое. Пока бабка жила вместе с ними в Широком, он и за столом сидел, как в строю стоял. Шутил, не улыбаясь. Считанные разы помнит Поинка, когда целовал.

Но просьб детей никогда не забывал.

Ни ручек, ни тетрадей в деревне, ни карандашей. Ничего нет. Когда не мог достать сразу, приносил потом. Иногда аж через полгода. Поинка забывала, а отец помнил. Из Харькова привез логарифмическую линейку, которую она попросила однажды в позапрошлом году.

А случится прикрикнуть на детей, сам себя чувствует виноватым, так что и глаз не подымает. Щека дергается, видно, контузия дает себя знать.

Об отце думалось светло. От мыслей о нем легче стало.

... После занятий Полина отправилась на другой конец города, к московскому дяде, как уважительно называли его дома, на Украине.

Дядя собирал посылку для семьи. Свою семью отправил в эвакуацию.

Фанерный ящик был обит железными уголками. Дядя, человек обстоятельный, не спеша, укладывал зимние вещи, мясные консервы, желто-красное кольцо голландского сыра, похожее на спасательный круг. Сказал, не повернув головы, как о чем-то само собой разумеющемся:

— Твои, наверное, тоже эвакуировались. Не могли остаться... — И принялся заколачивать ящик.

Полину этот ящик с адресом на крышке словно в сердце ударил.

Нет у нее теперь домашнего адреса. Где был дом, адрес, там теперь черная пустота.

ГЛАВА 2.

16 октября 1941 года на Карповском заводе рассчитали рабочих, вернули всем трудовые книжки и раздали деньги.

Цеха были опечатаны. Всем велели идти в огромный, как вокзал, механический цех. Собрались ветераны, девушки в черных халатах и куртках из чертовой кожи. На шапках очки мотоциклетные, будто сейчас дадут маршрут и все куда-то умчатся.

Маршрута не дали. Уходите, сказали им, кто куда.

Рабочие толпились потерянно в своих черных спецовках.

Трамваи не ходили. Прогромыхал один вагон с платформой, груженной мешками с песком. На мешках тряслись счастливицы.

От Дорогомиловской заставы до центра не близко. Пока добралась до Университета, стемнело.

Манежная площадь выкрашена фантастическими квадратами. Какие-то ромбы, треугольники. Кубизм сорок первого года. Прямо на мостовой намалеваны крыши домов. Университет обезображен коричневыми и серыми полосами. Затемнение полное. Не горят даже синие лампочки.

Полина взбежала по темной факультетской лестнице.

Заместитель декана Костин, на корточках, жег в печке бумагу. Отсветы пламени плясали на его лысом темени.

Полина принялась помогать Костину.

Ночевали на факультете. Стены промерзли, в углах выступил иней. Утром зажгли газ, накалили на огне кирпичи. Стало чуть теплее в старинной лаборатории с высокими потолками.

Костин распорядился, чтоб все уходили. Заводы эвакуируются, Университет тоже. Бросил взгляд на Полину: — Если некуда идти, устрою...

А через три дня Полина ехала в Горький с эвакуированным авиазаводом. С поезда — прямо в цех. На сборку шасси.

Ее поселили в общежитии инженеров. В полночь ввалилась компания: принесли ведро винегрета, патефон, две бутылки желтоватой водки; оказалось, у кого-то день рождения. Полина была единственной дамой, и они прошили ее потанцевать с ними.

Полина посидела у стола полчаса и, как только ребята запели (не для нее ли?): «Стоит гора высокая, а пид горою гай...» — убежала на улицу.

Дом стоял в лощине, рядом темнел лес. Буря разгладила снег, как катком. Снег глубокий, на Украине такого не увидишь.

Взошла луна, зеленовато-серая, дымчатая. Полина глаз от нее не могла оторвать.

Одна луна: и в Горьком, и — дома.

«Воны зараз б́ачать цю луну?... Б́ачать?!»

Долго стояла она на ветру в своем бумазейном платице. Потом незаметно вернулась, прошмыгнула мимо комнаты, где бурлило именинное веселье. Забилась в каморку под лестницей. Как можно сейчас вертеться под патефон?

«А що як вони вмирають зараз? В цю минуту... з а л п?»

Утром она заглянула в почтовый ящик. Пусто.

Дня через два пришли открытки от Владислава, ее университетского товарища; они ранили тем сильнее, чем больше слова его походили на мамины.

На улице Полина догоняла подростков: в каждом виделся брат. Кидалась со всех ног, то за невысоким — таким

его оставила, — то за длинным и худющим: ведь в последнем письме ей писали о том, что он вырос.

Глубокой ночью (она работала в ночную смену) она заприметила в столовой тощего оборванного подростка, который доедал из железных мисок. Озираясь, он сгребал корочкой хлеба кашу и низко, стыдливо склонялся над миской.

Полина кинулась к нему. Нет, он не был похож на брата, но что-то оборвалось в душе, и Полина усадила его за свой столик, отрезала крупы из рабочей карточки на два супа, кормила его до тех пор, пока он не поднал виновато-счастливые глаза и сказал: — До горлышка залился!

По дороге домой мальчик рассказывал: отец и мать у него — врачи, оба на фронте. Сам он жил в Орле с бабушкой и братом. Когда подошли немцы, бабушка не могла двинуться, сказала им — уходите. Они разревелись, но ушли вместе с войсками. Братишка хныкал: «живот болит...» И сейчас он, старший, слышать не может, когда тот ночью плачет от голода. Отдает ему хлеб, а сам доедает из мисок.

Полина кормила его и на следующий день. Потом уговорила начальника взять мальчишку в цех, где давали рабочую карточку. Тот помялся, но взял. Мир не без добрых людей.

На первую зарплату Полина купила учебники, которых не было в Москве; и осенью, когда узнала, что Университет снова начинает занятия, завернула в одеяло, вместе с подушкой, свои драгоценности: «Органическую химию» Чичибабина и «Физическую химию» Раковского и отправила с оказией к московскому дяде. Стала ждать вызова на учебу.

В чемодане, под бельем, хранилось последнее письмо из дома. Полина доставала его, когда никто не видел. Не было в письме никаких назиданий, хоть батька и мамочка прислали фотокарточки, как сердцу чужало... Весь страх, все слезы свои они высказали в одной, будто случайно оброненной фразе: «Мы надеемся, ты никогда не забудешь, зачем поехала в Москву...»

Кроме Университета в жизни не оставалось ничего. Он был теперь и семьей, и надеждой.

Наконец, прибыла бумага от Костина. Оставалось получить пропуск.

У Полинки были летние туфли. Сверху было все в порядке, но от подметок почти ничего не оставалось. Она наколола ногу, и нога нарвала. А пропуск все не давали!

Полина уволилась с завода и, завязав ногу тряпкой, двинулась в Москву. Без пропуска.

Воинский эшелон довез ее до станции со зловещим названием — Обираловка. Дул свирепый ветер. Полина едва держалась на ногах.

Баба с пучком лука в руке поглядела на девочку в жиденьком зеленом пальто, с раздувшейся ногой и повела к себе погреться до поезда. Дома она промыла своими загрубелыми пальцами рану, обложила столетником, перевязала. Выставила на стол миску дымящихся щей, а под конец даже научила, как на вокзале, в Москве, пройти, чтоб не попасться, — «в какую дырку»...

У «дырки» Полину задержал милиционер, с красными от холода ушами, и повел прихрамывающую девчонку в отделение. Там он перебрал ее документы. Пропуска не было.

— Живой вы меня назад не отправите! — сказала грозно Полинка.

— Не вкоччи! Как кура! — прикрикнул милиционер, продолжая листать бумажки. Справку из Университета даже на свет поглядел. Вывернул полинкин кошелек, от туда выкатились три копейки.

Милиционер посмотрел на ее деньги, вынул из своего кармана полтинник и сказал сурово:

— Вот тебе на метро. Я тебя не видел.

Из милиции прямо в Университет. Приковыляла к Костину. А Костин ушел. Будет завтра...

Полина почувствовала, что изнемогает. Если присядет, не встать.

Потащилась к дяде.

Позвонила в дверь, и сразу: — Было что от моих? А?

Московский дядя покачал головой. Оглядел Полину с ног до головы, стащил с себя огромные армейские валенки. — Надевай!

В этих жарких, как печка, солдатских валенках сорок четвертого размера (потом ей завидовал весь курс), Полина на другой день явилась к Костину.

— Забежанская? — сказал Костин невозможно-спокойно, как будто только вчера расстались. — Опаздываешь. Иди занимайся!

Помявшись, Полина призналась: пропуска в Москву у нее нет. Но нельзя ли ей посещать лекции... без московской прописки?

Костин покряхтел, поскреб ногтями в затылке, боязливо поглядел куда-то в окно, — видимо, оттуда и могли дать ему за такие дела по его лысому темени, и выстукал на огромной черной, как катафалк, машинке, приказ. Зачислить на работу. Выдать рабочую карточку.

«Без добрых людей я бы околела», — сказала мне Полина через много лет.

Я не спорил.

ГЛАВА 3.

Кривой Рог брали дважды: в январе, а потом в марте тысяча девятьсот сорок четвертого года.

Полина писала во все концы: родителям, подружкам-одноклассницам, в райком. Ответа ни от кого не было.

Этой зимой ей исполнилось двадцать лет. В день именин она сидела одна перед железной печуркой и писала письмо подруге: «Четыре года не видеть родных! Мне хочется кричать. Такой день, а я всем чужая...»

Вечером появился длинный Владислав, Владя, милый недотепа, аспирант-физик, единственный, кто вспомнил об ее дне рождения. Он держал в тонких руках кулек с крупой и несколько морковок. Прорекламиривал в дверях как-то лихорадочно весело:

«... две морковинки несус за зеленый хвостик!...»

Владя был добр, самоотверженно выносил полинкину угрюмость. Ей было жаль Владю, а сегодня даже больно, что из-за нее хороший человек мучается уже столько лет.

Владя был полон решимости добиться ответа «сейчас или никогда», ни разу даже не обмолвился сакраментальным «мама сказала...», но, в конце концов, был выпровожен с очищенной морковкой в руке.

... Вдруг позвонили из деканата: «Беги скорее, тебе письма из дому! Два письма!...»

Она прибежала, рабочий халат вразлет, схватила конверты. На одном почерк брата.

Письмо было старое-престарое. Не успели отправить?! В конверте те же фотографии — отца и мамочки. «На долгую память»... Почерк брата, родители редко писали, стесняясь своей малограмотности. Внизу приписка: «Я не могу дождаться той минуты, когда получу от тебя телеграмму и выйду тебя встречать...»

На втором конверте почерк чужой. Полина разорвала конверт, вынула сложенные листки. Глаза скользнули по фразе: «...Мама просила показать тебе, где они похоронены...»

Полина быстро перевела взгляд на письмо брата, которое по-прежнему держала в руках. «... Не могу дождаться той минуты, когда ... выйду тебя встречать...»

Полина вернулась в лабораторию, держась за столы. Глаза ничего не видят. Все расплывается. В колбе идет реакция с натрием. Чуть что — рванет, осколков не соберешь...

Никто не сказал Полине: «Оставь!» Но за ее спиной стояли наготове лаборантка тетя Варя и угрюмый старик — профессор Юрьев, ведавший студенческим практикумом.

В мыслях одно было: «За что? За что?! За то, что — еврей?!»

Этот вечер был праздничный. Освобождена Одесса. Над Кремлем салют. Университет освещен фейерверками. Небо над головой стало плотным, это была небесная твердь; и ракеты расшибались о жесткое средневековое небо, рассыпаясь зелеными, красными, синими искрами.

Сил не было оставаться в Москве. Домой! Домой! Хоть на неделю. Добилась пропуска в прифронтовую полосу. Костин помог.

... Полина, с котомкой за плечами, соскочила с подножки на станции Червоное, последней перед Кривым Рогом. Было раннее утро. Отгрохотал последний вагон. И стало слышно, как засвистал ветер в руинах, громоздившихся на

месте некогда аккуратной беленькой станции. Красная кирпичная водокачка, выщербленная осколками снарядов, высилась одиноко посреди голой степи.

Пустырь, на котором стояла Полина, осветила узкая, с военными наглазниками, фара.

— В Широкое?

В кузове желтела пшеничка. Оказывается, из Широкого вывозили зерно, которое немцы не успели сжечь.

— Хлеб буде! — весело крикнул парнишка-шофер. — Факельщики подпалили жито и побегли, а мы гуртом, как навалимся с лопатами. Гуртом чего не сладишь... Ты чего не улыбнешься?

Полина стояла в кузове, держась за кабину. Ветер бил в глаза, обдавая прелым житом, горьковатым кизячным дымком, сладким липовым запахом. Ветер из Широкого...

Полина видела его таким, каким оставила.

Мазанки хоронились в яблонево цвет, почти не различимые. Махровая сирень наступала на прохожих сквозь плетни и, чтоб пройти к соседу, надо было отстранить белую кипень.

Машина прикатила в Широкое, и Поинка огляделась ошеломленно.

На центральной улице, по которой тащилась, трясясь по изрытой земле, полуторка, были спилены все деревья. Все телеграфные столбы. Нет, не повалены артиллерийским огнем. Это бы заметила. Спилены. Длиннющая, казалось в детстве, нет ей конца-краю, улица стала голой, и старые, вросшие в землю мазанки и накрененные, на одной петле, облезлые калитки — все обнажено.

Машина подвезла до самого крыльца. Дом цел! Дверь нараспашку. Остановилась у двери в смятении, в ужасе, заставила себя переступить порог, на котором был брошен знакомый истертый коврик.

Половина хаты, в которой они жили, была только что побелена. Потому и дверь раскрыли. Сохла побелка.

Пустые, выбеленные для новых жильцов комнаты...

Медленно прошла по скрипучим половицам. В спальню.

Там, где раньше стояли кровати, краска не облезла. Свеже-вымытые доски поблескивали желтизной. Посреди комнаты, как две желтые плиты.

Полинке показалось, что увидела наяву... Стоят две кровати, между ними низкая самодельная тумбочка, остро пахнущая сосной, отцовское изделие. Запахи родного дома! То ли засушенным чебрецом пахнет, который в глиняной вазочке на столе, у большого зеркала. То ли осыпавшимися на подоконнике желтыми лепестками хризантем. Нет, всеми цветами вместе — густой, ярко зеленой китайской розой, вьющимся «паучком»...

А на тумбочке, как всегда, шахматы. Худенький лобастый, очень серьезный для своих десяти лет, Фима, затворник, тихоня, сидит на полу возле шахмат, воюя и за себя и за своего противника. «Зараз тебе дам!» «На тебе!»

... Полинка вскрикнула, сделав усилие, чтобы вернуться назад, на сырой, целительный ветер.

На дворе зарыдала в голос прибежавшая откуда-то хозяйка.

— Мы ни в чем не виноватые!

У Полинки не было сил и слова вымолвить, лишь коснулась благодарно ее голой руки: бабий крик возвратил ей и этот голый чисто выметенный двор, и острый запах побелки, вытеснивший все остальное.

Она хотела только узнать, не сохранились ли фотографии. Семейные карточки... А? Ни одной?... Почему?

Хозяйка вроде не слышала задрожавшего голоса Полинки. Всхлипывала яростно: — Мы ни в чем не виноватые!

Полинка настороженно, словно по талому льду, пошла к соседям.

Соседи были — Мухины. Родители снимали у них, незадолго до войны, полдома. Одна махонькая кухонька на две семьи. Ладили. Мухины были, как свои.

Любка Мухина стала учительницей. Фиму учила.

... А подняться на крыльцо не было сил. Наконец, постучала. В комнатах не выметено. Душно. Бог мой! Окно завешено маминым платком, одеяло с маминой кровати, и

дорожка наша, полосатая... Любкина кровать не прибрана, ее войлочные тапки раскиданы, видно, Любка опаздывала на урок.

Любки, и в самом деле, не было. Только ее сестра.

Полинка не могла понять, чего она мелет. О родных ни полслова, одно лишь твердит запальчиво, будто оправдываясь:

— Вы в Москве думаете, нам тут легко жилось. А мы чуть не сгнули. Деревя жгли, столбы. — Обронила скороговоркой, как о пустяке: — На площади вчера полиция повесили. Который твоих убивал. — И снова зачастила про деревья...

У Полинки во рту пересохло.

— Любка-то... жива? Или и ее...

— Любка-то? Любка-то? А что?

Дверь распахнулась настежь. Вбежала, прогремев сапогами, одноклассница Нина Полуянова, исхудалая, кожа да кости, порывистая, как всегда. Схватила Полинку за руку.

— Пошли! Быстрее отсюда! Все расскажу! — Глаза у Нины огромные, навывкате, как от базедовой болезни, обжигающие, в них боль, крик: «Зачем ты здесь?!»

До ее дома на другом конце главной полуразрушенной улицы бежали, перескакивая через снарядные воронки, рывтины. Полина только успела выговорить в тревоге, задыхаясь:

— Так Мухины ж... Они — наши соседи.

— Были соседями! — жестко оборвала Нина, и обожгла базедовыми глазами: «Забудь о том! Со-седи!»

Полинка отстала, озираясь по сторонам. Никак не могла привыкнуть к обезображенной улице; одни грязно-серые пеньки, подпиленные до половины. Потом, видно, ломали деревья. Торопились.

И люди... Словно и людей не осталось. Сломали. По дороге попадет кто, смотрит остолбенело. Вроде Полинка с того света заявила. А старик один, школьный сторож, заметил ее, перекрестился и затрусил в калитку.

Другие не бегут, но глаза отводят.

У колодца Полинка увидела молодицу в широкой украинской юбке, со «стричкой», остановилась потрясенно.

На молодице были желтые мамины туфли. Мамины? Таких, с никелированной пряжкой, здесь не продавали. Дядя московский привез.

Молодица заметила, что на нее смотрят, взгляделась, в свою очередь, в Полинку и швырнула в ожесточении пролившееся ведро.

— Зараз скидать? Или когда застрелишь? Теперь твое время, жидовка!

Нина взглянула на догнавшую ее Полинку и схватила ее за руку.

— Не отставай! Тут можно и пулю схлопотать...

У соседнего дома к Полинке подбежали двое мальчишек в коротеньких, не по росту, рубашонках. Произнесли в один голос, широко раскрыв глаза:

— А вы у нас были вожатой!

Ребята за эти годы так вытянулись, что Полинка их не узнала. Обняла за худые плечи, с выпирающими лопатками. — Спасибо, мальчики! Спасибо, родные!

У дома стояла девочка-подросток. На тоненьких белых ножках. В валенцах. Видно, болела. Приблизилась неуверенно:

— Вы — Забежанных дочка?

Полинка видела, для нее она была такой же девчонкой. Только еще больше вытянувшейся. И потерявшей маму. Что понятней ребячьему сердцу?...

Дети двинулись за Полинкой, окликая по дороге своих дружков. Пока шли, перескакивая через окопчики, до нинкиного дома, ребячий табунок разросся.

И все тут же принимались рассказывать. Громко. Взахлеб. Мальчишки знали все. Где, кого, как расстреливали. Они все разглядели. Все знали. В свои десять — двенадцать лет такое увидали!

И в этот, и в другие дни мальчишки убегали из дома, как бы их ни запирали. К Полинке. Но по одному они все же боялись ходить *т у д а*. Они водили Полинку *т у д а*,

подбадривая друг друга тычками, затрещинами и нетерпеливыми возгласами: «Трусись?» — «Я там был, у кого хошь спроси!...»

И все говорили, не умолкая: Полина была единственным человеком на все село, который не знал еще, что было там. На карьере. Выпученные, с острым, как стекло на изломе, блеском черные от расширившихся зрачков глаза глядели на Полину и требовали, молили: «Выслушай нас!» «Выслушай нас!»...

... Нина, наконец, протолкнула Полинку в дверь, заперлась за ней от своих босоногих, хнычущих братишек, которым она на ходу материнским жестом утерла носы. И почти так же, как мальчишки, взახлеб, суматошно рассказала, как это было. То, что знала сама. И что рассказывал всем старик-возчик, который по наряду полицаев свозил евреев в клуб.

Но Полинке все еще слышались, главным образом, раздерганные мальчишеские голоса.

Немцы нагрянули в село, точно их из пушки выстрелили. Никто не ждал. Рыли окопы для своих. Услышали треск мотоциклеток. Выглянули из окопов. Маты мои! Шинели зеленые. Каски не наши. Они! Как мотоциклетки протрещали, все лопаты побросали и кто куда.

... Про родителей Полинки был слух, что уехали. Дня за три до немцев. Фима болел. Не мог идти. Пока родители подводу раздобыли, да пробивались по запруженному шляху, под Никоподем разбомбили переправу. Тут мотоциклисты их и настигли. На той же подводе вернулись домой. К соседям. Куда ж еще?

Неделя прошла, не больше, вышло распоряжение, евреи должны носить желтую звезду. Надо было зарегистрироваться и взять ее. «А зачем это? — спросил Фима. — Для позора?» Мать сказала: «Умру, а звезду не надену.»

... Безногая портниха Сима просила маму не выходить: «Роза, что надо, принесут!» Условились стучать в окно три раза: свои, значит.

На другой день постучала, как условлено, в окно

Мария Курилова, тоже соседка, сказала матери: — Всякое говорят, Роза, пусть Фимочка у нас живет. Только есть зови.

Куриловых Полинка знала. Шахтерская семья. Девять детишек.

— Где девять, там и десятый, — сказала Мария просто, хотя найди полицаи у Куриловых Фиму, вывезли бы всех Куриловых в карьер...

Нина подняла глаза на Полинку и... притихла. Лицо блее марли, глаза закрыты, губы синие. Словно Полинка легла навзничь там, вместе с родителями, в карьере.

Нина метнулась к ней, схватила полинкину руку, сжала ее. Наконец, заставила себя продолжать.

... Мать со дня на день ждала: придут! А спокойная была. Сын в безопасности. Счастье какое!... Отнесла к Мухиным все, что осталось ценного из вещей. Пальто зимнее, только справила; зеленую плюшевую скатерть — семейную реликвию. «Если что, — сказала, — Фимочке отдайте».

Чего ждала, стряслось в пятницу. Вечером постучали три раза. Свои. Мать открыла. Стоят немецкий офицер и полицай. Подъехала длинная фура.

— Запас еды на сутки. И на фуру! — приказал полицай и забросил ружье за спину: жиды сопротивляться, вроде, не собирались. Понятливые...

И к выходу пошли сами.

(Об этом полицай на суде рассказывал. И возчик.)

Немец тоже вложил пистолет в кобуру, усмехнулся нехорошо: торопитесь-де, торопитесь...

Мать переступила через порог, глаза скосила. Вдохнула облегченно. Нет Фимочки!

И, улыбнувшись, пошла к фуре... Улыбнулась, говорили, спокойно так, легко, вроде перед ней не фура разбитая, а дочерний свадебный поезд.

Тут Любка Мухина вышла из своего дома. Руки на кофточке скрестила. Брови подбритые.

И вдруг кинулась всполошенно по саду, к дому Куриловых, крича:

— Фимочка, Фи-имочка! Мама зовет!

Сын примчался, запыхавшись, когда родителей уже подталкивали тычками на фуру: они вдруг остановились у колеса и стояли так, недвижимо, плечо к плечу. Их прикладом по спинам, они вроде не чувствуют.

Увидел Фима полиция с винтовкой в руках, немца с открытой кобурой на животе, — все понял. Сказал негромко Любке Мухиной, своей бывшей учительнице:

— Тебе что, воздуху мало...

И пошел к родителям молча. Молча, поддерживаемый отцом, забрался на фуру.

Любка бросилась вслед заскрипевшей фуры, крикнула полицию:

— А у них еще дочка в Москве учится! Комсомолочка!...

... Полинка поднялась на ноги пружинисто, будто это не она только что бессильно горбилась на диване, спустив на колени вялые руки. Спросила низким голосом:

— Где сейчас?

— Кто?

— Она!...

Нина схватила Полинку за плечи.

— Ты что надумала?! Полинка? Будешь здесь сидеть! Пока отец придет...

ГЛАВА 4.

На другой день Полина узнала: приехал с фронта Володя Ганенко. Выскочила из нининого дома, не дождавшись завтрака.

С Володей Ганенко десять лет за одной партой просидели. В голодный год Володя вместе с отцом уходил на заработки. Полинка целый год отгоняла всех от своей парты. Это Володино место!...

И отстояла. Когда Володя вернулся, парта его ждала...

Парту эту за собой таскали. Заветная была парта. С тайником для записок. С нацарапанными буквами, которые потом закрасили черной краской; но их могли на память воспроизвести и Полинка и Володя. В сельской школе все парты и для первоклашек, и для басовитых выпускников, одного размера. Кто догадается, что парта кочует?

Да и кому какое дело! Верны своей парте, и прекрасно. Верность поощрялась. Как и озорство.

У каждого во дворе росла сирень. Но своя сирень — не сирень! Куда лучше соседская, тем более, что соседские псы давно всех одноклассников облизали, и на своих не брехали.

На столе учителя каждое утро расцветал сиреневый сад. Пока преподаватели разглядывали махровые бутоны, для этого нарезались самые лучшие, мичуринские сорта, по классу летали шпиргалки. Круговорот шпиргалок!

Все безнадежные балбески были давно закреплены за отличниками. За тупых задачки решали. За лодырей — никогда. Подход был строго индивидуальный. Математические гении пускали по рядам записки со своим ответом, балбески, в свою очередь, проверяли диктанты математических гениев.

Учителя знали это и каждому готовили отдельные листочки с примерами. Ребята соревновались между собой, и все примеры щелкались, как орехи.

К десятому классу почти половина была возвышена в дежурные гении.

Володя Ганенко был гением по математике.

Полинка в гении не попала. Она была просто химиком.

А на что классу химик, даже гениальный. Узкий профиль.

Когда выпадала свободная минута, заболел преподаватель, или в расписании было «окно», все садились верхом на парты, непременно верхом, как в седла, и начинались «музыкальные скачки». Сиреневый сад с учительского стола переезжал на подоконники, а на стол ставили витой учительский стул, и на него взбирался Володя Ганенко с баяном.

Баян был гордостью класса и хранился в окованном железом сундуке.

Вся школа прислушивалась к «музыкальным скачкам» ганенковцев, которые, как и все их поколение, были воспитаны на кавалерийских ритмах. «... Конница Буденного рассыпалась в степи», «... Я на стремя встану, поцелую сына»... «Встань казачка молодая у плетня...» И с присвистом...

Дверь закладывалась ножкой табуретки, достучаться никто не мог.

... Володя Ганенко вышел навстречу, такой же ершистый, быстрый, в суконной гимнастерке с погонями младшего лейтенанта. Яловые сапоги гармошкой. Ни слова не сказал, только положил руку на плечо: «Держись, Поля».

Накрыт в честь Володи стол. На нем ярко-красная черешня, недозрелые зеленые помидоры. Пирожки с капустой. Янтарный холодец. Словно домой пришла.

... Уже на донышке в графине желтоватый самогон. В большой глиняной вазе — лишь одно моченое яблоко.

Лица у всех, будто не встреча это, а поминки.

Белокурый расплывший Ваня Иванов почему-то матерится. И, главное, его не удерживают. Правая рука у Вани висит, как плеть. Отвоевался.

Налил Полинке граненый стакан самогона. Она отхлебнула глоток. Закашлялась, поставила стакан.

Рассказывала Люся Хоменко, властная девчонка с заостренным мужским носом, и жестами столь решительными, что после каждого стеклянным звоном отзывались мониста на ее белой шее. Люсю Хоменко сбросили в село с парашютом, и она знала тут все.

Люся рассказывала о докторе Желтоноге. Его самого, и всю подпольную шахтерскую группу немцы расстреляли за два дня до прихода наших войск. В том же самом карьере, что и полининных родных.

Кто выследил Желтонога?

Гестаповцы в Широкое не наведывались. Нашивок с костями и черепами на рукаве здесь не видали.

От чужих можно уйти.

От своих не уйдешь...

Желтонога знали все; скольких он спас от угона в Германию, выдавая справки Бог знает о каких болезнях!...

И его предали...

— Кто ж выдал? — нетерпеливо воскликнул Ваня Иванов. — Обрато Лиля?

Полинка взглянула на него с изумлением.

Лиля?

Володя Ганенко был последним предвоенным комсоргом широковской школы. Свое комсомольское хозяйство он передал флегматичной отличнице Лиле.

Флегматичный комсомольский секретарь, как только ворвались немцы, оказывается, повесил на школе плакат.



МАТЬ ПОЛИНКИ Р.И. ЗАБЕЖАНСКАЯ

**В паспорте у нее было написано «еврейка»:
16 сентября 1941 года убита выстрелом
в затылок полицаем-односельчанином.**

В нем предлагалось записываться в молодежную организацию «Звильнена Украина», в которую имеют святое право вступать все, «кроме жидов и москалей».

Вытащили украинские наряды — никто и раньше не запрещал их носить. Но раньше надевали по праздникам, а теперь каждый день. На шее разноцветные мониста. Как отличительный знак.

Учитель математики, Виктор Исаевич, приходил, рассказывала Люся Хоменко, к Лиле, своей любимой ученице, умолял выхлопотать пропуск его семье, чтоб хоть детей спасти.

Выгнала она Виктора Исаевича, хотя ничего ей не стоило выхлопотать: отец Лили, бывший председатель Райзмотдела, стал немецким старостой, разговаривал с плеткой в руке...

Скрестив руки на праздничной блузке, глядела Лиля, как на ту же скрипучую фуру, на которой уже стояла, обняв друг друга, полинкина семья, загоняли прикладами маленького беспомощного, без очков, Виктора Исаевича, швырнули его трехлетнюю дочь, которая пронзительно кричала, казалось, на все Широкое: «Мамочка! Тату!... Не садитесь на телегу! Не хочу, чтоб меня убивали...»

Володя Ганенко слушал, обхватив голову руками. И вдруг выбежал на крыльцо, закуривая, ломая спички.

— Давайте задушим ее! — воскликнул однорукий Ваня Иванов.

— Сиди! — жестко оборвала его Люся Хоменко. — Душитель-самоучка.

— А Зойка тут руки не приложила? — спросила мать Володи Ганенко, которая убирала со стола. — У ее дытына от немца...

Ваню Иванова снова пришлось сдерживать. «Немчура проклятая! — вскричал он. — Пока мы на фронте головы клали, они тут...»

Вернувшись, Володя Ганенко сказал рассудительно: «дитя — не улика...»

В «Звильненой Украине» кого только не было. Одни злодействовали, другие на танцульки ходили. А то детей заводили...

Мать Володи вздохнула, дитя есть дитя! Иные готовы были не то, что от немца, от пса понести.

«Немчура!» — вскакивал Ваня, и Люся Хоменко усаживала его прицельным тычком ладони, чтоб тот не бежал немедля таскать за волосья «немецких овчарок».

— А Мухина... где зараз? — сдавленным голосом спросила Полинка. — Любка Мухина...

— Дома. Где ей быть... — спокойно ответила Люся Хоменко. — За ней счет, мабуть, не такой большой, как за Лилей и Нинкой Карпец...

У Полинки перед глазами поплыла комната. Длинное зеркало на стене стало поперек, отчего и Володя, и Люся, и Ваничка Иванов, отражавшиеся там, вдруг завертелись, завертелись...

Она выбежала из хаты на морозящий дождь. За спиной загрохотали чьи-то сапоги. Володя? Нет, Ваня Иванов. Володя не вышел. Даже не выглянул...

От доброго Вани Иванова удалось удрать. Он продрог на дожде и побежал обратно, допивать, а Полинка свернула к нининому дому.

Вечерело. Улица будто вымерла. Один круглые пеньки поблескивают от дождя.

Все еще позванивали в ушах мониста Люси Хоменко. Зря на Люсю обиделась. Парашютистка, разведчица, она тут такого навидалась.

Да это дождь звенит. И все вдруг отступило перед тем, что она только что услышала...

Полинка опустилась на ближайшую скамью, под навесом, обхватив руками колени: ее бил озноб.

«Вот откуда все... 'Звильнена Украина'. Освобожденная, значит, Украина.

Три с половиной года жили в своей «звильненой»...

И что успели? К чему стремились?

«Звильнено», безнаказанно убили Фимочку.

Так же свободно, безнаказанно — мамочку и отца.

Свободно, безнаказанно — Виктора Исаевича.

Свободно — доктора Желтонога.

Учителя, дóктора... Самых любимых людей. Свободно убили... сколько еще? Говорят, в карьере рядами лежат трупы.

Вот вам и «Звильнена Украина» — как хотели — «без жидов и москалей...» Умертвляли. Полосовали... Нинка Карпец, говорят, с плеткой не расставалась. А Любка Мухина?!»

Полинка вцепилась в сырую скамью.

«... К ней счет, мабуть, не такой большой.»

У нее, Полинки, свой счет. Личный!

А потом хоть в тюрьму. Хоть в могилу...

Вся дрожа от озноба и ненависти, она добежала до нинкиного дома; Нины, к счастью, не было; Полина достала с полки плоский, как нож, заржавелый штык, вложила его в рукав своей белой блузки и так, размахивая несгибавшейся в локте рукой, пошла к Мухиным. Штык охлаждал руку, и она шла все быстрее.

Дождь унялся. Выглянули дети. Кто-то окликнул ее, она ускорила шаг. Мимо колодца. Мимо дома с пустыми выбеленными комнатами...

От крыльца кинулся навстречу взъерошенный мальчишка лет десяти. Ждал ее, что ли? Подбежал к ней, и горячо: — Вы — тетечка Полина?

Не сразу узнала. Мухин. Юра Мухин. Ну, да, такое же лицо. Мухинское. Щекастое.

Спросила сухо: — Чего тебе?

Глаза у мальчишки опущенные, убитые. В сторону своих окон покосился исподлобья, со страхом, и стал рассказывать, как они с Фимой вместе играли в шашки, во-он под грушей, когда Любка позвала Фиму к полицаям...

Он не договаривал, заглатывал слова — от возбуждения, от искренности, от страха, что не дадут досказать: а потом попросил умоляющим и каким-то потерянным голосом, взяв его завтра на карьер. «Куриловы, воны сказали,

завтра поведут тетю Полину, покажут, где схоронили родных... И он... Можно? Тетечка Полина!».

Полинка молчала, и мальчик как-то сразу сгорбился, ручонки вниз свисли.

Полину как холодом обдало. Ей открылось вдруг все с другой, совсем с другой стороны...

Мальчишки его изводят, все время дразнят... Немецким гаденышем! А то и похуже. Со свету сживают! А ему тогда, в сорок первом, было... неполных семь лет.

Мальчишки — жестокий народ.

Она ужаснулась, представив себе, отчего горбятся эти костлявые несчастные плечики, которые просвечивали под расплзавшейся рубашонкой; что придавило мальчонку.

Она присела порывисто, как к трехлетнему.

— Приходи, Юра! Конечно!

А в сердце будто повернулось что-то. «Война проклятая! Детей за что?! Детей за что?!»

Она поднялась с корточек и быстро ушла, почти побежала прочь от дома Мухиных, по размытой дождем земле.

ГЛАВА 5.

Сердце не обмануло. Придя утром к колодцу, где договорились встретиться, она еще издали услышала ожесточенные, насмешливые мальчишеские голоса.

— Крой отседа, фрицев брательник!

— Сучий хвост! — Паренек, лет четырнадцати, в зеленой пилотке, замахнулся на Юру, и тот отпрыгнул козленком. Остановился в стороне. Не плакал. Только сутулился, как вчера, убито, опустив книзу ручки.

Полинка поздоровалась со всеми за руку. Подозвала Юру, который по-прежнему переминался в стороне с ноги на ногу.

— Та хибя ж вы не знаете, чей он? — удивился десятилетний мальчик, взъерошенный и босоногий, как и Юра. — Он — Мухин. Любка Мухина — его родная тетка...

— Знаю! — жестко сказала Полинка.

— У него брат фрицевский... Ему зараз два года, — пояснил паренек в пилотке, и усмехнулся, как взрослый. — Петро кличут, а какой он Петро. Он от обозника золоторотого.

— Слыхала! — так же твердо сказала Полинка, чтоб разом оборвать этот разговор; махнула Юре рукой, мол, идем, чего ты топчешься... — Он-то при чем? — добавила она и взяла подошедшего Юру за руку. Ручонка — мокрая. Бойтся.

Мальчики ошарашенно молчали. О Мухиных в селе не было двух мнений. А Юрка-то... он — Мухин...

Босоногий, прыгая через камни, сказал запальчиво, с прямолинейностью ребенка, повторяющего общий приговор:

— Мухины... воны уси от одной сучки!

И побежал вперед. О чем тут еще говорить! Слышно было лишь, как чавкают по грязи босые мальчишеские ноги. Старший, в пилотке, хотел его догнать, но остановился, сказал, поправляя спадавшую на глаза солдатскую пилотку:

— Юрка брательника своего — фрицевского — нянчил. В вашу скатерть зеленую заворачивал. Мамка сказала, гады Мухины, в плюшевую скатерть фрицевского заворачивают. Зассали всю.

Пальцы Полинки разжались, выпустили невольно юрину руку.

Жестокий народ — мальчишки...

— А там что, надпись была на скатерти, что она сворована?

— Та он и читать не умеет, — возвращаясь, презрительно сказал младший.

И только тут они двинулись почти в согласии. Некоторое презрение к «хвосту» все же осталось. На таких условиях они готовы были его терпеть.

В конце улицы постучались к дядьке Андрию, которого, вместе с другими шахтерами, полицаи гоняли углублять карьер. Он обещал показать, что знает...

Дядька Андрий вышел тут же, протянул Полинке красную от въевшейся рудной пыли руку, сжал ей пальцы так, что они слиплись. Увидел Юру Мухина, который беспокойно перебирал босыми в цыпках ногами, оглянулся на мальчишек сердито, мол, что ж, главного-то не рассказали, черт бы вас взял? Про Мухиных...

Старший поправил пилотку, подошел к дядьке Андрию объясняться.

Полинка двинулась, выбирая, где посуше. Вдоль дороги

были навалены прямо в грязь бревна, доски, хворост. Перескакивали с бревна на бревно, поддерживая друг друга.

Вот и Ингулец. Ингулец обмелел, едва сочился меж камней. Грязно-бурый, красноватый.

Дядька Андрей встал в кирзовых сапогах прямо в воду, подал Полине руку. Когда она перешла на другой берег, по накиданным шахтерами камням, он спросил неодобрительно:

— Пожалела, значит? Они твоих не жалели...

По взгляду Полины понял, не надо об этом говорить. Качнул головой, мол, твое дело.

... Карьеры недалеко за селом. За ближайшими полями, на которых уже поднялись зелены. Старые обрушившиеся карьеры, где добывали когда-то руду. Земля в оврагах, осыпях, воронках. Чуть повыше — перерыта окопами. Рыже-красная рудная земля, огненным островом выделявшаяся среди жирно поблескивающего чернозема.

Скользя и цепляясь за редкие обломанные кусты орешника, забрались по змеившейся тропке наверх. У Полины ноги облепило по щиколотку. Едва вырывала их из бурой чавкающей жижи. Провалилась в одну из щелей, заросшую, брошенную. Выбралась, ломая ногти о каменистую землю. Кремневая земля в глубине-то сухая.

А потом и вовсе поплыло под ногами. Полинка съехала по крутой осыпи метров на двадцать, туда, где поблескивала красноватая вода.

— Э-э! Живы?! — прокричал сверху Андрей. Он разматывал веревку, намотанную вокруг пояса, забросил конец Полинке. Вытащил, оглядел ее расцарапанные колени, ладони.

— Могла тут и остаться... — Вынул кисет, свернул сигарку. — Зараз не пройдем, Полинка. Отложить надо. Покуда подсушит. Ребята, от края отойди!...

Полинка и сама видела — сегодня не добраться.

Огляделась вокруг измученно. Отсюда, со старого ингулецкого карьера, были видны и желтовато блеснувший на

солнце Ингулец и ближние мазанки Широкого. И — сады, сады, которые набирали силу.

Полина уже поднималась однажды на эти высоты, откуда был виден весь путь, по которому гнали, подталкивая автоматами, родных. Она знала о каждой минуте кровавого еврейского воскресенья...

Их вывели из Клуба.

Гнали тесной, сбитой овчарками, колонной. Толкнули в нее тех районных коммунистов, на кого успели донести.

Двигались вон по тому размытому шляху, зная, — это последнее, что видят; через ледяной осенний Ингулец, сюда, сюда... Выше...

Вон там, за кустами, раздели. Отдельно мужчин. Отдельно женщин. Строго! Моралисты проклятые, кровавые...

Немецкий офицер стоял в стороне на бугре. Управлялись свои, полицаи. Да «Звильнена Украина»...

Первый выстрел хлопнул негромко, и — колокола зазвенели. Тяжелый главный колокол, всю ночь прилаживали, торопились — дум-дум-дум... И мелкие, бесновато-освобожденно.

Беспорядочно гремели выстрелы. И победно, густо все заглушающе, торжествовали колокола...

Полинка не сразу расслышала сиплый голос дядьки Андрия.

— Тебе, говорят, рассказывали уж, как что?...

Полинка кивнула. Да, она знает. Вначале полицай застрелил мать. Потом занялся мужчинами. Выстрелил брату в затылок. Фима упал на грудь, как в Ингулец, нырнул. Руки вперед. А когда дошло до батька Полины, опустил ружье, сказал: «Не могу. Хороший чоловік був.» И отца застрелил из пистолета немецкий офицер.

Дядька Андрий поглядел на посеревшее Полинино лицо и, вздохнув, попенял:

— Зачем ходишь, девонька? А?... Все равно, никого тут не признаешь. Стреляли разрывными пулями. В голову. — И добавил тихо, мотнув дряблой жилистой шеей: — Я двое суток потом ни есть, ни пить не мог...

А Поинка смотрела туда, где встала на дыбы багровая рудная земля. Как добраться до нее?

Потом спросила у дядьки Андрия, не поднимая глаз, почему от нее шарахаются?... Как будто она с того света. Только одноклассники рады.

— Как тебе сказать... — доверительно объяснил шахтер, прикуривая от старой самокрутки новую. — Приехала ты из самой Москвы, остановилась у секретаря райкома... Нинка-то Полуянова — дочка его, не знала разве? А тут... Каждый добывал хлеб как-то. И смерти боялся... Меня выгнали силой на карьер зарывать убитых, других углублять траншеи, третьего — окопы копать, четвертого — с фурой занарядили — попробуй откажись...

Дядька Андрий пыхнул самокруткой. Его уговорили сводить на карьер Куриловы, друзья по шахте, а ее бывшие соседи. А то б ни в жизнь не согласился. Знать не знаю — ведать не ведаю. «Дочка Забежанских, сказали, добрая, от нее зла не жди. Объясни все, как есть».

А сейчас и сам видел, несчастная девчонка, кофточка расплзается, коленки драные... Голосок-то вон дрожит. Какая тут опаска.

— ... Каждый бы рад тебя приветить. Но... у другого какая мысль. Ага, все он знает. А что делал на карьере, спросят, когда людей стреляли? Заодно с полициями?

Еще привлекут, как соучастника. У нас насчет этого свободно... А какие мы соучастники? Ощупываешь себя по утрам, никак цел?...

Оживился вдруг:

— А правда, портниха Сима безногая зарыла в землю ситец, что твои шить относили? А теперь отдала тебе? Симка-то она — человек...

Ох, поубавилось в Широком людей. Поубавилось... А почему? Все на войну списываем. А война, что ж... война берет нас готовенькими. Какие есть...

Три дня назад, когда Полина впервые поднялась сюда, у нее было ощущение, что это ее тут расстреляли. Но не

добили только. Почему-то на ногах держится. Еще выстрел и прикончат. Мыслей не было. Только боль.

Она поглядела внимательно на Андрия, который как-то зло, остервенело дымил самокруткой, на белевшие вдаль мазанки, и отсюда, с высоты Ингулецкого карьера, рытого-перерытого смертью, увидела вдруг... Раньше мысль эта билась в ней подспудно, изнурая, как изнуряет боль.

В гражданскую войну, рассказывали, в Широкое тоже обнаружился предатель. Один-единственный на все село.

А теперь? Полицаи. «Звильнена Украина». Только из одного их класса трое девчат пошли в «Звильнену».

И сразу — как звери. Как первобытные. Кто не твоей масти, вгрызайся в горло...

А ведь они знать-не знали ни белых, ни синих, ни зеленых. Ни гетмана Скоропадского.

Росли в комсомоле. Любка Мухина учила в школе.

Полинка опустила на сырую землю. Дядька Андрий посмотрел на нее встревоженно, принес обломок доски: «Сидай!...»

«... Лилька — комсомольский секретарь, отличница...» Ну, эта просто сбросила личину. Убийца идейный.

А Нинка Карпец? Самая серая, бесцветная. Любила танцевать. Ей льстило, что вокруг нее закружилось немецкое офицерье? Хоть день, да мой?... Но ведь ее схватили, когда она корректировала огонь немецких батарей. Чтоб они били точнее. По советским. Зачем этой пустельге так-то пританцовывать?... Видно, в танцульках «Звильненой Украины» была своя логика...

А Любка Мухина? Ведь это ее бабка, когда петлюровцы в девятнадцатом ворвались в село, встала в наших дверях и сказала: «Тиф...» И спасла всех.

А сама Любка Мухина...

Говорила она с ней серьезно? Хоть когда-нибудь. Ведь не только по деревьям вместе лазили. И в лапту играли. Говорила?

И — вспомнила.

... Единственный дом, где было много книг и где можно было их брать, как в библиотеке, был дом Гринберга, секретаря широковского райкома. Когда-то их дома были рядом, забор в забор.

Комнаты у Гринбергов — не заставленные — ни цветов в горшках, ни половиков, ни сундуков. Пустая городская квартира. Только по стенам — книжные полки.

По другую сторону улицы жил Степан Масляный, один из руководителей ингулецкого рудника. Масляный был огромным медлительным добрым дядьком.

Полинке родители помогали учиться только в младших классах. Потом уж не могли. Она бегала к Масляному, и тот никогда не отказывал. Увидит Полинку, улыбнется в свои пушистые запорожские усы.

Не было в селе человека, который бы не уважал Гринберга и Масляного.

В 1937 году их в одну ночь забрали. И Гринберга, и Масляного.

У Полины в тот день голова кругом пошла. Ошибка. Конечно, ошибка...

Как-то приехал в село Григорий Петровский, самая большая власть на Украине. Открывать школу-интернат. Всех их, босоногих, от школы отогнали. Наконец, подкатила машина. Пыльная. Дребезжащая. Из нее вышел плотный седоватый старик, сказал усталым голосом, чтоб впустили во двор всю босоногую детвору, которая толпилась за забором.

Он остался в памяти добрым дедушкой, а потом вдруг объявили в школе, что он — враг народа.

Тогда-то они шептались с Любкой в саду. Полина и верила и поверить не могла, что все — враги. А Любке, оказывается, все было ясно. Она сказала, хрустя антоновкой:

— Ты что, не видишь, кого сажают. Батька твоего не берут. И моего. Почему? Взять у нас нечего.

У Гринберга, вон, книги. На тысячи. Небось, раскулачил кого... У Петровского, еще больше. Масляный — богач.

Два велосипеда. И сам ездит на рудник и дочке купил, особый, дамский.

Кто наверху, тот и грабастает. «Мое-мое, и твое-мое»...
С нами, небось, не делятся...

Полине отчетливо вспомнился этот разговор, даже Любкины подсчеты, у кого сколько было имущества...

... Полина почувствовала, на сыром сидит. Озябла сразу. Но не поднялась.

«... Мать отдала Мухиным все, что было из вещей. На сохранение. Неужели из-за пальто? Из-за платка? Из-за зеленой скатерти, в которую заворачивают «фрицевского»... Из-за тряпья?!

Что же такое «Звильнена Украина» «Мое — мое, и твое — мое?!»

На обратном пути, на спуске, дядька Андрий придерживал Полину за руку. Притомилась девонька. Ноги не идут.

... Перед самым отъездом подсохло, и удалось, наконец, добраться до вставшей на дыбы рудной земли, где были братские могилы.

Снова привели мальчишки. И дядька Андрий. Пришли с лопатами. Карабкались, поддерживая друг друга, цепляясь за обгорелые сучья.

Похоже, после освобождения здесь никого не было. Валяются вокруг гильзы, тусклые, ржавые. Зеленые немецкие фляжки.

Полина вскрикнула: увидела торчащие из-под земли почернелые ноги.

Даже не закапывали?

Стали кромсать лопатами сухую неподатливую землю, забросали могилу. Двинулись дальше.

Новый широковский председатель райисполкома Доценко — на его спине немцы звезды вырезали — обещал памятник тут воздвигнуть.

Выполнит?

Могилу матери дядька Андрий так и не смог найти. Мальчишки обнаружили.

«Мамочка-мамочка» — Полинка упала на колени.

Дядька Андрий положил ей руку на плечо: — Дальше! Дальше! А то не вернемся засветло.

По рыже-красной, вывороченной из глубины земле, нашли могилу отца и Фимочки.

Могилу как закидали наспех, так и осталась. Вытопанной, незаросшей. Словно ничего уж не приживалось на этой багровой земле.

А вокруг чернозем. Весь перевероченный. Черными глыбами. В воронках стоит вода.

Страшная земля.

Мои́ла на самом склоне карьера. Поинка поднялась к ней по каменистой рудной осыпи, — сердце билось где-то у горла...

— Вы идите! — сказала она провожатым. — Я тут останусь до утра! До поезда!

Дядька Андрий запротестовал, походил вокруг. Начало смеркаться, и он, — не оставаться же на ночь, — ушел нехотя и увел мальчишек.

Поинка лежала, прижавшись лбом к каменистой земле, слизывая языком соль с опухших потрескавшихся губ. В ушах только одно осталось. Голос брата. Повторяет и повторяет он своим чистым глуховатым голоском:

«Не могу дожидаться той минуты, когда... выйду тебя встречать...»

Хочет он еще что-то крикнуть, тянется к ней, и — не может...

Последние его слова на земле.

«... Не могу дожидаться, когда выйду тебя встречать...»

За что?

И снова, будто наяву, видела брата — лобастого, тихого, учтвого.

«Бог перепутал — говорила мать, — оборванные яблони, разодранные колени — дочь. Тишина в доме, девичья приветливость — брат, Фимочка.

Не терпит конфет — дочь; сладстена — Фимочка...»

— Бог перепутал! — вырвалось у Поинки. — Перепутал!

Ей лежать здесь, а не ему, мальчонке...

Быстро темнело; в мертвой степи звучало протяжное:

— Бог перепутал! Пере-путал...

Она почувствовала дурноту.

Сверху зашуршали камни, посыпались на нее. Вскочила испуганно. Вгляделась. Переступает босыми ногами Юра Мухин, рубашка вытянулась из штанов, лицо бледнее мела.

— Тетечка Полина! Тетечка Полина! Важко тут. Пидемо...

— Ты откуда здесь?

Оказывается, дошел со всеми до села, а потом вернулся.

Зубами выстукивает: — Т-тетечка Полина! П-пидемо...

Как удалось им выбраться?

Перешли вброд, сбивая ноги, Ингулец, и тогда лишь остановились, дрожа от холода и прислушиваясь.

Здесь, на пологом берегу, до войны, Полина, вместе со всей школой, разбивала парк. Рыхлили землю для клумб. Понатыкали прутиков и ушли, не очень веря в то, что примутся.

И вот, слышно, шумит над головой, как в бору. Повесенному пахнет кленом, топольками. И шумит, шумит в ночи.

Принялись топольки.

ЧАСТЬ II

«ВЫНОС ХОРУГВИ»

«Сто раз ты заглядывал
смерти в глаза.
Ничего ты не знаешь
о жизни.»
Аполлинер

ГЛАВА 1.

Возле общежития Полину ждал длинный Владислав, ее Владя, «полинкина жердина», как окрестили его на Стромынке. Он высматривал подходивших, перебирая от холода журавлиными ногами; в выходном широком галстуке из черного крепа, который скрадывал его длинную шею.

Он бросился к Полине, схватил ее чемодачник, сетуя на то, что не прислала телеграммы. Она кивнула благодарно, начисто забыв о разговоре, который был у них две недели назад; а когда он взял ее за холодные руки, она уткнулась ему в грудь и застонала сквозь зубы.

Владя накормил ее домашним яблочным пирогом, дал люминала, который был всегда при нем в спичечной коробке.

Полина приняла двойную дозу снотворного, и заснула, не отняв руки, которую держал Владя.

Утром она поднялась вместе со всеми, собрала обернутые газетной бумагой учебники и поспешила в Университет.

Первокурсницей Полина любила прибегать в актовъй зал Университета, когда в нем было еще пусто и свежо, а акустика по утрам, как в храме, где хочется самому господу Богу крикнуть: «ау»!

Полина располагалась у окна. Отсюда был виден весь

зал, старинный университетский зал, с лепниной XVIII века и торжественным маршем коринфских колонн, которые несли на себе дворцовый потолок, — обычно весь день ее не покидала радость сопричастности к чему-то значительному и высокому. Это был праздник — заниматься в актовом зале.

Из огромного окна открывался вид на просторы Манежной площади, где под Новый год ставили самую большую елку, которую только можно было сыскать в подмосковном лесу, и долго, почти всю зимнюю сессию, не прекращалось под окнами торжество.

И сейчас Полина, по привычке, прошла за свой столик, у окна, и... почувствовала, что здесь ей не заниматься.

То и дело возле нее останавливались. Однокурсник всплеснул руками: «Сколько лет, сколько зим!». Другой влез со своим анекдотом, и возмущился тем, что Полина даже не улыбнулась: «У тебя нет чувства юмора!»

И шелест шин, и скрежет тормозов за окнами, на Манежной площади, и легкий скрип шагов, и даже шорохи — шепоты читальни — все, что раньше успокаивало, как успокаивает морской прибой, теперь било в виски.

А тут еще стекла звенели. Салют над Кремлем.

Полина обернулась к окну. Какое счастье — салют! Еще город освободили.

Но в красных, синих и зеленых праздничных огнях, виделся, и это уже навсегда, отсвет мартовского салюта, когда советские войска освободили город Кривой Рог.

Неверными руками Полина собрала книги, конспекты.

В коридоре поблескивала кафелем голландская печь. Возле нее грелись, обмениваясь новостями, студенты. Этот «гайд-парк» у голландки почти пробежала. Забиться куда-нибудь! Хоть в подвал, хоть в темную каморку. Только чтоб тишина вокруг. Только чтоб тишина.

Подруги помогли ей добрести до общежития, уложили на койку, вот уже несколько суток она лежит с открытыми глазами. Сна нет. Полина отстраняет еду. И не говорит ни слова, глядя на всех остановившимися карими глазами, как

дед, которого однажды повесили петлюровцы, а потом односельчане вынули из петли...

Подруга позвонила Владе. Он примчался всполошенный, вызвал врача. Пришел тихий грустный старик и сказал, что девушке нужна тишина.

— Угол бы ей достать. Хоть чулан.

Владя куда-то пропал, а, вернувшись, решительно предложил Полине собираться. Они поедут к нему. Полине выделяется комната, в которую без стука никто не войдет...

Полина улыбнулась его решительному тону, спросила без обычной иронии, устало:

— К маме ездил... упрашивать?

Помедлив, он кивнул.

Полина повернулась лицом к стене.

... Комнату удалось снять лишь к зиме. Спасибо московскому дяде, отыскал. Владя перевез туда солдатские валенки, заштопанное на локтях платье и стопу учебников.

Комната была на отшибе, в селе Алексеевском, на Церковной горке, в деревянной сторожке, вросшей в землю.

Здесь не было ни радио, ни часов. Лучше не придумать, если б не забота подыматься в шесть утра. Через день Полину будил сосед. Он работал в трамвайном депо. В шесть утра, уходя, стучал кулаком в дверь.

Но следующую ночь Полина почти не смыкала глаз: она по-прежнему и училась и работала, а на работу опоздаешь — под суд. По всем правилам военного времени. Ночью выскакивала на неосвещенную улицу, спрашивала у прохожих, который час.

Если не скрипели где-либо шаги, только крыша погромыживала железными листами, бежала, скользя по насту, целую остановку до села Алексеевского, где горели на улице, как далекий маяк, круглые электрические часы.

И так всю зиму, пока Владя не узнал об этом и не притащил будильник. Будильник тикал, только лежа на боку, и не звонил; дребезжал, как консервная банка.

Но, оказывается, какое это счастье — дребезжащий будильник!

Когда в крещенские морозы замерзла колонка, за водой приходилось брести, утопая в снегу, на кладбище, где ледяной горой высился колодец.

Полина смертельно боялась кладбища. Топила снег, только бы не идти на кладбище.

Как-то перед сном она взяла толстую тетрадь в клеенчатых корочках и записала вдруг:

«С девяти утра до одиннадцати вечера просидела в университетской читальне, в углу, спиной к залу, готовила курс органики. И завтра день не легче. Я измучена, даже есть не могу, хотя с утра во рту ни маковой росинки. Работаю до дикой усталости, мамочка...» Вывела машинально: «мамочка» и только тогда поняла, что взялась за письмо домой.

Упала на кровать. К утру подушку хоть выжми. И вдруг сами собой, как к верующему молитва, пришли стихи Шевченко:

«О, Боже мий мылый,
За що ты караєшь
сыротину...»

Полина все время возвращалась к ним, о чем бы не думала:

«А я полечу високо, високо
За сыние хмары
Немає там власти,
Немає там кары.»

К весне она совсем слегла. Тихо насвистывающий какую-то мелодию юный врач скорой помощи (Полина свалилась на улице, возле дома), исписал целую страницу. И фурункулез от недоедания, и грипп, перенесенный на ногах, и воспаление связок, и Бог знает что еще. Когда он ушел, кинув со студенческой живостью «Оревуар!» и оставив на столе горку рецептов, на которые не было денег,

Полина вынула из-под подушки тетрадку в клеенчатых корочках, записала самым мелким почерком, непостижимым чужому:

«Мамочка, моя любимая, за что мне такое? Как в костер бросили. Жгут руки, ноги. И нет спасения от огня. Сегодня заплакала от физической боли — этого со мной еще никогда не случилось.

На это я не имею права.»

«... Готовлю завтрак. Больше не могу видеть сухарей. Целую неделю питалась ими. Я решила, хватит болеть, и все! Некогда!

Говорю себе, что я просто ленивая девчонка, что должна встать, убрать комнату, постелить постель и вымыться. Надоела грязь. К тому же проверю свои силы; и сяду заниматься.»

Пошарила в шкафу. Кончились продукты, деньги. А кому скажешь, что пора отоварить карточку, что не в силах сидеть в читальне, особенно, когда кто-то рядом хрустит сухарем или яблоком.

Надо молчать. И не отставать от своей студенческой группы. Кому какое дело, что одна только езда в село Алексеевское и топка печки занимает полдня.

Боже, как хотелось встретить человека, который бы понимал. Без слов, без жалоб.

Полина снова потянулась к тетради.

«Вот уж не думала, что самым большим несчастьем станут праздники. Как я их ненавижу! Никогда столько не реву, как в праздники. Нет, меня не забыли. У меня хорошие подруги. Приглашают в семьи, но это еще больше расстраивает.

В праздники я стираю, мою полы. Специально оставляю все на праздники, чтобы было дел по горло.»

Полина взглянула на будильник. Владя обещал заехать.

Выскребла из печурки пепел, отправилась за углем, больная нога подвернулась, и Полина упала. Как набрала уголь, понять не могла. Кое-как растопила печку. Вытряхнула украинский домашний половичок. Открыла форточку.

Чисто стало, свежо. И почувствовала, что вот-вот свалится.

Присела на край табурета, затем пошла по воду. Подмела кухоньку и тогда лишь села за книги.

Подумала внезапно, прикати Владик с грузовиком, да покидай в кузов барахлишко, да возьми ее на руки, хватило бы сил отказаться? От городского уюта. От заботы. Домашних пирогов. От трогательной суеты Влади.

Кто это сказал о нем: большой, а без гармошки?

Примчался Владя в каплях дождя, сама свежесть, принес авоську картошки: «Мама прислала!». Потоптался в дверях, и ушел, застенчиво пятясь.

И в эту ночь, и в следующую Полине снился дом в Широком, весь в сирени и левкоях, мама, отец, Фимочка. Вдвоем с братом они несли большое ведро из кладбищенского колодца; Полина склонилась набок, чтоб на брата не плескалась вода, и услышала его добрый голос: «Ну, и трус ты, Полинка. Кто же боится кладбища. Это — дом наш.»

Открыла Полина глаза — чисто выбеленные голые стены сторожки. Потянулась к тетради, без которой уже и жить не могла.

«... Мальчик мой! Тихоня, умница, жизнь моя. Разве знали мы, родной, что нас постигнет. И так тянет меня на Украину. Домой! На той неделе тебе, братик мой единственный, исполнится 18. Родной, любимый мой! Как я плачу над участью, постигшей тебя, сколько ночей я провожу с мыслью о тебе, как я люблю тебя, мой маленький, мой несчастный мальчик!»

День рождения Фимы совпал с главным экзаменом года. И не только года. «Органика», Органическая химия. Нечто вроде студенческой конфирмации. Всегда весной она. А тут, как на грех, перенесли.

И, говорят, придет принимать сам академик Казанский. Не дай Бог!

Кто это сказал, насколько Зелинский мягок, настолько Казанский крут? Спрашивает не по билету...

Полина перебрала имена будущих экзаменаторов. Про-

фессора Платэ она не боится, хотя он дотошнее всех. Даже профессору Шуйкину сдаст, хотя от этого хитрюги добра не жди.

Только бы не к Казанскому!

Ночи, казалось, конца не будет. Мучила растянутая нога. Перемоглась бы, но стало рвать надкостницу. А когда все болит, тут уж не до химии.

Неделю назад учила «взрывчатые вещества», очень простой курс, сплошная зубрежка, и тогда еще выяснилось, что это для нее самое ужасное. Память стала, как сито. Ничего не держится. И все после Широкого. Раньше так не было.

Неужели жизнь отшвырнет?

... Экзамены принимали в ассистентской комнате, при большой химической аудитории. Батареи там не работали. Вдоль стен расставлены лабораторные столы, возле них высокие табуреты, как плахи. Лобное место. Гуськом прошествовали экзаменаторы в длинных черных халатах, невозмутимые и отрешенные в своей высокой замкнутости. Судьи.

Высший химический суд, приговоры которого обжалованию не подлежат, сдержанно кивнул Полине. А заведующий практикумом профессор Юрьев даже приостановился, нарушив всю торжественность прохода.

Полина ждала у дверей, прижавшись лопатками к стене.

Вбежал по лестнице высокий поджарый Альфред Феликсович Платэ, ее руководитель. Огляделся вокруг порывисто, отчего его портфель, запертый на один замок, совершил полный круг. Отыскал быстрыми смеющимися глазами Полину, сказал ей вполголоса, со всей своей природной галльской живостью:

— Сосредоточьтесь, Полин! Не спешите. На все — про все: «разрешите подумать». — И шагнул к двери, торопливо запахивая пиджак на полосато-красной душегрейке и расправляя плечи, чтоб стать таким же грозным, как и все.

Простучал палкой, прихрамывая, тихий, неприметный доцент Силаев, шепнул ей:

— Садись ко мне отвечать! Тс-с!

Прошествовал академик Казанский. Бесстрастное лицо. Сатанинская улыбка. И головы не повернул.

В другом конце коридора показался Владя. Хотел спрятаться, но какво прятаться, когда ты на голову выше всех. Он пошептался о чем-то с Аликом. «Аликом-гениаликом», как его называли в группе, и Алик, быстро взглянув на Полину, закивал торопливо, мол, конечно, в обиду не дадим.

«Хорош у меня видик, наверное, — уязвленно подумала Полина и, оттолкнувшись плечом от стены, вошла в аудиторию твердым шагом.

В аудитории мрачновато, пахнет ржавой селедкой, видно, после опытов с аминами. И, кажется, сероводородом.

И экзаменаторы по углам на высоких табуретах, двенадцать апостолов. И еще улыбаются.

Альфред Феликсович Платэ сделал знак рукой: «Спокойнее — спокойнее, Полин». Доцент Силаев, тот уж без всякого стеснения, явственным шепотом:

— Сейчас — сейчас, я тебя вызову.

Полина чувствовала, у нее горят щеки.

У профессора Платэ пока никого, он снова махнул рукой Полине, — давайте!

Она качнула головой, только сейчас понимая, со страхом и грустью, что не будет сдавать ни Платэ, ни Силаеву.

Зачем они так?

Но... не слышал о ее существовании только единственный экзаменатор. Академик Казанский. «К нему?! Мамочка моя!»

Вот от Силаева ушла студентка, он вытянул шею: «готова?»

Полина опустила голову, не замечая ни жестов, ни взглядов, полных доброты.

Она сидела так, с опущенной на грудь головой, пока не освободился стул у академика Казанского. Поднялась. Но ее опередили. Возле Казанского уже пыхтящий добродушный Алик-гениалик.

И она продолжала сидеть, подавляя в себе острое желание пойти к тихому Силаеву и даже к профессору Шуйкину, на круглом азиатском лице которого блуждала улыбка.

Когда появилось место у Альфреда Феликсовича Платэ, Полине хотелось уж не просто идти, а бежать к нему, чтоб не успели занять стул.

«Ну и трус ты, Полинка...» — словно бы услышала она мальчишеский голос.» «Ну, и трус».

И осталась недвижимой.

Альфред Феликсович Платэ встал неторопливо, как бы разминаясь, шагнул к ней, посмотрел на формулы, которые она выводила на листочке. Переглянулся с Силаевым, недоуменно пожимая плечами.

... Когда Полина приближалась к академику Казанскому, у нее кружилась голова. Она заметила только уголком глаз красно-полосатую душегрейку Платэ, который делал успокоительные знаки.

Академик Казанский сидел на почетном месте. За длинным лабораторным столом. Замкнутый, отчужденно сухой. Губы нитяные, как, говорят, у всех недобрых людей. И улыбнулся тоже суховато, даже иронически. «Дура ты набитая, — словно говорила уязвленной Полине эта улыбка. — Деревенщина».

Полина зябко повела плечами. «Ну, и трус, ты, Полинка, ну, и трус...»

Казанский взял тонкой белой рукой ее листок с формулами, мельком взглянул на них, отложил в сторону, мол, знаете, и ладно. Поговорим о том, чего не знаете.

— Напишите бекмановскую перегруппировку...

Полина зажмурилась в панике. Ничего не помнит. Ни единой формулы. Перед глазами точно снежная целина.

— Разрешите подумать?

Казанский взглянул на нее поверх очков, сказал добродушным тоном:

— Но недолго.

Полина напряженнейшим усилием, так вытаскивают из колодца полное ведро воды, вытянула откуда-то из глу-

бины ослабевшей памяти цепь разворачивающихся формул, может быть, самое трудное для нее в университетском курсе. С нажимом, так, что трещало перо, разбросала по листку стрелки движения формул.

Заметила боковым зрением, Альфред Феликсович Платэ встревоженно глядел на нее, перестав спрашивать студента, который сидел перед ним. «Родные вы люди...»

Пока Полина медленно поясняла, Казанский оглядел ее листочек со всех сторон и — отложил в сторону; спросил, как если бы все начинал с начала.

— А теперь напишите...

— Разрешите подумать, — сдавленным тоном произнесла Полина, выслушав вопрос.

Казанский хмыкнул: «гм», — этого оказалось достаточно, чтобы Полина мысленно собралась и ответила сразу.

После следующего «разрешите подумать» Казанский поднялся и прошелся возле стола. У всех экзаменаторов сменились студенты, а академик Казанский все еще не отпускал девушку, которая будто специально злила его своим меланхоличным, надо — не надо, «разрешите подумать».

Деликатнейший Казанский поглядел на студентку поверх стекол. И, промакнув высоколобую голову платком, поставил студентке жирную четверку.

— Я ему все ответила, — всхлипывала Полина, сидя в коридоре на лестничной ступеньке, — кто возьмет меня на органику с «четверкой».

— Ура! — закричали в один голос Владя и Алик-гениалик. И даже руками развели для убедительности. Полина взглянула на них и невольно улыбнулась. Пат и Паташон.

— Знаешь, кто имел «четверку» по органике? — воскликнул Владя, пригибаясь к Полине. — Академик Зелинский. Сам! Четверка по органике для химика — это все равно, что дрожание икр у Наполеона перед сражением. Великий признак. Алик, ребята, поклянитесь, что я не вру.

И вся группа, как один человек, пошла в клятвопреступники.

Владя подал Полине руку, помог ей встать, и потянул ее вниз по лестнице.

— Побежали!

— Да что с тобой? Куда?

— Ко мне! Нас ждут обедать...

Они выбежали из университетского двора, держась за руки. Владя остановил такси, и спустя несколько минут они входили в новый дом на улице Горького.

Стол уже был накрыт и сервирован так, словно ожидался дипломатический прием. Накрахмаленные салфетки стояли у тарелочек голубями, казалось, подойди к ним, упорхнут.

И картины по стенам в золотых рамах, на библейские сюжеты, изображали порхание толстеньких ангелов; Брюллов, кажется?

И даже мать Влади, дородная белолицая дама с крупным ожерельем желудевого цвета, преподаватель философии, вышла к ним какой-то пританцовывающей, будто порхающей походкой.

Только хрустальные рюмки стояли прочно. Даже позванивали от шагов, не шевелясь. Они были такими же длинноношеими, как Владя и как отец Влади, который вышел к столу, улыбаясь и баяя добродушно:

— У нас, когда я учился, говорили: сопромат сдал — жениться можно. Органика приравнивается к сопромату, да?

Никогда Полина не ела такого душистого гуся; никогда не пробовала соуса ткемали, от которого горело во рту. Полина отказалась было от грузинского вина, но мать Влади сказала, понизив голос, что именно это вино любит сам... Как же не попробовать!

Когда, наконец, справились с кофе-гляссе, мать Влади, обняв Полину за плечи и сострадательно ощупав пальцами ее худые выпирающие ключицы, повела в комнату, где, сказала, Полина может чувствовать себя, как дома.

— Милочка моя! — воскликнула она, и глаза ее увлажнились, — вам пришлось столько перенести. Теперь живите — не тужите. Все к вашим услугам. Вся Москва.

Когда Полина уходила, и отец Влади помогал ей надеть подбитое ветром пальто, она услышала сочувственный шепот матери Влади:

— Владь, почему у Полиночки погибли родители? Они были военными?

— Они были евреями, — помедлив, ответил Владя.

Полина увидела, как у матери Влади вытянулось лицо.

... Владя догнал Полину только у трамвайной остановки. Полина прыгнула в отходивший автобус, не взглянув на его номер; дверь захлопнулась, Владя бежал за ускорявшей движение машиной, стуча кулаком по прозрачной двери и крича в страхе:

— Полина! Полинка! По-олинка!

ГЛАВА 2.

Вечером в сторожке грохнула дверь, заскрипели половицы.

Ввалился московский дядя, заиндевевший, с букетиком подснежников в одной руке и кулечком из газеты в другой. Полина уткнулась в мокрый каракуль дядиного воротника. Какое счастье!

Дядя разделся и, по обыкновению, сделал ревизию ее запасов. Осталась ли у нее хоть какая-нибудь еда? Сама ничего не попросит. Уж он этот вреднящий характер Забежанских знает. Сам такой.

Слазил в кухонный шкафчик, пошарил по полкам. Лишь в банке пшено на донышке. И немного овсянки. Высыпал в пустую сахарницу полкило песку. Не помешает.

Полина взялась за чайник, дядя остановил ее.

— Идем, Полюшка! Нас ждут.

Полина поцеловала его и попросила не уезжать.

— Фимочке сегодня восемнадцать. Посидим вдвоем.

Дядя был угольщиком, всю юность проработал в шахте, и глаза у него были угольные, спокойные, добрые. Мамины глаза. И такие же задушевные, с острым антрацитным блеском, как у нее. Только хитреца была в них не мамочкина. Собственная.

Дядя прикрыл глаза ладонью, постоял так, покачиваясь, сказал по-прежнему решительно:

— Идем, Поля! Обещал...

Голос у него басовитый, низкий, а что-то в интонациях напоминает голос матери.

Дядя потащил Полину куда-то вдоль села Алексеевского, по сугробам, мимо занесенных с головой бревенчатых халуп. Подвел к незнакомому дому, побеленному снаружи, словно украинская мазанка. Сказал напористо:

— И наличники, вон, как у вас.

Полина взглянула на резные наличники, выкрашенные ядовито-зеленой краской. Нет, у них были другие.

Их ждали: кто-то принялся стаскивать с Полины пальто, женский голос крикнул вглубь дома: — Пришли!

В большой комнате накрыт стол. Яства праздничные, пасхальные. Рыба фаршированная, рыба жареная. Рыба пареная с красным перцем. На углу стола маца.

— Сейчас Пасха? — робко спросила Полина, усаживаясь возле дяди и оглядываясь. Ни одного знакомого. Какие-то кирпичные, скуластые лица.

Дядя не ответил, а стал подталкивать ее куда-то к противоположному концу стола, где пустовало кресло с бархатными подлокотниками.

Полина упиралась. Она хочет быть рядом с дядей.

Но тут весь стол начал упрашивать Полину оказать им честь и... сесть возле лысоватого широкоскулого парня в военном кителе с орденами, который улыбался ей застенчиво и боязливо.

Полину словно огнем опалило. Неужто опять сватают?

Она покосилась на дядю, который разглядывал холодец. Прикусила губу. «Дочь не посмел бы так оскорбить...»

Сказала едва слышно: — Устроил... Сватовство майора.

— Подполковника, — с достоинством поправил гость с другой стороны стола, видимо, обладавший музыкальным слухом.

— Что?!

— Он — подполковник, — повторил гость и стал жестами звать жениха, мол, давай, подгребай.

Жених устремился к ним, как в реку кинулся, потеснил дядю и уселся рядом с Полиной.

— Если Магомет не идет к горе, — забалагурил он, — то гора идет к Магомету.

«Ты еще и нахал?!» — Уголком глаз Полина видела погон с двумя просветами.

— А шпоры у вас есть, майор?

— Я — сапер, — с достоинством ответил подполковник.

— А собака есть?

— Н-нет...

— Должна быть собака, легавая. И псари. А выездные рысаки?

— Есть, — оживился жених. — «Оппель». С игопочки.

— А дворянство у вас родовое? Или пожалованное, майор?

Полина поднялась, и в голосе ее уже явственно звучал гнев:

— Ни псарей, ни рысаков. Разве это достойная партия? У Полины брызнули слезы: — Дурачье вы... позапрошлогоднее! — И, натыкаясь на углы стеклянных горок, буфетов, кресел, кинулась к дверям.

Полина бежала домой в кромешной тьме, проваливаясь в сугробы и вытаскивая из снега слетавшие с ног туфли-лодочки. Едва отыскала свою обледенелую сторожку. Бросилась на постель лицом вниз.

«Мамо! Мамочка ридная!...»

Попыталась заснуть. Люминал кончился, а без снотворного — куда там!...

Порывисто потянулась к тетрадке, записала крупными буквами, поперек страницы:

«Хватит! Я хочу к маме!»

... Первым заметил, что с Полиной худо, Альфред Феликсович Платэ, хотя ничего в ее университетской жизни не изменилось. Также жужжал возле нее мотор, вращая в колбах «мешалки», и в трехгорлых колбах пузырились, клокотали реакции Гриньяра. Все вещества разгонялись к

сроку, и он, как руководитель, не имел никаких претензий.

Но вдруг увидел, что она вовсе не та, что вчера. По ее поникшим рукам. Когда это было, чтоб ее сухие узкие руки, красноватые, шершавые руки лаборантки-химички, лежали на рабочем столе так вяло и безжизненно?...

Он подошел к Полине и сказал, что геологи привезли гурьевскую нефть, много образцов. Ее нужно перегнать, определить состав.

Разгонка новой нефти оказалась трудной. Она требовала внимания неотступного. Ни о чем другом и подумать некогда. Зазеваешься, выбросит горячую нефть из колбы. И все начинай сначала.

Но Полина прошла школу Карповского завода. Там аналитической лабораторией, которая контролировала готовые партии лекарств, руководила старая женщина, русская немка. Она дрессировала лаборанток с немецким педантизмом и российской бесшабашностью. Полину, во всяком случае, вымуштровала так, что та, задерживаясь в лаборатории до полуночи и перевешивая пробы до десятка раз, ставила свой лаборантский номер на готовой партии тяжелевшими от ответственности руками.

И сейчас было не легче. Нефть разных глубин. Одна, поводянистее, вела себя, как необъезженный скакун, плескалась, клокотала в колбе, и снова дыбилась вверх нефтяным гейзером. Другая, богатая парафином, застывала в холодильнике:

«Каждая нефть по-своему с ума сходит», — говаривал Платэ.

Но вот перегнала. Намного быстрее, чем предполагал Платэ. С внутренним торжеством положила на его рабочий стол таблицу нефтяных констант.

Когда на другой день Полина вошла в лабораторию, увидела вначале приподнятые удивленно медвежьи брови Платэ, а затем его сияющие почти счастливые глаза. Как обрадовалась сияющим глазам профессора. Господи, хоть кто-нибудь ей рад!

Профессор тут же попросил ее получить новое вещество,

и неприметно Полина, как сказал Платэ, «втянулась в диплом...».

Над дипломом работалось с азартом. С неотступным отчаянием человека, на котором пылает одежда, и он пытается погасить на себе огонь. Все получалось удивительно точно, и стали осмысленными вечера, когда она могла увенчать стол Платэ колбой с новым препаратом.

Но... оказалось, что в такие вечера семья нужна не меньше. Как же хотелось не возиться с углем и печкой, а прийти в теплую комнату и чтоб встретила мама, и поест суп с клецками, или даже картофель с домашними огурцами, а потом забраться с ногами на диван, читать вслух Шевченко, а мама чтоб слушала.

Вечерами Полина боялась идти в свою сторожку, оставаться там наедине с собой; работала, пока не выключали электричество или газ. Глядя на синие огни гудящих горелок, она частенько думала о родных, не понимая еще, что со дня на день крепла их верой, их неразвернувшейся силой. Они погибли, веря в нее. Она не может их обмануть. Не смеет обмануть. Это для них, может быть, хуже смерти.

Эта подспудная, заглохшая было мысль стала исцелять ее, придавая силы, когда руки изнуренно опускались на лабораторный стол.

Однажды, за полночь, к ней неслышно подошел академик Зелинский, в своей неизменной черной шапочке, пошевелил добрыми усами, глядя на ее снующие руки, спросил, получается ли? Посмотрел записи, взял карандаш, прикинул что-то... Вздохнул:

— Пора спать, полуночица.

И, достав из оттопыривавшихся карманов своего белого накрахмаленного халата один из бутербродов, которыми он оделял всех полуночников, ушел домой. Зелинский жил тут же, в Университете, но, увы, навевывался в лабораторию в последние годы все реже.

А утром влетел шумный неугомонный Платэ, продекларировал Полине с порога: «Старик Державин нас заметил

и... благословил...» Оказывается, Зелинский вызвал Платэ и расспрашивал о полининой работе.

Полина, как шутили в лаборатории, теперь уж растила и холила свою дипломную работу, как ребенка, и ждала, каждое утро ждала Платэ, — что он скажет?

Как-то она вытурила знакомого аспиранта — члена партбюро, который, правда, беззлобно назвал лабораторию Платэ «французской кухней».

Она к Платэ равнодушна, заговорили подруги. Полина сердилась. Она терпеть не могла кретинок, которые влюбляются в теноров, в прославленных преподавателей. Без таких как Платэ, Университет — звук пустой. Памятник старины и только.

К весне снова занемогла. Голова болела, «весь череп поднимается», говорила Полина. А сердце... кажется, до утра не дотянешь. Полина измерила температуру. 35,2.

К врачу боялась идти. Скажет, лежать. А когда лежать? Она начинала опыт, и, заперев дверь и туго затянув голову мокрой косынкой, влезала на подоконник и дышала в форточку. Иногда боль отпускала.

Платэ врывается, как тайфун.

— Обедать ходили? — и отрывал свой итээровский талон. — Я отстраняю вас от работы, пока не пообедаете.

Как-то оставил на ее столе бутылку молока. Полина знала, у Платэ двое маленьких детей, и не притронулась к молоку. Платэ на другой день раскричался так, что она тут же выпила бутылку залпом, зубы стучали о горлышко.

— Я вами доволен! — сказал он, когда она поставила бутылку.

Полина была убеждена, это он о молоке. Оказывается, не в молоке дело.

Он был дотошным, Платэ. Как и все на кафедре Казанского. Прежде чем отправлять студенческую работу в печать, он заново разгонял на колонке вещество, сам определял все константы, все рефракции.

А ныне он произвел это почти в ярости: когда Полину похвалил академик Зелинский, кто-то пустил слух, что ей

делают поблажки; если пересчитать результаты ее опытов, наверняка там напутано.

Платэ перепроверил все, заставил считать аспирантку, которая, по его подозрению, могла распустить такой слух.

— Я вами доволен, — повторил Платэ. — Все у вас сошлось до четвертого знака.

Официальным оппонентом назначили академика Казанского. Полина пришла в ужас. Опять он? Да что это за напасть?

Когда отвезла диплом Казанскому, казалось, что оставила там, на Калужской заставе, свое сердце.

Внутри пустота.

На защиту диплома пригласили академика Зелинского.

Он восседал во главе стола, патриархом всея химической Руси, жестом прогнал фотографа из газеты; тот, изгоняемый, успел все же сделать несколько снимков, которые Полина хранит теперь вместе с фотографиями родных.

Задавал вопросы академик Казанский, — вьедливо, со своей постоянной улыбочкой. Добряк Платэ поинтересовался тем, что, по его убеждению, Полина изучила на зубок, — ответила ему быстро и виновато.

Патриарх всея химической Руси молчал, покачивая головой в черной академической шапочке; сделав несколько записей в своем блокноте, сказал деловито, что эту работу туда же...

Полина вышла из аудитории со стесненным сердцем. Куда, туда же?...

Оказывается, на конкурс дипломных работ; позднее Полине вручили почетную грамоту, на которой был нарисован кубок, видно, грамота предназначалась для футболистов. Под кубком напечатали, что она заняла на конкурсе университетских дипломных работ второе место.

— Ну, что, — торжествовал Платэ. — Я же сказал. Все сошлось до четвертого знака...

Еще раньше, сразу после защиты диплома, жена Платэ, дочь академика Зелинского, испекла, в честь ее диплома,

пирог. Платэ подарил на память свою книжку... Полина сбросила туфли, взобралась на ковровый диван с ногами, вместе с шестилетним Федюшкой, сыном Платэ, с которым они всегда были большими друзьями, и читала Федюшке есенинское — «К матери», а, когда он нетерпеливо заерзал, «Собаку Качалова».

На другой день Полину вызвали к академику Казанскому; Казанский сказал, как всегда, сухо, что он был бы не против, если бы Полина пошла в университетскую аспирантуру. К нему, академику Казанскому.

— Что? — он поднял глаза на онемевшую Полину и улыбнулся своей обескураживающей Полину улыбкой. — Надо подумать?

... Лето сорок шестого года было знойным. Лето лесных пожаров и экзаменов. Даже странным казалось Полине, что когда-то думала о смерти.

За плечами теперь были не только неудачи, но впервые — большая удача. Точно она на планере взлетела, и ее несет восходящий поток. Она даже позвонила дяде. Он обрадовался, что простила, наконец, дурацкое сватовство. Дядя басил в трубку: «Мо-олодец!» Она снова слышала сердечные родные интонации, и была счастлива.

— Приезжа-ай! Деньжат нужно?

— Нет. Я сказочно богата.

У нее и в самом деле появились деньги.

Неделю назад Платэ достал из бокового кармана стопку десятков. Полина вскинула руки в испуге.

— Это — ваш заработок, — спокойно сказал Платэ. Работа с нефтью договорная. Это — ваша доля.

Полина по-прежнему глядела на него с недоверием, пока старшая лаборантка, Федосья Ивановна, не выпучила на нее глаза: разве ж Полина не знала, что с геологами договор?

— ... Богата? — удивился дядя. — За что это тебе?

— Заработала. Платэ устроил.

Аспирантские экзамены сдавала все с тем же возвышающим ощущением легкости и удачи. И, когда они оста-

лись за спиной, у дверей аудитории ее ждал представитель профкома с путевкой в руках.

— Распишитесь, Забежанская. Путевка в Геленджик. В санаторий. За полцены.

... Впервые ее никто не провожал. Даже дядя. Два года прошло со дня поездки в Широкое. Так же, как и тогда, подходила к полуразбитым, в снарядной оспе, кирпичным стенам, с надписью: Харьков. Если б можно было сменить курортную путевку на путевку домой! И чтоб вышли встречать...

Двери на вагонной площадке настезь. Полина уселась в дверях, ноги на ступеньке. Вдоль рельс — воронка на воронке. Полуобрушенные ходы сообщения, разметанная колючая проволока.

Вагон швыряло; рядом сидел какой-то солдат, он крикнул: «заспиваемо!» и затаил неизменную, эшелонную: «... Эх, руса коса, до пояса, в косе лента голуба!...» И Полина подтягивала, захлебываясь от теплого ветра и горького восторга: навстречу стелилась родная земля. Проскочили ивы, топольки. Топольки все в белом пухе, как птенцы, вылупившиеся из гнезда. Медленно плыли, кружась, израненные поля с зелеными яровыми и высокими, начавшими желтеть, озимыми хлебами.

«Украина, маты моя! Ненько моя!»

ГЛАВА 3.

... Когда Полина вернулась в Москву, она узнала, что в аспирантуру ее не утвердили.

Она примчалась в лабораторию, где сидел, обхватив голову руками, Алик-гениалик.

— Алик, это правда?

Алик поднял голову, кивнул.

— Но... почему?

— Пятый пункт.

— Что-о?

— Пятый пункт. Национальность.

— Бред!

— Бред! — согласился Алик-гениалик. — Пьяный бред... Но попробуем встать на почву фактов. — Алик вынул из кармана блокнот и со свойственной ему обстоятельностью написал на листочке фамилии двадцати кандидатов в аспирантуру, которых представил химический факультет Университета.

Министерство высшего образования шестнадцать кандидатов утвердило. Алик вычеркивал их, одного за другим. Это были русские, украинцы. Один китаец. Один немец. На листочке остались четыре еврейские фамилии. Среди них — фамилия единственной на курсе сталинской стипендиатки, а стипендия имени Сталина выдавалась только студентам выдающихся способностей.

Замыкал список отверженных ... сам Алик.

— Как?! Тебя не утвердили? — ошеломленно воскликнула Полина.

Алик улыбнулся грустно, потерянно. Предложил съездить в министерство: «Там Фигуровский. Свой человек. С химфака».

«Свой человек» был изысканно вежлив с ними. Он терпеливо объяснил, что, судя по документам, у Полины родители были на оккупированной территории. Надо проверить, как там и что.

Полина ушла из Министерства почти успокоенной. Что ж, они, по-своему, правы. В оккупации всякое бывало. Любка Мухина и Нинка Карпец, — вся «Звильнена Украина» тоже может приехать в Университет. Надо проверять и проверять.

Она вернулась в свою сторожку и написала в Широкое, Нине Полуяновой, чтоб прислали официальный документ о судьбе семьи.

Затопила печку. Разболелась голова, угорела, наверное, впервые в жизни задумалась над тем, что в ее документах существует, оказывается, пятый пункт.

Какой в нем смысл? Для государства. Для нее самой...

Было ли когда-нибудь в детстве ощущение, что она не такая, как все? Хотя бы намек на отчужденность?

А что, собственно, могло разделять? Религия?

Широкская десятилетка, двухэтажная, добротная, с большими овальными окнами, размещалась в бывшей синагоге. Клуб — в бывшей православной церкви.

Они, широкие, с богами не знались.

В школу пришла, еще и семи не было. Босичком.

— Как твоя фамилия? — спросила учительница, раскрывая классный журнал.

— Забижня! — закричал класс.

Все ее окликали: «Забижня», и она стала отвечать «Забижня». Так все десять лет и значилось — «Забижня». Придет начальство: «Сколько учеников?» «Сорок!» «Сколько украинцев?» «Сорок».

Только в аттестате об окончании десятилетки записали — Забежанская. Как в паспорте.

В доме разговаривали по-украински. Когда приезжал московский дядя — по-русски.

Услыхав еврейскую речь, они с Фимочкой затихали, настораживались. По-еврейски родители общались друг с другом только тогда, когда хотели что-то скрыть от детей.

Когда она впервые подумала о себе — еврейка? Не такая, как ее подруги.

Уже здесь, в парткоме Московского Университета, когда ее намеревались было забросить к немцам, а потом сказали, что немцы расстреливают евреев.

... Когда Полина, спустя месяц, зашла утром, по дороге в Университет, к дяде, и тот спросил ее, как с аспирантурой, она, помявшись, призналась, что не берет. О причине дяде не заикнулась. Как можно сказать серьезным людям: «Не берет, возможно, из-за того, что еврейка»?

Дядьку, вон, назначили какой-то шишкой в Министерстве угля. Чуть ли не замом министра.

При чем тут национальность?

Но дядина жена, властная неугомонная женщина, не успокоилась; ей не понравилась уклончивость Полины. Почему не берет? Может быть, у тебя что-нибудь с поведением? Ты что-то скрываешь от нас.

Пришлось сказать. Чужими, непривычными еще словами:

— Пятый пункт. Национальность.

Тетка вдруг ожесточилась. Как будто в словах Полины она ощутила угрозу себе самой, своей семье. Угрозу нужно было отбросить от себя. Отшвырнуть подальше.

— Неправда! Болтовня все это... Ведь его, — она показала на мужа, — назначили на большую работу, это тебе не какая-нибудь копеечная аспирантура. Тебя правильно не взяли, если ты можешь так думать!

Полина опешила. Лишь позднее узнала, что в тот день на филологическом факультете Университета вычеркнули

из списка будущих аспирантов дочь тетки, способного искусствоведа, уже напечатавшую свои первые статьи, которая к тому же кончила музыкальную школу, а Третьякову знала, как собственный дом.

— Кто ты?! — кричала тетка, и белое рыхлое лицо ее исказилось. — Деревенская деваха, которая умеет варить украинский борщ, стирать тряпки и скрести добела полы. Что ты еще умеешь?! Тебе вскружил голову этот... Как его? Твой француз. Платэ. А в министерстве разобрались. Там не дураки сидят. Причем тут пятый пункт?!

Полина задохнулась, зажмурилась, как если бы ее обдали из помойного ведра. И бросилась по лестнице вниз, в глубине души надеясь, что дядя окликнет.

Не окликнул.

... Вернулась потрясенная в сторожку, снятую для нее дядей, собрала постель, связала книги, оставила в шкафу туфли-лодочки, на вешалке голубое платье. Пропадите вы с вашими подарками!

Присела у остывающей печки. Такого отчаяния она не испытывала давно.

С трудом поднялась. Прижавшись затылком к дверному косяку, на прощанье оглядела комнату. Стены белые-белые, как дома; столько раз перебеливала!

Полдень, а на улице сумрачно. Сеет дождь. Холодный, сентябрьский. Ветер бьет водяными брызгами по глазам.

Куда теперь?... Москва — сурова. Сразу и угла не найти.

Трамвая не было; одеяло, в которое были завернуты книги и подушка, намокло, и Полина бросилась под навес.

Возле нее заскрежетали тормоза. Она шарахнулась в сторону, но ее остановил веселый голос.

— Эй, красавица, на какой вокзал?

Оглянулась: такси.

Полина стояла в растерянности: в кармане последняя двадцатка.

Шофер вышел, протянул руку к намокшему узлу и чемодану.

— Давай, не журишь! Кто на тебе женится, когда одеяло мокрое?

Он бросил сырой узел на заднее сиденье, посадил Полину рядом с собой.

— Ну, на какой вокзал?

Полина пошевелила горячими губами и, неожиданно для самой себя, сказала:

— Улица Жданова. Министерство высшего образования.

Шофер сразу перестал быть игривым, ответил по-военному четко:

— Есть, министерство высшего образования.

Полина попыталась сдать мокрый узел в гардероб Министерства, на нее накричали. Она бросила вещи у входа на сырой пол и поднялась наверх. Подойдя к дверям, поглядела на свои ноги в разваливающимися резиновых туфлях, и едва не повернула обратно.

В отделе университетов были любезны, как и в первый раз. Предложили сесть. Полина сказала измученным голосом, что она больше не может ждать. У нее нет крыши над головой. Нет денег. С августа... третий месяц без хлебных карточек. Взглянула на багрового, грузного, в белой манишке, Фигуровского, — он опустил глаза. Посмотрела на седую женщину с папкой, стоявшую у стола, и та отвела глаза.

«Как в Широком — мелькнуло у Полины с ужасом. — Все отводят глаза. Будто они, как и те... зарывали могилы. Правилы фуры. Соучаствовали... Что же это такое?»

Кто-то вошел в комнату за ее спиной: Фигуровский торопливо встал. Кивнув в сторону Полины и назвав ее фамилию, он пояснил кому-то, что она больше ждать не может. Третий месяц без хлебных карточек.

Полина так круто обернулась к вошедшему, сухому, гладколицему человеку, что тот не успел отвести глаза. И Полина увидела в них удовлетворение. Откровенное, блеснувшее желтым огнем удовлетворение на сытом бесстрастном лице. Мол, все идет правильно. Она не выдержит. Полина вдруг поняла — ее убивают. Тихо, без стрель-

бы. Точно рассчитали, она подохнет. Или бросит свою работу, удерет куда глаза глядят.

Закружилась голова, она заставила себя подняться, и, ступая твердо, всей ступней, чтобы не упасть, вышла из комнаты.

... Держа мокрый узел и чемодан, Полина побрела вниз по Кузнецкому мосту, дрожа от ужасного предчувствия беды.

«Что стряслось? Почему решает Фигуровский? В комсомольском бюро говорили, что бесцветнее Фигуровского в Университете не было. Косноязычная бездарь. Студенты называли его «мясником», «ококором». На его лекции ходили по жребию. Чтоб со стипендии не сняли.

И «мясник» укрылся в Министерстве?

Теперь он, как стрелок в укрытии, может избавиться от любого. Даже самого талантливого. Он мстит Университету?...»

По дороге в Университет Полина зашла на Центральный телеграф, позвонила одной подруге, другой — никого не застала. Хотела идти дальше, не было сил. Полина заглянула в соседний зал — междугородних переговоров. Здесь теплее, и стояли скамьи.

Забилась в угол, положив рядом вещи.

Звучный, как колокол, голос вызывал: «Ленинград, восьмая кабина!» «Днепропетровск, первая...» «Хабаровск...» «Мурманск...»

Пригревшись, она задремала, и сразу же, как наяву, увидела красноватый камень Ингулецкого карьера. Она карабкается на него, падает, ее подгоняют, толкают, кто-то тянется к ее туфлям, бранит ее: «Рванина какая, доносила!...»

Но все равно сдирает с ног рваные туфли.

Она пригляделась — да это Фигуровский, корректный «ококор» в белой манишке. Зачем ему рваные туфли?...

Кто-то стоит на бугре гладколищый, с белыми манжетами, глядит как стреляют евреев. А стреляют свои, вместе учились.

Сзади скрипит что-то, ветер доносит знакомый голос:
— ... в затылок. Разрывными. Не знаете, что ли?

Грохнуло железом, ее затрясло. Полина открыла глаза. Оказывается, ее будила уборщица. Она убирала щеткой на длинной ручке каменный пол, Полинины вещи ей мешали.

... Полина притащилась на факультет с узлом и чемоданом в руках и, поставив в нерешительности, прошла, пошатываясь, в комсомольское бюро.

Сизый дымок тянется от приоткрытой двери. Значит, есть кто-то. Счастье какое!

Увидели ребята Полину, кинулись к ней. Что случилось?

Деловито потрогали горячий лоб. Достали электроплитку, чтоб подсушила расплзшиеся туфли. Принесли кипятку. Сунули бутерброд и, на всякий случай, аспирин. Оставили ночевать в комсомольском бюро, на клеенчатом, истертом, с торчащей пружиной, «комсомольском» диване, как его называли: на него, по обыкновению, усаживали вызванных.

К утру перемоглась, хотя голова еще кружилась. Придерживаясь за стену, прошла в лабораторию.

Тот, кто уходил из комсомольского бюро последним, по обыкновению, заносил ей ключ, и Полина, прихватив домашнее лоскутное одеяло, шла спать.

... Она ночевала в комсомольском бюро на стареньком диване вот уже второй месяц.

Однажды в студенческой столовой Полина поймала себя на том, что пожирает глазами недоеденную картошку в миске на соседнем столе. Бросилась из столовой прочь, как будто в спину ей улюлюкали.

Была бы московская прописка, все стало бы проще. Ушла б на химзавод, пока решают. Но на Карповском даже разговаривать не стали: мало ли кто у нас раньше работал. Где прописка? Может, вы из лагеря.

Ребята хотели устроить ее в студенческом общежитии. Не вышло: комендант общежития неохотно замечал разбитые стекла или засоры канализации, но с рвением занимался вылавливанием непрописанных.

От одного берега оттолкнулась, к другому не пристала.

Единственная твердая почва, которая еще оставалась под ногами, это лаборатория нефтехимии, уставленный трехгорлыми колбами стол, где весь этот месяц Полина исследовала новое вещество. Здесь привычно пахло непредельными углеводородами и не было запахов роднее и бодрящее, чем эти, говорят, противные для чужих резкие запахи.

Полина трудилась до полуночи, пока дежурный не закрывал газ и воду. Какое было счастье, когда получала препарат, которого до нее на земле не было, прозрачный, как слезы. Какие тайны он хранил? Что подарит миру?

Наконец из Широкого пришло долгожданное письмо. Нина Полуянова писала, что райком партии выслал в Министерство сведение о гибели полининых родителей еще месяц назад. По запросу. «У нас был процесс над полицаями. На процессе говорили, что батя твой сказал полицая, который отказался в него стрелять, что верит в твою жизнь, верит в нашу победу. Любке Мухиной дали восемь лет. Она многих выдала...»

В конверт была вложена выписка из «акта комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний». Обычный листочек, вырванный из школьной тетради. С печатью широковского райкома партии.

Ученый секретарь факультета Михаил Алексеевич Прокофьев отвез выписку в Министерство; вернулся мрачный, сказал Полине жестко:

— Работай! Еще раз поеду, и еще раз, пока не пробьем.

Она поглядела вслед ему. Он ступал твердым хозяйским шагом, широкоплечий, в синем кителе флотского офицера; в Прокофьеве чувствовалась сила, которой у нее уже не было.

«Весь факультет поднялся. И как головой о стенку...»

Но стенка начала поддаваться. За месяц утвердили еще троих, в том числе и Алика-гениалика.

За бортом оставалась лишь она.

Подошли ноябрьские праздники. Полину назначили де-

журить, вручили ключи от лабораторий. На демонстрацию идти не в чем.

Она смотрела на красные транспаранты, плывущие под окном, и плакала от обиды.

Как-то она спешила по университетскому двору, впереди нее двигался старик. Она видела его согбенную худую спину, подумала сочувственно, сколько лет надо давить на человека, чтоб так пригнать.

Перегоняя старика, взглянула на него искоса, и ахнула. Да это же академик Казанский! Борис Александрович Казанский, который входил в аудиторию, как гренадер, расправив плечи, стройный, величественный, полный сил.

Вот, оказывается, каково ему, когда он не на людях!

В этот день она подошла к нему и сказала, что по-видимому ждать нечего. Она благодарит сердечно, но что делать?... Может быть, ей самой что-нибудь предпринять?

Казанский сказал сухо, губы его подернулись.

— Это вас не касается вовсе. У вас есть тема. Вы — работайте!

Если бы он взглянул на ее ноги, заметил бы, что она стоит перед ним в разбитых резиновых тапочках, а на дворе конец ноября. Но он смотрел куда-то в окно. Взгляд его серых глаз был непримирим:

— Ничего не понимаю...

Но, видимо, он все же понимал. На другой день он сам задержался возле Полины, которая работала у ревущей тяги.

Полина услышала вдруг сквозь шум.

— Это не вас учат, Полина. Это меня учат... — И с приглушенной, едва уловимой яростью: — Но — не научат!

... Канул еще месяц. У Полины от голода кружилась голова. Начали отекать ноги. Натягивать по утрам туфли стало мукой.

Все предлагали ей поесть, и от этого еда не шла в горло. Доцент химфака — величественная Скворцова, вдова Скворцова-Степанова, протягивала деньги и приказывала:

— Марш в столовую!...

Полина клялась доцентам, что она сыта, и бежала к подругам, с которыми жила когда-то в общежитии, чтоб сводили поесть. Сил нет.

Кончалась пора сочувственных тычков и бездумных возгласов бывших однокурсников. Никто уж более не кричал издали бодренько: «Ничего, Полинка, крепись!...» Одни спрашивали тихо, участливо, с тоской: «Есть новости?» Другие отводили глаза. И спешили куда-то. У каждого свои дела.

Лишь ученый секретарь Михаил Прокофьев поддерживал в ней почти угасшую веру. Стоило Полине заметить вдали синевший под распахнутым халатом морской китель, она улыбалась: еще не все пропало!

По ученому секретарю можно было проверять часы. Он приходил точно в шесть утра, готовил докторскую диссертацию. И по утрам порой во всем факультетском крыле работали над своими установками только он, да Полина, оба измученные, серые, в черных прожженных халатах.

Как-то он не появился, и день, и другой, и Полина ощутила надвигающееся отчаяние. Через неделю у нее уж все валилось из рук. «И он прячет глаза?»

Полина выбежала на университетский двор и, еще смутно сознавая, чего она хочет, вошла в будку телефона-автомата, набрала номер. Отозвался дядя. Басисто. Протяжно.

— А-алло! Да, а-алло!... Да что-о такое?

Полина повесила трубку, стояла, помертвев, с закрытыми глазами.

И на другой день позвонила.

— А-алло! Да, а-алло!

Повесила трубку; чувство было такое, вроде тверже стала: родные интонации дядиного голоса прибавляли сил.

И каждый раз, когда сердце стучало где-то у горла, словно ее гнали, подталкивая в спину, на Ингулецкий карьер, она бежала к телефону-автомату.

Однажды позвонила — никто не ответил. В другой раз прозвучал незнакомый голос.

... Пришел декабрь. За одну ночь выпало столько снега, что приостановилось движение. Под окнами ревели, пробиваясь, снегопогрузчики с жирафьей шеей. Троллейбусы буксовали, и тонкие длинные дуги их, сорвавшись с проводов и осыпав искрами улицу, угрожающе раскачивались.

Все летело к чертям. Все буксовало.

На улицу выйти не в чем. Точно заживо замуровали ее в толстых крепостных стенах. На что она надеется? От Университета до министерства ходу пятнадцать минут. Акт комиссии о немецких зверствах передан туда два месяца назад.

И... этого недостаточно? Хотят еще раз проверить?!

Утром, в лаборатории, у Полины так схватило сердце, что она легла на пол. Лежала на спине долго, а боли все усиливались, отдаваясь в плече, в поясе. Такого с ней не бывало. Еще не рассвело, и Полина поняла, что может не дожждаться подруг. Придут, а ее уже нет... Поднялась на ноги, держась за лабораторный стол и морщась от резкой боли в груди. Пошарила в аптечке. Склянка с сердечными каплями пуста.

Вырвала листок из рабочей тетради

«Дядя Витя. Когда сил нет, так и соломинка переломит. Я погибаю. Может, не дотяну до утра. Никто в моей смерти не виноват: все мне помогали, подбадривали. Так сложилось. Поедешь когда на Ингулецкий карьер, на могилы, напиши там и мое имя рядом с родными. Чтоб были вместе.

Мука умирать, риднесенький. Но еще мучительнее стало жить...

Целую тебя...

Полина »

Полина достала твердый серый конверт со штампом бакинского крекинг-завода, приславшего ей на контрольный анализ свои пробы, вложила туда письмо.



Академик Казанский, кажется, доволен...



«Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил»
Патриарх Всея Химической Руси академик
Н.Д. ЗЕЛИНСКИЙ и Полина (слева)

Заскрипела дверь, Полина торопливо сунула конверт под химический журнал и, преодолевая боль в груди, распрявилась, иссинь-бледная, неподвижная, в своем изъеденном кислотой, не по росту, черном халате.

В лабораторию быстро вошла Мария Васильевна Говардовская, маленькая, в желтоватых поблескивавших бусах из янтаря, в лаковых туфлях, словно только что из театра. Приближаясь к Полине, не отводила огромных встревоженных цыганских глаз от химического журнала, из-под которого выглядывал уголок серого конверта.

— Полинushка! Ты что! У меня ватрушка есть. Сейчас чай поставим...

Полина села на высокий табурет, обессиленно прислоняясь спиной к стене и не отвечая Марии Васильевне.

Мария Васильевна налила воду в колбу, поставила ее на газовую горелку, оглядывая в испуге рабочий стол Полины. Схватила одну из пробирок с желтоватым раствором иода, взболтнула, зачем-то понюхала.

У Марии Васильевны были пепельные впадины глаз, как будто она горела изнутри.

«Горела злобой», думала Полина.

Мария Васильевна была человеком чуждым. Женой врага народа. Кто на факультете этого не знал! Не только мужа у нее арестовали, как врага. Но и родного брата. И сама — из дворян.

Муж Марии Васильевны, как специально информировал комсомольцев кафедры парень из спецотдела, готовил взрыв химического комбината, а еще ранее передал в Берлин величайшее открытие Казанского и Платэ тридцатых годов — получение бензина из бурых углей посредством крекинга. Нефти в Германии нет, а бурых углей сколько угодно. Поэтому фашистские танки, вопреки расчету советских экономистов, не имели нехватки в горючем. Шли и шли вперед...

«Сколько крови пролилось из-за одного изменника!» — И представитель спецотдела оглядел притихших комсомольцев.

Марию Васильевну, хотя она и была серьезным ученым, доцентом химфака, к студентам не подпускали и на пушечный выстрел. Из Университета не выгоняли взашей только потому, что академик Николай Дмитриевич Зелинский об этом и слышать не хотел.

Если б она еще молчала, эта Мария Васильевна. Так нет же! Как только заходил разговор о военных годах, она исступленно доказывала, кто бы ни стоял рядом, что муж ее ни в чем не виноват, и что убийство его было преступлением. О чем бы ни шел разговор, о первых шагах химической промышленности или о последних работах Казанского, Мария Васильевна обязательно вставляла в него, на высокой страдательной ноте: «Не виноват!»

Одни шарахались от нее, другие настороженно молчали.

Мария Васильевна вскипятила в колбе чай, заварила его особым способом, на пару, как учил ее муж на Балхаше (она непременно вспоминала это при чаепитии) и, разливая густой ароматный настой в химические стаканчики, произнесла со страстью и гневом:

— Алик говорит, пьяный бред — этот пятый пункт. Нет, совсем не пьяный бред. Это — кровавый бред. Трезвый кровавый бред... Доколе будут убивать ни в чем неповинных людей?

— Мария Васильевна, — сказала Полина измученным тоном. — О чем вы? О своем, да?

— И о своем, и о твоём, — Мария Васильевна разломала пополам черствую ватрушку, кинула в полинкин стаканчик два кусочка сахара. Сама пила без сахара. — Когда убивают революционеров и вводят процентную норму для евреев — только слепой не увидит тут общего. Ты что, даже и не слыхала о ежедневных сводках, которые составлялись нашей приемной комиссией? Четыре раздела. Сколько принято русских, украинцев, так сказать, коренного населения, и сравнительно с ними, сколько евреев и прочих. Государственная сводка.

Полина работала с Марией Васильевной в одном пролете, спина к спине, она просто отвернулась бы от нее,

если б не болело так сердце: она и слышать не хотела такого. Антисемит для нее означал лишь одно — фашист, убийца. Кровавый палач. Да, такие тоже завелись. Но как можно обобщать? Сравнить с тридцать седьмым годом?...

На ее пути встал Фигуровский. Кто его не знает? Он боится способных аспирантов — это ясно. Хотел сбросить под откос даже Алика.

И не один он такой... За ним еще кто-то. Серые, скользкие гады, увивающиеся подле науки. Им надо очистить места — для самих себя, — вот в чем дело! Любыми путями. Для них «пятый пункт» — дар небес.

А Мария Васильевна опять пытается все свалить в одну кучу. Видно, правы те, кто говорили, Мария Васильевна озлоблена до того, что готова бросить тень на святое святых — на советскую власть.

Нет, этого Полина, комсомолка, бессменный агитатор на избирательном участке, позволить не могла никому. Что бы ни стряслось, советская власть открыла перед ней Университет. Мама умела лишь расписаться. Училась вместе с дочерью.

Равноправными-то стали лишь четверть века назад, а то прежде, чуть что, все по погребам да конюшням прятались.

Нет, советскую власть она, Полина, в обиду не даст.

Правильно, что Марию Васильевну к студентам не подпускают!

Полине стала неприятна даже белоснежная шелковая кофточка Марии Васильевны, даже краешек шелкового кружевного платка, выглядывавшего из синего кармашка на груди.

Она ждала, когда Мария Васильевна уйдет. Но Мария Васильевна, тревожно поглядывая на химический журнал, лежавший на полинином столе, не отходила от нее. Она то и дело переводила взгляд с журнала на дверь, — вот-вот должны были прийти полинины подруги, — затем на Полину, и тогда цыганские глаза ее наполнялись страданием...

Увы, гораздо позднее осознала Полина всю трагичность

этой воистину сатанинской стены, воздвигнутой между нею и Марией Васильевной.

Разве у Марии Васильевны не ее, полинина судьба?

Ей так же опорой были те, кого уж нет.

И лаковые туфли на венских каблуках, которые она носила, и безукоризненные синие костюмы строгого английского покроя, которые вызывали у Полины чувство недоумения, — странное щегольство! — она шила только потому, чтоб никто не мог сказать, что она, вдова выдающегося химика Юшкевича, опустила.

Они были сестрами по несчастью, эти две истерзанные женщины, и самый тяжкий крест, который несет Полина, — это то, что она, как и почти все на химфаке, не доверяла Марии Васильевне, не слушала ее, не спорила с ней, а ведь было о чем! — а, как правило, лишь отворачивалась.

Пришло время, и Марию Васильевну вызвали в Верховный Суд СССР и вручили справку о том, что ее покойный муж, выдающийся ученый и соратник Орджоникидзе, ни в чем не виновен и поэтому полностью реабилитирован.

Мария Васильевна, машинально теребя пальцами оправдательную бумагу, вернулась домой и, открыв дверь, упала. Сердце не выдержало...

И все, кто знал Марию Васильевну, и всемирно известные академики, и девочки-лаборантки пришли на ее похороны и чувствовали себя, как побитые собаки.

Но это произошло лишь десять лет спустя.

А в ту памятную для Полины ночь она весь свой комсомольский пыл обрушила на «пошатнувшуюся в вере» сестру, которая посмела заподозрить, и кого? Повторить страшно.

Именно потому, что Мария Васильевна коснулась самых ужасных предположений Полины, тех, в которых она и самой себе признаться не могла, голос Полины звучал непримиримо.

Мария Васильевна ушла, казалось, навсегда разругавшись с ней, лишь тогда, когда в лаборатории появился

профессор Платэ, аспиранты, лаборантки; веселый гомон наполнил факультет.

— А почему у вас губы синие? — встревоженно спросил Платэ. — Обговорим опыт, и немедля к врачу.

Полина показывала ему листочки с записями полученных констант, а сама все еще видела перед собой огромные цыганские глаза Марии Васильевны, которые заставляли ее думать над тем, что, казалось, было кристально ясно и что теперь доставляло новые терзания, будто ей не доставало их.

Ее добыют доброжелатели, это становилось все очевиднее. Следующая ночь прошла еще мучительней. Пожалуй, трудней и не было. Когда она осталась одна, пришагал длинный Курт, студент из ГДР. Он появился впервые месяц назад, держа руки «по швам» как солдат, и спросил, чем может помочь Полине?

У Полины от удивления рот приоткрылся.

— Я... Я не нуждаюсь ни в чьей помощи.

Но Курт не уходил, и она добавила, снова взявшись за свои пробирки:

— А почему, собственно, вам пришла такая идея?

Лицо Курта было очень серьезным, когда он сказал это:

— Я — немец. Я был в гитлерюгенд. Я заучивал, как формулу воды: «Параграф четвертый. Пункт первый. Еврей не может быть имперским гражданином. Он не обладает правом голоса при решении политических вопросов; он не может занимать общественную должность...» Подписали — фюрер и рейхсканцлер Адольф Гитлер. Имперский министр внутренних дел Фрик. Заместитель фюрера Гесс...» Я верил в это. Вы понимаете, я верил в *это*?! Я верил в то, что привело к Аушвицу и Бухенвальду. Я видел это своими глазами. Я считаю, это мертво. Мертвому место в могиле. Ферштеен зи?

Полина вздрогнула от немецкого слова.

Только этого не хватало! Чтоб помогал бывший нацист. И причем тут его пункты?! К тому же Полина была твердо

воспитана на том, что сор из избы не выносится. Она вежливо выпроводила Курта, радуясь тому, что Мария Васильевна не слышала их разговора. Попадись ей такое «на зубок!»...

И вот Курт снова появился, в своей неизменной вельветовой куртке на молниях и голубом шейном платке, руки «по швам».

Полина смятенно показала на табурет; помедлив, произнесла:

— Битте!

Курт прищелкнул каблуком, присел на краешек табурета и начал расспрашивать ее о здоровье.

— ... Я пришел сказать, Полина Ивановна, — наконец, приступил он к главному, — надо быстро писать Сталину. Вы писали?... Нет? — Он взглянул куда-то поверх Полины своими голубыми, как огонь над спиртовкой, беспощадной остроты глазами, — «вот с такими ненавидящими глазами, — мелькнуло у внутренне сжавшейся Полины, — он нажимал курок.» — Надо писать. Без эзопов язык. Писать, что у вас есть наци! И в университете есть. Те, кто исполняют приказы о евреях.

Полина в испуге махнула рукой.

— Что вы, Курт? Они ... они... ну, просто... бездари. Хулиганы. Собаки.

Курт поднялся с табурета, опрокинув его на пол. Таким разъяренным Полина никогда не видела его.

— Вы не возражайте. Наци! Я сам был наци. Знаю, что есть наци. И все знают, Полина. Мы вчера собрались, и немцы, и болгары, и чехи, и все сказали — «наци».

Полина смотрела ему вслед, глотая слезы.

Она любила Университет, как взрослые люди любят свою мать. Порой они видят: она мелка, труслива, отстала от времени, у нее немало иных грехов. Но она — мать. И ей все прощают, потому что она — мать. И мысль, что не где-нибудь, а здесь, в Москве, да еще в Университете, хозяйничают хулиганы, которым выгодно притворяться нацистами... подумать только, выгодно притворяться наци-

стами! Эта мысль была несравнима ни с какой прежней бедой. От горечи и стыда ей хотелось кричать.

Что происходит? Что происходит?!

Едва рассвело, Полина бросилась по снегу в библиотеку. Ноги в резиновых туфлях прижигало так, словно она бежала босой.

Университетская библиотека закрыта. Санитарный день. Полина потопталась в подъезде, высоко подымая ноги, и бросилась вдоль Моховой к Ленинской библиотеке.

Мария Васильевна выговаривала вчера яростно, возьми черносотенные газеты царского времени, и ты поймешь, сразу все поймешь. И спорить не будешь!

Полина выписала их. Но газет ей не дали. Ответили — «в работе».

И спустя неделю пришел отказ — «в работе». И спустя полгода — «в работе».

— Что это значит — «в работе»? — раздосадованно спросила Полина,

Женщина-библиотекарь отвечала с невозмутимым лицом:

— Реставрируют, подклеивают. Все рассыпается. В труху... Долго клеят? В Ленинской библиотеке, девушка, миллионы экземпляров старинных книг. Так что... живая очередь.

Что ж, это было убедительным.

Газеты — газетами, а Полина прибежала по снегу не ради них. Они бы и до лета подождали. Она направилась к стенным стеллажам, где стояли под рукой новенькие красные томики Ленина. Толстущие сборники Сталина. Большого формата. Как книги для слепых.

Лишь недавно перечитывала, к аспирантским экзаменам. Но хорошо известно, совсем иначе звучат те же самые строки, когда их проглатываешь для экзамена, и когда они — сама судьба твоя. Взяла наугад.

«Во всех европейских государствах подобные меры и законы против евреев существовали только в мрачную эпоху средних веков, инквизиции, сожжения еретиков и

прочих прелестей... В Европе евреи давно получили полное равноправие и все более сливаются с тем народом, среди которого живут...»

— Ну, как, Мария Васильевна!

«... Помимо притеснения и угнетения евреев, всего более вредно стремление разжечь национализм, обособить одну из национальностей в государстве от другой...»

Всякие «наци» могут прицелиться в нее, Полинку. Могут даже убить ее, как убили родных.

Но кто позволит стрелять в Ленина? Бред!...

Курту простительна подозрительность. Кем он был? Обжегшись на молоке — дует на воду. Но как Мария Васильевна этого не может понять? Так озлобиться!

Ведь намекает... Бог знает на кого только намекает! Полина открыла томик Сталина, — вот, ведь, черным по белому:

«Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма... Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть последовательными и заклятыми врагами антисемитизма...»

Какое счастье, что есть на свете Сталин!...

Полина бежала вскачь в Университет и, возбужденная, щеки покраснелись, бросила в ответ знакомому, который спросил ее печально: «Как дела?»: — Утвердят, собаки! Никуда не денутся...

И, действительно, утвердили.

Четыре месяца Полину промытарили без хлебных карточек, без стипендии, без возможности устроиться на работу, и однажды, перед новым годом, ее вызвали по телефону из библиотеки.

— Утвердили! — хором сообщили ей встретившиеся во дворе химики.

— Утвердили! — кричали ей почти изо всех дверей, мимо которых она бежала в лабораторию.

— Утвердили, да? — горячим шепотом спросила она Марию Васильевну, которая сутулилась, спиной к ней, за своим рабочим столом... — Утвердили! — жарко повторила она на ухо обнявшей ее и всплакнувшей Марии Васильевне, и это звучало в ее голосе не только личным торжеством.

— Мария Васильевна, милая, утвердили! Утвердили!...

Мария Васильевна плакала, уткнувшись в прожженный халат Полины, плакала беззвучно, все горше, все безнадежнее. Чем жарче Полина успокаивала ее, тем она судорожнее рыдала...

Вечером в лаборатории сдвинули столы, техническая лаборантка не пожалела спирта из своих запасов, и впервые в истории Московского университета аспиранты-химики отбивали чечетку на лабораторных столах, а прижавшиеся к стенам монументальная Скворцова-Степанова и другие степенные люди пели, ударяя в ладоши, в такт все убыстрявшейся чечетке.

— Поинка — калинка моя,
В саду ягода малинка моя...

ГЛАВА 4.

Я увидел Полинку на студенческой вечеринке у моего друга детства, физика. Физик был ярким выдумщиком, и вечера у него проходили весело. Он жил на Бронной, возле Государственного Еврейского театра, в который выпроваживал в такие вечера всех тетушек, чтоб, как он острял, евреи не стесняли русское студенчество.

Гостям тут скучать не давали. В тот день каждого, кто появлялся в дверях, огорошивали требованием немедля, не задумываясь, продекламировать три стихотворных строки. Чем в эту минуту живешь, то и выкладывай!

Звякнул звонок, и физик вскочил с нервной веселостью.

Боком, застенчиво, вошла высокая светловолосая дивчина отчаянной худобы, и, несмотря на худобу, осанистостатная, в легком, не по сезону, истертом на локтях пальто, и ее точно мешком по голове:

— Стихи! Три строки! Быстро-быстро!

Она вздрогнула, прикусила влажную губу и прочитала первое, что пришло на ум:

... — Видала ль быстрый ты поток?
Брега его цветут, тогда, как дно
Всегда глубоко, хладно и темно...

Появился еще гость, поднялась новая кутерьма, а Полинка забилась в углу дивана, сбросив прохудившиеся туфли и

подобрав ноги, замкнулась, тихая, застенчивая. Я то и дело косил глаза на ее белое, неискоренимой деревенской свежести, точно снегом омытое лицо с розоватым румянцем на запалых истощенных щеках, пронзительно доброе. И печальное. Даже улыбалась Полинка с какой-то печальной веселостью, видно, и в самом деле, как ни цвели с холода ее запалые щеки, что-то жило в ней горестное.

Я вызвался ее провожать, и Полинка отнеслась ко мне с поразительным, почти детским доверием. Думаю, обязан этим своему морскому кителю. Ничему более. В синем флотском кителе ходил Михаил Прокофьев, о существовании которого я еще не знал. С морским кителем связывалось у Полинки представление о человеческой надежности.

Мы кружили с Полиной по старым арбатским переулкам. Я с энтузиазмом рассказывал о молении Даниила Заточника, о Коловрате Евпатии и Евпраксии, верной женке, которая кинулась с колокольни (я написал о них курсовую работу и потому считал себя самым крупным, после академика Гудзия, специалистом по древнерусской литературе); посередине Смоленской площади декламировал Есенина и пел дурным голосом песню английских матросов, которую слышал в Мурманском порту, — какая-то старуха с кошелкой, протащившаяся мимо, бросила хриплым голосом:

— Смотри, как девчоночке голову задуряет! А она рот раскрыла, дура, и слушает.

Я так смутился, что Полинка засмеялась и взяла меня под руку.

Следующий вечер мне было разрешено посидеть на табурете, в узком проходе между Полиной и Марией Васильевной, мешая и той и другой. Я мужественно скрывал, что меня воротит от адской вони химической лаборатории до тех пор, пока Полина, взглянув на часы, не вокликнула: — Боже, вы опоздали на метро!

— Теперь уж все равно! — радостно воскликнул я, и посидел еще немножко, а потом шел пешком через весь город, от Манежа до Шарикоподшипника, размахивая

руками, как на строевой, и горланя во весь голос: — ... И Москва улыбается нам!

И окоченелые, в овчинных шубах, сторожа у дверей магазинов глядели вслед понимающе.

«Во, наклюкался-то!»

... Как-то я привел Полинку на филологический факультет послушать очень талантливого и любимого нашим курсом доцента Пинского, которого проработывали на всех собраниях, и о котором говорили, что его за дерзость мысли скоро посадят, что в точности и исполнилось.

Наш факультет в те годы напоминал телегу, которая тряслась по камням.

Постановление о Зощенко и Ахматовой!

О Шостаковиче и Мурадели!

Расул Гамзатов позднее напишет об этом в своей поэме:

«Товарищ Жданов, сидя у рояля, уроки Шостаковичу дает...»

Но мы еще не приблизились даже к такому пониманию происходящего. Мы искали мудрости. Вначале с восторгом, затем настороженно.

Насторожила нас сессия ВАСХНИЛ, которая только что пронеслась, как буря над крышей, прогрохотавший сорванными железными листами. Разногласия ученых-биологов были жутко темны. Однако никогда еще истина не оказывалась столь ясна: в печати и по радио объявили о свободной дискуссии. А в самом конце ее Трофим Лысенко поведал с иронической усмешкой, что его доклад, из-за которого разгорелся сыр-бор, *заранее согласован*.

И не с кем-нибудь. С *самим*.

Значит, это была не дискуссия, а ловушка...

Академик Николай Калининвич Гудзий сказал брезгливо: «Трофим загодя нацепил на своих оппонентов дурацкий колпак с бубенчиком. Чтобы все знали в кого плевать. Без промаха. Вот каналья!»

Лысенковская ловушка была первой ловушкой, в которую наше поколение не попало. «Облысение науки»,

— говорили в Университете с отвращением. Полина спросила как-то:

— Неужели и у вас, гуманитариев, возможна такая низость?

О, святая простота, Полинка!...

Мы бродили по зимней Москве, и наши объяснения напоминали научный диспут, из которого мы выныривали на мгновение, как из водяной толщи, чтобы глотнуть воздуха, и ныряли обратно.

Как-то спросил Полинку о родителях, она вдруг болезненно круто сбросила разговор, и я больше не задевал этой темы.

Но нельзя было долго молчать о том, что само лезло в уши, в ноздри, словно мы, и в самом деле, не могли выбраться из водяной хляби.

... Мы вбежали на факультет по чугунной лестнице, остановились в коридоре, забитом студентами, возбужденными до крайней степени.

Большелобая, с русыми косичками, торчавшими в разные стороны, чешка Мирослава со славянского отделения объяснила мне, что они проводят «социальный эксперимент», как она выразилась. Чтоб разрешить сомнения. По ее наблюдениям, доцент Б. занижает отметки студентам-евреям.

— Этого не может быть! — запротестовал Гена Файбусович с отделения древних языков. — Это нонсенс!...

— А ты пойд и сдай! — мрачно возразил кто-то.

— Попробуй-ка! — подзадорили несколько голосов.

Я стал проталкиваться сквозь толпу, мы опаздывали на лекцию Пинского, Полинка остановила меня. Голос ее прозвучал глухо, сдавленно:

— Погоди!

— Мы опоздаем...

— Мы никуда не опоздаем!

Я остановился недовольно. Не хотелось беречь то, что болело и о чем Полинка, по моему мнению, не имела еще ни малейшего представления.

Откуда-то сбоку прозвучал неуверенный возглас.

— Ребята, сдайте за меня. А?...

У стены сидел инвалид войны. Без ноги. Костыли стояли рядом. — Я ничего не помню... Память дырявая...

Воцарилось молчание.

— Файбусович, пойди, сдай за него! — предложил незнакомый юноша в роговых очках. — Ты — гений! Тебе это пустяк... Произведем, в самом деле, социальный эксперимент. Б. — антисемит, или нет?

Файбусович неловко затоптался, поправил очки, которые у него всегда съезжали на кончик длинного носа; сухопарый, узкоплечий, одно плечо выше другого, долгоносик, он походил на еврея из антисемитского журнала времен Шульгина и Пуришкевича, и конечно же, был наилучшим кандидатом для проведения публичного опыта.

Файбусович начал медленно отступать к лестнице, подняв руку, за которую Мирослава хотела его схватить. Отчаянно затряс головой:

— Сдать за другого! Да ведь это обман...

Файбусович был человеком открытым и честным, да что там честным, он предположить не мог, что в стенах древнего Университета возможны лжецы, невежды, антисемиты.

— Он — святой! — сказала черноглазая девчушка с классического отделения. — Он не может.

— Он не святой, он — святоша!... — резко возразили из студенческой толпы.

Файбусович затоптался у выхода в полной растерянности.

— Ребята, — наконец, выдавил из себя. — Он меня, наверное, знает... Кто этот Б.?

— Взгляни! — потребовали из толпы.

Файбусович чуть приоткрыл заскрипевшую дверь аудитории и, тяжело вздохнув, признал честно:

— Не знает!

— Гена! — восторженно вскричала Мирослава. — Другого такого случая не будет! Установим правду!

Гена медлил.

— Трусишь? — уличили его сразу несколько голосов.

— Да ну его к черту! — помедлив, выбрался юноша в роговых очках. — Что мы перед ним унижаемся.

И тут раздался тихий гортанный голос, почти шепот:

— Геночка!

Наверное, именно такие девичьи возгласы заставляют юношей входить в пламя, нырять с обрыва в ледяную реку. — Геночка, пожалуйста...

— Ну, а зачетка... — дрогнувшим голосом сказал Гена. Там же фотография.

Тут вышел вперед рябоватый плечистый юноша и сказал: — Ну, это пустяки.

И в миг единый генина фотография была переклеена с одной зачетки на другую.

Обычно к дверям могут прильнуть ухом трое, ну, от силы четверо. Сейчас прильнуло, наверное, человек десять. Представители общественности. Нижние сидели на корточках. Верхние встали на стулья. Но и этого оказалось недостаточно. Тогда дверь тихо приоткрыли. Чтобы общественность могла слышать непосредственно. Без представителей.

Это был не просто студенческий ответ на экзамене. Это была песня.

— Знаете ли вы письмо Белинского к Гоголю? — угрюмо спросил экзаменатор.

И Гена Файбусович начал наизусть, с ходу:

— «Вы ошибаетесь, думая, что мое письмо к вам это слова рассерженного человека...»

Он декламировал вдохновенно, как стихотворение в прозе, до тех пор, пока экзаменатор не сказал резко: — Хватит!

Затем Гена объяснил, как полагалось, «своими словами».

Я никогда не слышал таких блестящих ответов, — видно, сказало то, что Гена ощущал взмокшей спиной общественность, ждущую его за дверью.

Юноша в роговых очках шепотом вел репортаж:

— Берет зачетку. Разглядывает. Ставит отметку. Ура!
Все отпрянули от дверей.

Никто не спрашивал, какую отметку поставили Файбусовичу. В чем тут можно сомневаться!

Файбусович, красный как клюква, вышел, открыл зачетку и... приоткрыл рот в испуге.

— Ребята, мне поставили тройку.

Наступило молчание. И в этой все более сгущавшейся тишине прозвучал радостный вопль инвалида. Потянувшись за костылем, он запрыгал на одной ноге.

— Ребята! Ребята! Этого вполне достаточно. У меня тройка проходная отметка.— На его лице появилось неподдельное ликование. Он ушел, весело погромыхая костылем. Остальные молчали. И расходились так же молча, опустив головы, как с похорон...

Прошло некоторое время, и Гена Файбусович пропал. В доносе студентки, его товарища по группе, было сказано, что Гена — «буржуазный националист».

Я встретил Геннадия Файбусовича через двадцать лет, в коридоре Ленинской библиотеки: спросил фамилию оклеветавшей его студентки, из-за которой он угодил в тюрьму. Гена помялся, сказал, зардевшись: — Да не надо. Она потом в психбольницу попала. Когда перед ней открылось все...

Гена торопился в свое больничное отделение. Оказывается, когда он вернулся, его не восстановили в Университете, как других, и он начал все заново. Посмотрел, по его выражению, на филологические книги, как Олег на кости своего коня, и поступил в Медицинский институт. Он не сказал мне, что стал кандидатом наук. Одним из лучших терапевтов Москвы.

Мы успели вспомнить с Геней, смеясь, лишь «социальный эксперимент» у дверей аудитории. Геннадий сказал вдруг, что, если говорить строго, это был «нечистый опыт». — Понимаешь, — сказал Геннадий, поправляя знакомым жестом спадавшие на кончик носа очки. — Экзаменатора раздражало, возможно, не столько то, что я

еврей. А то, что я еврей с русской фамилией. Так сказать перекрасившийся. Зачетка-то была безногого.

По лагерям знаю, — добавил он, посерьезнев, — что перекрасившихся не любят более всего. Меня били, как еврея, только один раз. Уголовники. Загнали в угол: «Жид, танцуй!» А вот перекрасившимся, которые выдают себя за белорусов, или за кого еще, куда хуже. Их никто не любит. Ни хорошие люди, ни плохие. Знаешь, это не антисемитизм. Народу органически чужда ложь. И отвратительна.

И Гена застучал по ступенькам вниз, застенчивый до отчаяния, мудрый Гена Файбусович, который остался незапятнанно чистым даже тогда, когда его проволокли за волосы по всей грязи земли.

... Едва «социальный эксперимент» завершился, и студенты молча разошлись, Поинка повернула обратно.

Я догнал ее.

— Ты куда? А лекция?

— Выйдем на воздух, а?

Мы вышли из Университета и, перебежав Манежную площадь, свернули в Александровский сад, необъяснимо чистый в этом автомобильном чаду. Поинка присела на скамью и тут же поднялась.

— Холодно, — сказала она. — Жить холодно... — Она взглянула на меня пристально, ее серые глаза кричали от боли.

— Что происходит? Я хочу знать. Я имею право узнать все. До конца. И у вас, оказывается, то же самое... Ведь они скоро разъедутся по всей земле, и эта чешка, и наш немец, и болгары, и венгры, что они скажут дома? Какой позор!

Здесь, на сырой скамье Александровского сада, под Кремлевскими стенами, я с удивлением узнал, что Поинка — еврейка и услышал о судьбе ее родных. Позднее мое внимание остановила строчка поэта об Анне Ахматовой — «... Тот, кто пронзен навеки смертельной твоей судьбой...». Я сидел недвижимо, цепenea, воистину пронзенный смертельной судьбой Поинки.

— Что же происходит? — повторяла она, задыхаясь. —

Когда это началось? Как, еще в войну, когда немцы расстреливали евреев? Уму непостижимо?!

Я прошу вас, я умоляю вас рассказать мне, как это начало пробиваться? Пошло в рост? Почему?! У нас. По эту линию фронта. Вы сами видели? Или знаете по слухам? Расскажите. Если действительно видели. Своими глазами. Я хочу распутать этот клубок. Для самой себя. Это жизненно важно для меня. Вот вы, лично, чувствовали себя на этой антифашистской войне оскорбленным или уязвленным евреем? Может быть, не вы. Ваши друзья. Знакомые. Чувствовал себя хоть кто-либо из вас евреем, несчастным «пархатым» евреем, которого можно безнаказанно унижать?... Вспомните! Прошу вас!

ГЛАВА 5.

4 июня 1942 года немцы потопили в Баренцовом море караван PQ-17, из английских и американских судов, которые шли на Мурманск, и приказ ставки бросил нас в Ваенгу. В четыре утра на многих базовых аэродромах, на Балтике и Черноморье, сыграли тревогу, а в полдень бомбардировщики уже садились на самом краю земли, в горячей Ваенге.

Тот, кто был на заполярном аэродроме Ваенга летом и осенью 42-43 годов, знает, какой это был ад. На любом фронте существуют запасные аэродромы, ложные аэродромы. Аэродромы подскока. Aviация маневрирует, прячется. В Белоруссии мы держались полтора месяца только потому, что прыгали с одного поля на другое, как кузнечики.

В Заполярье прятаться некуда. В свое время заключенные срезали одну из гранитных сопки, взорвали ее, вывезли на тачках и — появилась площадка, зажатая невысокими сопками.

Я взбежал на эти сопки полярной ночью, холодной и прозрачно-светлой. Огляделся и... на мгновение забыл, что где-то идет война.

Стихли моторы, и стало слышно, как вызывают ручьи.

Какой-то человек в морском кителе с серебряными

нашивками инженера собирал ягоды. Протянул мне фуражку, полную ягод — угощайся, друг.

Ягоды отдавали смолкой. Голубика? Скат горы был сизым от них. Кое-где белели огромные шляпки мухоморов. Поодаль чернела вероника. Колыхался на ветру иван-чай. Бледно-розовый, нежный и для заполярных цветов высокий, иван-чай густо поднимался у брошенных укрытий-капони-ров, во всех горелых местах, а в горелых местах, похоже, здесь недостатка не было.

Внизу рванулись на взлет истребители, взметая бураны пыли и колкой размолотой щебенки; чуть оторвавшись от земли, они тут же убирали шасси. И лишь затем послышался «колокольный звон» — дежурные, выскочив из землянок, били железными прутьями по рельсам и буферам, висящим на проволоке.

— Дело дрянь! — сказал инженер. — Бежим!

И как бы подтверждая его слова, неподалеку, в Кольском заливе, дробно застучали корабельные зенитки.

Мы кинулись в сторону. Ноги утонули по щиколотку в коричнево-рыжеватой болотистой хляби.

Теперь, видно, били все зенитные установки. Огонь тяжелых батарей на вершинах сопки сотрясал землю.

Сверху нарастал резкий свист. Я бросился было за инженером, но чей-то сиплый голос властно крикнул:

— Сюда!

Я свернул на голос, с разбегу приткнулся около большого гранитного валуна, съеживаясь от ошеломляющего сатанинского воя летящих бомб.

Первые разрывы грохнули посредине летного поля. Вздогнули сопки. Казалось, земля загудела, как натянутая басовая струна.

— Пошла серия. Сюда идет! — сипло пробасил кто-то лежавший рядом.

Что есть силы втискивался в болотистую жижу, прижимаясь плечом к гранитному камню. Вспаривая воздух, сотрясая землю, разбрызгивая тысячи осколков, взрывы подступали все ближе, ближе.

Раскололась земля. Огромный гранитный валун, века лежавший без движения, пошатнулся. Что-то твердое ударило в бок.

«Ханá!»

Разрывы удалялись. Бомбовая серия гигантскими шагами переступила через меня и ушла дальше. Я медленно согнул руку, не решаясь дотронуться до собственного бока. Боли нет... Наконец, приложил ладонь. Пальцы нащупали ком мерзлой земли, отброшенный взрывной волной.

Я тут же вскочил на ноги и радостно закричал своим неизвестным товарищам.

— Э-эй! Где вы?

Ответа не было. Тот, кто лежал рядом, уже спускался: внизу мелькала спина в солдатской шинели. «А где инженер?»

Обежал гранитный валун вокруг. По другую сторону его курилась в скалистом грунте неглубокая воронка.

— Э-эй! — в испуге позвал я инженера.

Тишина.

Бросился в одну сторону, в другую, перескакивая через обломки гранита. И вот увидел у вершины сопки, среди голубики, оторванный рукав флотского кителя с серебряными нашивками инженера. И больше ничего...

С тоской внимательно оглядел сверху летное поле, где тарактели трактора, которые тянули к воронкам волокуши с камнями и гравием. За ними бежали солдаты с лопатами, засыпать воронки.

— Ну, привет, Заполярье! — сказал я, сплевывая вязкую болотную землю. — Места тут, вижу, тихие...

Когда я, кликнув санитаров, вернулся к своему самолету, в кабине кто-то был; из нижнего люка торчали ноги в зеленых солдатских обмотках.

Еще на Волховском фронте нам выдали брюки клеш, поскольку мы теперь назывались как-то устрашающе длинно: особой морской и, кажется, еще ударной авиагруппой; никто особенно не ликовал, знали уж, что мы стали затычкой в каждой дырке.

Но клеш носили с гордостью, и такой ширины, что комендант учредил, одно время, возле аэродрома пост с овечьими ножницами в руках: вырезать у идущих в увольнение вставные клинья.

Оказывается, издавна существовал неписанный закон: чем от моря дальше, тем клеш шире. А тут вдруг торчат из самолета зеленые обмотки. Видно кто-то из солдат охраны влез поглазеть. Заденет какой-нибудь тумблер локтем. Потом авария... Болван!

Я подбежал к ногам в зеленых обмотках и что есть силы дернул за них. С грохотом стрельнула металлическая, на пружинах, ступенька, на которой стоял солдат, и он повалился на землю. Поднявшись, отряхнул свою измятую солдатскую шинель с обгорелой полкой, и сказал, как мне показалось, испуганно:

— Ты что?

— Я тебе сейчас ка-ак дам «что»! — И осекся. Солдату было за сорок, может, чуть меньше. В моих глазах, во всяком случае, он был дедом. — Дед, да как тебе не стыдно?!

У деда было кирпично-красное и широкое, лопатой, скуластое лицо, величиною с амбарный замок подбородок. Грубая, открыто-простодушная, добрая физиономия стрелка из караульной роты, мужика, который всю жизнь в поле.

Только глаза какие-то... неподвижные, извиняющиеся; затравленные что ли? Глаза человека, который ждет удара.

Но произнес он со спокойным достоинством:

— Я прислан штурманом!

Меня аж жаром обдало. Я встал по стойке «смирно». Понял, с кем имею дело. У нас уже бывали штрафники. И потом... да это тот, кто меня спас?!

— Скнарев, Александр Ильич, — представился он. — Рядовой.

Он стал штурманом нашего экипажа, Александр Ильич. А через неделю — флаг-штурманом полка. Еще бы! Он был у нас единственным настоящим морским волком. Остальные только клеш носили. А над морем ориентиров нет. «Привя-

заться», как привыкли, к железной дороге или к реке нельзя.

Только вчера у одного «клевшика», девятнадцати лет от роду, «забарахлил» над морем компас; паренек вывел самолет, вместо цели, на свой собственный аэродром и — отбомбился...

Счастье, что не попал в нас и что командир нашей авиагруппы генерал Кидалинский был отходчив. Как что, кричал «застрелю», да так за все годы никого не застрелил. Хороший человек!

Скнарев с кем только не летал. Никому не отказывал. Ни одному ведущему группы. Он выматывался так, что у него порой не было сил дойти до землянки, засыпал тут же, у самолета, на ватных чехлах.

Над головой не прекращалась «собачья свалка» истребителей. Из-за залива пикировали, оставляя белые следы инверсии, «мессершмитты». Ваенга вышвыривала, как катапульта, навстречу им «Миги», английские «Харрикейны» и «Киттихауки» с крокодильими зубами, нарисованными на отвислых радиаторах.

Они возвращались на последней капле горючего, другие сменяли их.

Жиденко захлопали зенитки. «Юнкерсы» прорвались? Я смотрел на небо с белесыми вытягивавшимися на ветру дымками разрывов и думал: «Будить Александра Ильича?» Решил, по обыкновению, не будить. «Пусть...»

После встречи на сопке с инженером, который угостил меня на прощанье голубикой, я стал фаталистом. От своей бомбы не уйдешь, чужая не заденет. Как-то здорово меня встряхнула та бомбочка. И, как это ни странно, успокоила.

Впрочем, так или иначе, но в Ваенге «успокаивались» почти все, кому не хотелось в сумасшедший дом. Психологический барьер между бытием и, в перспективе, небытием брали, как позднее звуковой, на большой скорости.

И немудрено. Аэродром бомбили по шесть-семь раз в сутки. Часто полутонными бомбами; а как-то даже и четы-

рехтонными, предназначенными для английского линкора «Георг V», который видно, не нашли.

Вот когда я вспомнил Библию: «И земля разверзнется...» С этого начинался день. Сорок — шестьдесят «Юнкеров» прорывались к Ваенге, стремясь хотя бы расковырять позловреднее взлетную полосу, чтобы истребители не могли подняться.

Когда это удавалось, вторая волна «Юнкеров» шла мимо нас на мурманский порт и на транспорты союзников, которые ждали разгрузки, густо дымя в Кольском заливе.

Ягель на сопках горел все лето. Торфяники курились; казалось, воспламенились и земля, и залив. Не потушить. К аэродрому тянулись дымки, запахи гари.

— Что там? — сонно спрашивал Скнарев, когда зенитки начинали захлебываться, и поворачивался на другой бок.

Определив по крепчавшему свисту немецких пикировщиков — «Пора», я расталкивал штурмана, и мы сваливались в щель, которую выдолбили в каменистом грунте, прямо на стоянке.

Здесь на моторных чехлах, и в узкой осыпающейся щели, Александр Ильич Скнарев и рассказал мне свою историю.

Он был майором, штурманом отряда на Дальнем Востоке. Этой зимой его самолет — гофрированная громадина — тихоход «ТБ-3» — совершил вынужденную посадку в тайге. Отказал мотор. Через неделю кончились продукты, и Скнарев вместе со стрелком-мотористом, парнишкой моего возраста, отправился на поиски. В одном из таежных сел ему встретились подвыпившие новобранцы, в распахнутых ватниках, с гармошкой. Узнав, что надо Скнареву, зашумели. «Дадим, однако! На заимке мука есть. Дерьматое... Охотиться нынче некому. Все трын-трава. — И неожиданно трезво: — Реглан, вот, дай!...»

Александр Ильич скинул с себя кожаный лётный реглан; принес к самолету, в обмен на реглан, мешок муки и ящик масла.

Через неделю «ТБ-3» кое-как взлетел, дотянули до своего

аэродрома под Хабаровском. Александр Ильич собрал со всего гарнизона вдов, многодетных и разделил оставшиеся продукты. «Масло ниткой делили, муку «жменями», — рассказывал мне в Североморске, в прошлом году, старый летчик, полковник Гонков, который на Дальнем Востоке служил вместе со Скарневым.

... Только распределили продукты, пришла шифровка о том, что в таежном поселке разграблен военный склад. Немедля отыскать виновных.

А где они, виноватые? Подвыпившие «друзьяки» из маршевой роты... Под Москвой? Под Сталинградом? Может, иные уже и погибли.

Виноватых искали остервенело. Целой группой. Перед войной вышел Указ о хищении соц. собственности. Говорили, по личной инициативе Сталина. Что бы ни похитил человек — пучок колосков, сто грамм масла, булку — десять лет лагерей.

Новый указ — новая метла. Арестовали Скарнева. Увели обесчещенного, недоумевающего. Судили военно-полевым судом...

«Виноватого кровь — вода, — тихо рассказывал Александр Ильич, поглядывая на белесое небо, где то и дело слышался треск пулеметных очередей, — приговорили меня к расстрелу. Посадили в камеру смертников.»

До Москвы далеко. Пока бумага о помиловании шла туда — сюда, прошло пятьдесят шесть суток.

Из камеры смертников, затхлой, без окна, вывели седого человека, прочитали новый приговор. Десять лет. Как за булку.

А потом, усилиями местных командиров, «десятку» заменили штрафбатом.

И вот Скарнев в Ваенге, лежит на чехлах...

Сюда, к чехлам, принесли Александру Ильичу письмо. С Дальнего Востока. О жене. Что муж у нее теперь новый, капитан такой-то. А о старом она не позволяет и вспоминать.

Гораздо позднее выяснилось, что письмо ложное.

Кому-то было жизненно важно Скнарева добить. Чтобы он не вернулся с войны... Но мы оба, и я, и Александр Ильич приняли его за чистую монету. Я выругался яростно, с мальчишеской категоричностью проклял весь женский род. От Евы начиная. И того капитана, мародера проклятого, вытеснившего Скнарева. Нет, хуже, чем мародера!

Александр Ильич урезонил меня с какой-то грустной улыбкой, мудрой, отрешенной.

— Что ты, Гриша! Ведь что взял на себя человек. Двоих детишек взял. Семью расстрелянного...

Я поглядел сбоку на тихого человека с красным и грубым мужицким лицом, освещенным незаходящим заполярным солнцем. И замолчал, раскрыв свой птенячий клюв.

Видно, с этой минуты я к Скнареву, что называется, сердцем прикипел. Что бы ни делал, под рев зениток, треск очередей, пожары, думал, чаще всего, о Скнареве. Как помочь ему?

Я чувствовал себя в чем-то виноватым. На таком сильном, в резких морщинах, продубленном всеми непогодами лице и вдруг... неподвижные, молча извиняющиеся затравленные глаза. Глаза человека, который ждет удара.

Что же предпринять?

Что мог я, на горящем аэродроме, рядовой «моторяга», сержант срочной службы, который даже во время массированных бомбардировок не имеет права отойти от своей машины. А вдруг она загорится?

Никто не скрывал, что бомбардировщик дороже моей жизни. И намного... Кто меня послушает? Никогда я не чувствовал себя таким червяком.

Но так я жить не мог. Я думал — думал и, наконец, придумал. Выпросил у Скнарева штурманский карандаш. И, таясь от него, исписал, на обороте, всю старую полетную карту. И отправил в газету «В бой за родину». Чтобы все знали, какой человек Александр Ильич Скнарев.

Это была моя первая в жизни статья. Я отправил ее с оказией в штабной домик, где ютилась редакция. Туда же

послал второе письмо — о Скареве. Третье. Наконец, шестое...

Они проваливались. Как в могилу. Ни ответа, ни привета.

Какое счастье, что Скарев о моих письмах и не подозревал!...

Через месяц меня вызывают к какому-то старшему лейтенанту. «Бегом!»

Вымыл бензином руки, подтянул ремень на своей технической куртке из чертовой кожи, поблескивавшей масляной коростой, и отправился к начальству.

Старший лейтенант оказался газетчиком. Невысокий, в армейском кителе, на котором не хватало пуговиц. Из запаса, видать... Он обругал меня за то, что я пишу о штрафнике. «Ты что, не знаешь, что о штрафниках — ни-ни?! Ни слова... И вздохнул печально: — Ни слова, о, друг мой, ни вдоха». «Из запаса, ясно.»

Я усадил старшего лейтенанта на патронные ящики и рассказал ему о Скареве. О том, чего не было в моих статьях, которые, конечно же, повествовали только о подвигах флаг-штурмана.

Плечи старшего лейтенанта, одно выше другого, как у Файбусовича, дернулись нервно. Он поправил очки с толстущими линзами, ссутулился и стал похож на бухгалтера, у которого не сходится баланс.

Он не был рожден военным, этот низкорослый человек, это ясно. Я только не знал еще, что он был единственным мобилизованным газетчиком, которого командующий флотом, адмирал Головкин, случайно встретя с ним на пирсе и поглядев на его подвернутые брюки, приказал немедленно переобмундировать в сухопутную форму.

— Таких моряков не бывает!...

Так он и ходил, единственный на аэродроме, в пехотном. В звании повышали, а брюки клеш не давали.

Какое счастье, что именно он приехал к нам.

Подперев ладонью плохо выбритую щеку, он сказал, прощаясь, тихо и очень серьезно: — Как тебя зовут?... Ты, Гришуха, пиши, а я буду держать твои материалы под

рукой. Начальство, увидя меня, почему-то всегда улыбается. Можно когда-то из этого извлечь пользу! А? Рискнем.

С газетой, где впервые появилась фамилия Скнуарева, я бежал через всю стоянку. Я размахивал газетой, как флагом. Вид у меня был такой, что изо всех кабин высунулись головы в шлемофонах. Уж не кончилась ли война?!

Конечно, моей статьи в газете не было. Но на самой первой странице, под названием газеты, вместо передовой, была напечатана крупным шрифтом информация о том, что группа бомбардировщиков, которую вел флаг-штурман А. Скнуарев, свершила то-то и то-то... Главное, появилась фамилия! Оттиснутая настоящими типографскими знаками. Законно. А. Скнуарев!...

Вскоре на аэродром прикатили морские офицеры, о которых мне сказали испуганным шепотом: «Зачем-то трибунал явился...»

В штабной землянке, на выездном заседании трибунала Северного флота, со Скнуарева была снята судимость. Он вышел из землянки, застенчиво улыбаясь, в своих голубых солдатских погонах. «Погоны чисты, как совесть», невесело шутили летчики. Они обняли его, потискали. Я протянул ему букетик иван-чая, который собрал в овраге и, на всякий случай, держал за спиной.

Судимость со Скнуарева сняли, но недаром ведь говорится, дурная слава бежит, добрая лежит... Правда, он уже не значился в штрафниках, в отверженных. Однако Скнуарев был, как непременно кто-либо добавлял, «из штрафников», или, того пуще, «из этих»...

Он заслуживал, наверное, трех орденов, когда ему вручили первый.

Я писал о Скнуареве после каждой победы. Радовался каждой звездочке на его погонах. Вот он уже лейтенант, через месяц — старший лейтенант.

В нижней Ваенге, в порту, был ларек Военторга, я сбегал туда за звездочками для скнуаревских погон. У меня теперь был запас. И капитанских звезд, и покрупнее — майорских.

Купил бы, наверное, ему и маршальские, да не продавались в Ваенге. Не было спроса.

Когда Скарнев стал капитаном, я, дождавшись его у землянки (теперь он жил отдельно, с командованием полка), поздравил его. Был он, сказал, когда-то майором и майорская звезда не за горами. Все возвращается на круги своя. Боевых орденов у него уже, шутка сказать! — два.

У Скарнева как-то опустились руки, державшие потертый планшет из кирзы.

— Что ты, Гриша, — устало сказал он. — Вернусь я домой. Думаешь, что-нибудь изменят мои майорские звезды. Спросят, какой это Скарнев? «Да тот, которого трибунал... к расстрелу... Помните?» На весь флот опозорили... От этого не уйти мне. За всю жизнь не уйти. Боюсь, и детям моим... — И вдруг произнес с какой-то сокровенной тоской: — Вот, если бы героя заработать!...

Так говорил мне старик-крестьянин после войны.

— Хватило б хлеба до весны...

Я был до ушей наполнен скарневской тайной. Подобно воздушным стрелкам, надевавшим перед трудным боем броневые нагрудники, Скарнев мечтал, и я, мальчишка, «моторяга», знал об этом, надеть нагрудник потолще. Чтоб ни одна пуля не взяла. Не то что плевков. Ведь, если в этом случае спросят: «Какой это Скарнев?», ответ будет: «Герой Советского Союза. Наш земляк»...

Теперь я писал о Скарневе остервенело. Доставал у разведчиков фотографии транспортов, взорванных им. «Сухопутный» редактор газеты, верстая номер, говорил: «Сейчас прибежит этот сумасшедший Гришуха. Оставим для него «петушок»? Строк двадцать».

Скарневу вручили еще один орден. Повысили в майоры. Перевели в соседний полк, на другой край аэродрома, с повышением.

А героя — не давали...

Когда установилась нелетная погода, и о Скарневе ничего не печатали, я ходил злой от такого беспорядка;

наконец, меня снова осенило. После отбоя мы сидели со Скнаревым рядышком, и он рассказывал мне (писать он не любил) свои большие, на целые полосы, теоретические статьи, к которым я чертил схемы и давал неудобнопроизносимые, но зато нестерпимо научные названия, вроде: «Торпедометание по одиночному транспорту на траверзе мыса Кибергнес». Я также очень любил заголовки, где были слова «... в узком гирле фиорда...». Это звучало поэзией.

А героя все не давали...

Однажды к летной землянке подъехал командующий Северным флотом адмирал Головка. У землянки стояли несколько человек. Самым старшим по чину оказался капитан Шкаруба, Герой Советского Союза.

Шкаруба был песенным героем. Знаменосцем. Его портрет был помещен на первой странице газеты.

Шкаруба громко скомандовал, как в таких случаях полагается, всему окружающему: и людям, и водам, и небесам: «Сми-ир-рна!» И стал рапортовать.

Пока он рапортовал, адмирал Головка почему-то приглядывался к его морскому кителю. И вдруг все заметили. Орденá у Шкарубы на месте, а там, где крепится Золотая Звезда Героя, дырочка.

— Почему не по форме? — строго спросил адмирал.

Капитан Шкаруба потоптался неловко на месте в своих собачьих унтах, собираясь, может быть, объяснить, что его звезда на другом кителе. Он хочет, чтоб осталась семья, если что... Но доложил он громко совсем другое.

— Товарищ адмирал! Я потопил шесть транспортов противника. И — Герой Советского Союза. Майор Скнарев потопил — двенадцать транспортов и военных кораблей противника. Вдвое больше. И — не Герой Советского Союза. Как же мне носить свою звезду? Как смотреть своему товарищу в глаза?...

Оцепенели летчики. Что будет? Только-только загремел в штрафбат полярный асслетчик Громов, кавалер четырех орденов Красного Знамени...

К счастью, командующий флотом Головкин был адмиралом молодым и умным. Он распорядился во всеуслышание дать капитану Шкарубе пять суток домашнего ареста за нарушение формы одежды. А потом заметил что-то — куда тише — стоявшему рядом штабному офицеру, от чего тот пришел в лихорадочное непрекращающееся, почти броуново движение...

А на другой день, по беспроволочному писарскому телеграфу, стало известно, что бумаги о присвоении Скнарёву звания Героя ушли в Москву.

Ждали мы ждали Указа, так и не дождались...

В те же дни перевели меня в редакцию газеты «Североморский летчик». Командир полка, полковник Сыромятников вручил мне, вместо напутствия, свою авторучку, (тогда они были редкостью) и сказал, улыбаясь:

— Ну, скнарёвед. Давай, действуй.

... На другой день утром из штаба ВВС сообщили, что торпедоносцы потопили транспорт, на борту которого находились пять тысяч горных егерей. Я вскочил в редакционный «виллис», помчался на аэродром. Как раз во время!

Механик открыл нижний — скнарёвский — лючок, подставил стремянку. О стремянку, нащупав носком ступеньку, оперся один сапог, другой. Кирзовое голенище сапога было распорото осколком снаряда, и отваливалось; из продранного комбинезона торчали клочья ваты.

Скнарёв прыгнул на землю, и крикнул возбужденно-весело, шутливо Сыромятникову, у которого, похоже, не было сил выбраться сразу из кабины: — Борис Павлович, двинем отсюда, тут убить могут!...

Ночью в землянке был банкет. В честь победы. Теперь-то уж, наверняка, дадут Героя!

За каждый потопленный транспорт полагалось, по флотской традиции, потчевать поросенком. Случалось, подсовывали и кролика. «Побед много, на всех не напаешься». На этот раз привезли настоящего поросенка. Молочного. Без обмана.

Пригласили всех, кто был поблизости, даже красногла-

зого тощего Селявку, «сына беглянки», как его окрестили, старшину-сверхсрочника. Селявка как-то объяснял, почему его называют сыном беглянки: «Родительница моя бежала из колхоза»...

Но не любили его вовсе не за это. Селявка был известным на аэродроме «сундучником», «кусочником», «жмотом».

Как-то зимой искали валенки для большого солдата, которого отправляли в Мурманск. Ни у кого не оказалось лишней пары. Так и увезли солдата, в ботиночках. А на другой день открылось, что у Селявки, в его огромном деревянном чемодане-сундуке, была запасная пара валенок.

Селявку избили. С той поры «жмотов» на аэродроме урезонивали так: — Не будь Селявкой!

Однако в такую ночь и старшина Селявка — гость. Налили ему железную кружку спирта, и он разговорился.

Селявка недавно вернулся из Могилева, где посетил свою родительницу. Рассказав о могилевских ценах, и о том, как мучилась родительница в оккупации, он воскликнул дискантом, что все бы ничего, одно плохо — евреи. Повозвращались обратно. Поналетели, как саранча. Родительница свободную квартирку заняла, отремонтировала — назад требуют. Пьяно наваливаясь на край стола, он протянул вдруг в ярости, его красные глаза побелели:

— Жидов надо всех н-на Н-новую землю.

Скнарев швырнул в него изо всех сил банкой тушонки. Селявка кинулся к выходу. Скнарев за ним.

Я запоздал на пиршество, приехал как раз в этот момент. Пробираясь наощупь вдоль оврага, мимо валунов, я едва успел отскочить в сторону. Мимо промчался Селявка, размахивая руками и крича что-то своим дискантом, — по голосу его можно было узнать даже в кромешной тьме. За ним, бранясь, тяжело, в унтах, бежал Скнарев. Следом еще кто-то, потом я присмотрелся, узнал: штурман Иосиф Иохведсон, скнаревский ученик. Он кричал изо всех сил: — Александр Ильич! Александр Ильич! Вам не надо его бить! Вам не надо!



АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ СКНАРЕВ

Скнарев остановился, тяжело дыша. Из землянки выглянул капитан Шкаруба, без кителя, в тельняшке, подошел, хрустя унтами по сырому снежку: — Ты что вскипел, Александр Ильич. Подумаешь, ну, ляпнул... Ты что? А?

И в этой тяжелой ночной тишине мы услышали.

— Я сам еврей.

Шкаруба гулко захохотал, даже присел от хохота на своих собачьих унтах. — Ты?! С твоей-то рязанской мордой. Тут уж все захохотали, даже лейтенант Иохведсон, который все выглядывал в темноте Селявку.

Смеялись от души, бездумно-весело. Затихли. И в этой сырой тишине послышался сипловатый голос Скнарёва. Убежденный. Гневный.

— Я — еврей! Как есть! Кто-то там был виноват, а свалили на меня. На мне отыгрываются... — И в глубоком молчании, только снег поскрипывал под ногами: — Ну? Не еврей я?

Никто не произнес ни слова.

Так и стояли мы, обступив Шкарубу, я, Скнарёв, Иосиф Иохведсон, и тучи над заполярным аэродромом показались мне и ниже, и чернее, и тягостнее. Стылую, пронизывающую тишину прервал, наконец, бас Шкарубы.

— Ну, так, евреи. Пошли! Запьем это дело русской горькой.

... 14 октября 1944 года флаг-штурман Скнарёв сгорел вместе с нашим командиром полка Сыромятниковым, над немецким караваном, а на другой день мы слушали по московскому радио, сняв шапки и не скрывая слез:

«... Присвоить звание Героя Советского Союза (посмертно):

... Гвардии полковнику Сыромятникову Борису Павловичу

... Гвардии майору Скнарёву Александру Ильичу...»

ГЛАВА 6.

— Еще рассказывать, или на сегодня хватит? — спросил я притихшую Полину. Мы поднялись, походили по дорожкам Александровского сада. Полина молча простилась со мной, попросила зайти вечером. Заполночь, когда в химической лаборатории не осталось, кроме нас, ни одной души, она произнесла словно вскользь, не оставляя пробирок и колб ни на минуту, встряхивая колбочку с какой-то жидкостью:

— Мне все время хочется спросить о вашем отношении. Лично вашему. «О себе скажи!», как кричат на собраниях. Вы стали в конце войны газетчиком. Значит, много ездили, видели, обобщали... Конечно, думали и об этом факельщике. О Селявке. О его подлости. Не могли не думать! Ведь это не шутка, когда поджигают твой дом.

Я знаю теперь о Скнареве. Больше, чем о Скнареве. Я хочу знать и другое. Ваши наблюдения, ваши чувства, ваши мысли в тот год, когда появился Селявка. Хорошо?

... Скнаревым год кончился. А начался — Катуниним. Катунин тоже сгорел над немецким караваном.

Баренцево море не оставляло большого выбора. Даже самым бесстрашным. Катунин направил объятый черным дымом самолет на немецкий сторожевик — от взрыва, казалось, море взлетело на воздух.

И звезду Героя он заслужил, как Скнарев, — посмертно.

Немедля на аэродром выехал мой товарищ, король популярной журналистики, Костя Зародов.

За ночь Костя подготовил прекрасный материал об Илье Борисовиче Катунине — целую страницу, с фотографиями взорванного корабля, с воспоминаниями друзей.

Костины очерки шли, по обыкновению, без правки. И на этот раз карандаш главного редактора вычеркнул о Катунине всего-навсего полторы строки: «... родился в бедной еврейской семье...» Красный карандаш изменил текст почти незаметно: «родился в Белоруссии».

Вскоре в типографию ушел очерк о другом знаменитом летчике-разведчике Герое Советского Союза Туркове. Турков был мордвином, и об этом мы также не забыли — полторы строки в тексте. Эти полторы строки красный карандаш редактора вынес в броский, на всю страницу, заголовок: «Сын мордовского народа».

— Костя, в чем дело? — взволнованно спросил я своего товарища, когда мы остались одни в крохотной комнатке, где стояли в два этажа наши койки.

Костя потер свой выпуклый лоб, вспоминая, что в середине века, когда эпидемия чумы опустошала города, заражались и врачи.

— Мы в этой войне врачи...

— Чумных изолируют! — возразил я. — Строят для них чумные бараки. А не назначают редакторами газет!

— Ну, при чем тут редактор! — поморщился мудрый Костя. — Он виноват не больше, чем мы с тобой. — Мы спорили с Костей до полуночи, он устал, махнул рукой:

— Ты не спорь. Не русская это зараза, Гриша. Мы с тобой, во всяком случае, тут не при чем...

На этой мысли мы и остановились. Только непонятно было, почему первым заразился полковник — редактор ежедневной газеты, чей карандаш гулял по газете, со дня на день, все более целенаправленно.

Рядовые летчики не заразились. К «технарям» (Селявка не в счет) не пристаёт; видать, от того, что на полярном аэродроме, всякую заразу выметает поземкой. Со свистом.

А в штабных кабинетах привержены?...

Как-то я был ночным редактором, дремал одетым на топчане, в типографии. Меня растолкали, протянули сырые полосы, остро пахнущие краской. И снова вычерки?

Из готовой полосы выпала строка — о национальности штурмана Иосифа Иохведсона, потопившего военный корабль.

Раньше я был твердо уверен, что в нашей газете брезгливо не замечают Селявку; так мы под Волоколамском, отогреваясь в уцелевших избах, не обращали внимания на крысиный писк в подполе. Пищат твари и черт с ним. Не до них!

Оказывается, замечают. Все замечают. И ... оставляют поле боя за Селявкой? Это уж совсем другое дело. Ухо мое невольно стало различать «крысиный писк». «Все евреи в Ташкенте». «Все евреи — труссы».

«А майор Шней?! — невольно подумал я, устранив все опечатки — «газетные блохи», как мы их называли, и подписав сырую полосу. — Шней Владимир Маркович, наш вездесущий начальник штаба, с которым мы встретили 22 июня 1941 года».

Наш полк отступал тогда к Гомелю.

Один за другим возвращались в часть сбитые летчики, пробираясь через фронт в лаптях, в крестьянских армяках, заросшие.

Возвратившись, прежде всего, спрашивали:

— Шней вернулся?

Шней улетел в Старый Быхов, где оставались еще жены и дети летчиков-офицеров. Разнеслись слухи, что танки Гудериана уже там...

Летчики не спали ночами. Отворачивались друг от друга, чтоб не выдали влажные глаза. Уходили бомбить немецкие аэродромы, а думали про Старый Быхов.

Майор Шней испробовал до своего полета все виды связи. Связь с Быховым оборвалась.

По-видимому, надо было кому-то рискнуть и немедля приземлиться на связном самолете в Старом Быхове. И

вот вызвался сам Шней, хотя семья его в Быхове не жила...

Шней был достопримечательностью полка.

Маленький, юркий, в желтых крагах, с иностранным орденом чуть ли не во всю грудь, он вызывал улыбки наших ширококостных парней, отобранных в авиацию еще по довоенным меркам.

Он летал, говорили, на всех «этажерках» времен гражданской войны. Был неумолимо педантичен. И от непрерывного грохота моторов глуховат на одно ухо.

Но это бы все ничего, если бы начальник штаба не был фанатиком строевой подготовки. Она была для авиационного полка не совсем обычной. На аэродроме, конечно, лишь до войны, выстраивался меднотрубный оркестр (его пытались отобрать у нас все начальники гарнизонов, поскольку духовой оркестр в авиаполку «по штату не положен»), но майор Шней отбивал оркестр с отвагой былинного богатыря. Когда это стало делом уж совершенно невозможным, лучшие техники взялись обучать музыкантов — призванных на военную службу студентов музыкального училища — ремеслу оружейных мастеров. Вместе со мной бомбы подвешивали, помнится, два баса и корнет-а-пистон.

Под этот превосходный оркестр мы вышагивали по Могилевскому аэродрому, не очень лестно отзываясь о «строевом» энтузиазме майора Шнея и не подозревая о том, что майор Шней вел в эти дни научный «строевой» дневник. Оказывается (это было запечатлено в дневнике), после таких смотров-парадов нарушений дисциплины при увольнении в город было во много раз меньше, чем обычно. Торжественный марш подтягивал.

Меня же Шней подтягивал еще и индивидуально: у начальника штаба была тяга к образованным.

Он останавливал меня у ворот аэродрома, заставляя проходить мимо него, чеканя шаг, рука к пилотке, — раз — другой, а затем говорил своим лапидарно-штабным языком: — Вы — студент. У вас — знания. А где строевая куль-

тура? У вас должно быть все красиво. — И он отправлял меня к коменданту гарнизона, на строевой плац. Чтобы меня было все красиво...

... Наконец, пришла весть из Старого Быхова.

Когда маленький тархтящий «По-2» сел на пустынном брошенном уже Быховском поле, к нему помчалась автомашина с вооруженными людьми, явно не красноармейцами. Юноша-пилот привстал, сдвинул набекрень шлем, чтоб услышать решение начальника штаба, крикнул: — Я сбегаю, узнаю!»

Приподнявшись на худых руках, майор Шней перебросил свое легкое тело через фанерный борт и, бросившись навстречу машине с автоматчиками, крикнул пилоту:

— Если это фашисты, я стреляюсь, а вы взлетаете...

... Прислушиваясь к равномерному шуму типографской машины, я продолжал оскорбленно думать о том, о чем уже не думать не мог.

«Ну, ладно, Шней. Шней — это давно.

А — сейчас?»

Я попробовал взглянуть на мир глазами Селявки: отдельно моряки-евреи и отдельно неевреи. Это мне не удалось, даже, когда я поставил перед собой такую задачу. Во-первых, кто — еврей, а кто нет? Анкет к рубкам подлодок и к самолетным хвостам не клеят. В Ваенге национальность летчика никого не интересовала, разве что кадровиков, которые сидели в глубине сопки, не появляясь на поверхность. Один полет над Баренцовым морем — и человек ясен. Без анкет.

Подозревать всех жгучих брюнетов? Самый жгучий брюнет — Герой Советского Союза штурмовик Осыка, усатый красавец. Но он, по-моему, русский или украинец.

По звучанию фамилий? Прославленный командир подводной лодки Каутский — еврей или не еврей. Летчик-истребитель Рольдин — еврей или не еврей? Пустая это затея...

— Спроси у Селявки? — посоветовали однажды солдаты-наборщики, веселые вологодские ребята, на глазах

которых выбросили из газетной полосы слова о Катунине — «из бедной еврейской семьи», и которые сами сказали мне, что тут дело нечисто... — у него, у Селявки, наверное, учет.

Обошлось без Селявки.

Политотдельский писарь, веселый выпивоха, сходу, не заглядывая в документы, начал называть мне фамилии. «Во, учет, — я удивился несказанно. — Как в... гестапо.» А писарь сыпал и сыпал. У меня глаза округлились. Откуда в Заполярье столько евреев? Перед писарем лежала последняя телефонограмма. Врезался в сопку самолет-пикировщик. Погиб штурман эскадрильи старший лейтенант Зильберг.

Часом раньше позвонили в редакцию. В Кольском заливе прогремел пушечный выстрел: вернулась из похода черная субмарина — «малютка» Фисановича, Героя Советского Союза.

В моем столе лежали невыправленными две статьи, они терзали меня, как всегда терзает меня не сделанная в срок работа. Одну написал знаменитый Миша Вассер, воздушный стрелок, сбивший позавчера «Фокке-Вульф-190». Вторую — флаг-штурман Пейсахович, отчаянный Пейсахович — Скарнев штурмового полка.

Катунин, Пейсахович, Вассер... — в конце-концов, у меня не хватило пальцев на руках. «Целая летающая синагога», весело сказал политотдельский писарь.

Когда я вернулся в редакцию, на моем столе лежала записка редактора. «Иохведсон взорвал торпедой транспорт в десять тысяч тонн. Срочно информацию. В номер.»

Черт возьми! Иохведсон и Завельбанд! Закадычные друзья. Забыть о них, о смертниках...

Тонкий, гибкий, как юнец из балета, беспечный Завельбанд, «Завель» был настолько юн, что еще мысленно играл в свои мальчишеские игры.

«Мы — низкие торпедоносцы — торреро, — говорил он мне. — Торпедная атака — коррида. Все побаиваются рукопашной. Только торреро умеет подавить свой страх.

Взглянуть в глаза разъяренного быка, с острыми, как клинки, рогами.»

Медлительный, грузный, застенчивый Иохведсон вечно подтрунивал над ним, как-то сказал мне, смеясь, что после войны они с Завелем будут работать на пару. Завель — торреро, а он, Иохведсон, — быком.

Когда через неделю пал норвежский город Киркенес, там, в разгромленном доте, обнаружили протоколы допроса советских летчиков, сбитых над Норвегией и попавших в плен. Я видел в штабе эти протоколы. Почти у каждого пленного летчика спрашивали: «А что евреи-торпедоносцы Иохведсон и Завельбанд еще летают? Ну-ну, успеем их расстрелять.»

А они, как и я, наверное, начисто забыли, что они евреи. Пока в тебя не стреляют, пока в тебя не плюют, ты и не вспомнишь, еврей ты или турок. Ты человек, этого достаточно. А вот когда плюнут раз-другой: «Евреи — трусы», «Все евреи в Ташкенте»...

В последние дни только и разговоров, что о Иохведсоне.

Иосиф привез из боя торпеду. Не смог сбросить ее в атаке, и в атаке страшной, самолет вернулся, как решето. Заело сбрасывающее устройство и, как ни нажимал Иосиф красную кнопку сброса, торпеда не пошла...

Одни одобряли Иохведсона, мол, честный парень, торпеда стоит, без малого, миллион, решил свою боевую репутацию поставить на карту, но не избавляться от торпеды на обратном пути ручным способом, не топить в море народные деньги. Другие шепотом корили. Селявка, которого не взяли в гвардейский торпедный полк, и он жил на другом краю аэродрома, специально прибегал возмущаться. Он был обескуражен, почти разгневан. «Такой честности я не понимаю, — кричал он пронзительным дискантом. — Снял человек штаны и просит «Бейте!». Заело торпеду над караваном, Баренцево море велико, швырнул ее куда-никуда и молчи в тряпочку. — И уж с полным презрением: — А еще еврей!

Одного еврея на войне он все-таки заметил...

Интересно, как устроены красные селявкины глаза. Неужели как у всех людей...

В «Правде» вдруг напечатали любопытную сводку. Герои Советского Союза. По национальному составу. Оказалось, евреи, составляющие два процента граждан СССР (кажется, на одиннадцатом месте по численности населения), по количеству Героев Советского Союза — на пятом месте.

— Умеют награждаться, — объяснил Селявка.

Его ничто не могло сбить. Ни гибнущие на его глазах, один за другим, летчики-евреи. Ни статистика. «Евреи что хочешь подтасуют!»

Мне приходилось дежурить раз в неделю ночным редактором. Ночь, острый запах типографской краски и ритмичный шум печатных машин, рождавших в эти минуты новости о людях, способствовали раздумью.

Я то и дело возвращался в мыслях своих к расплодившимся селявкам, и корил себя. «Ищу газетных 'блех'. Во все глаза. А Селявка — не 'блоха'. Опечатка серьезная. Ее все видят и ... как бы не замечают.

Так что же это? Злой умысел? Крупнейшая диверсия? Или чиновничья тупость?...»

Трудно было ответить себе на мучительный вопрос. Время ответов еще не пришло. Даже не брезжило... Одно было ясно. Наши редакционные споры с Константином Зародовым пришли к концу. «Мы-то, по крайней мере, в стороне», — утешался он. — Нет, совсем не в стороне, Константин¹. На поле боя в стороне не стоят. Либо в одном окопе, либо в другом.

Наша ежедневная газета последовательно, ухищренно, да чего таить, жульнически, подтасовывая факты, старалась ни в коем случае не опровергнуть того, что оголтело пропагандировал североморский во пленник Селявка.

¹ Константин Иванович Зародов. Позднее главный редактор газеты «Советская Россия», зам. главного редактора «Правды». Ныне — шеф-редактор журнала «Проблемы мира и социализма».

Поле боя оставлено за Селявкой.

Гуляй, Селявка! Размахнись рука, раззудись плечо, как говаривали в старину.

И я, фронтовой газетчик, коммунист, как ни вертись, в одной цепи с Селявкой. Плечом к плечу идем. Коль молчу, я — соучастник антисемита Селявки, пусть даже внутренне протестующий. Плевать селявкам на то, что я внутренне протестую. Главное, чтоб с ноги не сбился...

Это была, может быть, самая тягостная ночь в моей жизни.

«Хоть голову разбей о камни, а — соучастник!»

... Я не был в Ваенге недели две, не более. Пришел к торпедоносцам, незнакомые лица. У иных над губой пушок. Видать, и не брились ни разу. В землянке ни одного старого летчика, — куда девались?

Ребята лежат, с грохотом забивают в «козла», пишут письма. В чистеньких добротных комбинезонах, с новенькими планшетами из кирзы. Некоторые даже в шлемофонах, из-под которых белеют свежие шелковые подшлемники.

В углу, на тумбочке, полевой телефон. На него нет-нет да и взглянут тревожно...

У печки сушат унты, спорят. Мальчишеский голос взмыл фистулой: — Перестань! Мы — торпедоносцы, смертники...

Ох, не любят в штабе таких разговоров. «Нездоровые настроения. Красуются сосунки! Друг перед другом. Преувеличивают опасность!...»

... Через двадцать лет, когда я приехал в Ваенгу с Мосфильмом снимать художественный фильм «Места тут тихие», меня познакомили с официальными данными, давно уже несекретными. За два с половиной года войны гвардейский торпедный полк потерял триста процентов летно-подъемного состава. Обновился трижды...

Увидя меня, торпедоносцы прекратили спор. Румяный круглолицый паренек в комбинезоне, сброшенном до пояса, вяло посмотрел в мою сторону, протянул с издевочкой:

— А-а, щелкопер!

И, повернувшись ко мне, стал попрекать меня за все «ляпы» во всех газетах, на которые, известно, особенно наметливы молодые еще не прославившиеся летчики. «Вон, даже в «Правде», в передовой, подумать только! — фамилию Шкарубы перепутали. Напечатали «Скорубо». Дела нашего не знаете...»

— А откуда им вообще понять, что такое торпедная атака, — протянул срывающимся голосом кто-то невидимый в полумраке. — Им абы гонорар.

Еще полгода назад я, пожалуй бы, рассмеялся. Супермены! У меня, сержанта-моторяги, и то, наверное, бóльший налет, чем у них, скороспелок. Покачало бы их, как меня, в хвосте допотопного тяжеловоза, которого летчики иначе и не называли, как «братская могила»!... Не успели пороха понюхать, а уже распускают перья.

Но за эти полгода много воды утекло в Баренцево море...

Я шагнул вглубь мрачноватой, освещенной в полнакала землянки.

— Чего, вы ребята, шумите?... Не понимаю, что такое торпедная атака? Да, не понимаю. Возьмите в торпедную атаку — пойму.

Притихла землянка. Свесившись с нар, в коридорчик выглянули любопытные. В торпедную атаку? По своей воле...

Парнишка в летном комбинезоне, снятом до пояса, сказал недоверчиво:

— Да я что... Командир эскадрильи разрешит, летите, пожалуйста. Он на старте сейчас.

Я завертел ручку полевого телефона.

— Старт! Дайте командира эскадрильи... — Я назвал его имя. Это было имя одного из самых храбрых людей Заполярья.

Командира подозвали. Узнав в чем дело, он прокричал напряженным, застуженным голосом, что лететь мне никак нельзя.

— ... Ты в состав экипажа неходишь. Так? А если ты не вернешься, по какой графе я тебя проведу... — Закашлялся, ругнулся. — Командир полка разрешит, увезу хоть к черту на рога.

Сыромятникова (он тогда еще был жив) я не застал. Помощник Сыромятникова буркнул что-то невнятное, я понял, что пойти в атаку можно, но... с разрешения командира дивизии.

Летчики, узнав об ответе, засмеялись, кто-то в глубине землянки сказал примиренно:

— Ладно, бросай, не достучишься...

Я закрутил ручку телефона уже нервно. С командиром дивизии генералом Кидалинским разговаривать не просто. Я попал в веселую минуту.

— ... Хэ — хэ — хэ!... — Он смеялся в трубку сипловаторычащим смехом, от которого у меня по спине побежали мурашки. — Тебя что, гонит кто? А нет — сиди в своей газетке, и газеткой накройся... А то пропадешь ни за понюшку табаку. Схарчат!

Я судорожно глотнул слюну, объясняя, что печать летчики не ставят ни в грош, а это непорядок.

В ответ новый взрыв хохота. «Спиртику он принял, что ли?»

— Свирский, я люблю летающих евреев. У меня к ним слабость. Но — позволить тебе не могу...

Я почувствовал, во мне что-то подымается.

— У вас, товарищ комдив, план по летающим... — я заглотнул слово «евреев» (комдива ведь летчики не слышат)... — план по летающим ... выполнен?

Кидалинский перестал смеяться, может быть, уловил изменившийся тон. Сказал добродушно, устало:

— Свирский, да лети хоть к Нептуну в зубы. Умирать процентной нормы нет... Командующий ВВС разрешит, и с Богом!

Узнав, что сказал Кидалинский, летчики повскакивали с нар, подошли ко мне вперевалочку, по-медвежьи топя унтами. Заговорили в один голос: «Брось ты это дело!...»

«Видим, по-честному хотел!...» «У начальства шкура, как барабан. Все отскакивает...» «Ладно, прилетим, расскажем. Как на духу».

Я молчал, сжимая кулаки.

К командующему обращаться не мог. Не по чину. Да и не соединят. — Мелькнуло вдруг: — А если к зам. командующего ВВС по политчасти?

Вчера ночью я бегал к нему домой с газетным оттиском. На подпись. Он вроде мне улыбнулся. Мягкий, добродушный, интеллигент.

Была не была!

До губы Грязной дозвониться было трудно. Попробуй, пробейся через ворох коммутаторов. То один занят, то другой... Наконец, в трубке засвистело, заиграл струнный оркестр, и вдруг прозвучало басовито и нетерпеливо:

— Ну?!

Я принялся объяснять, сбиваясь и начиная снова.

Меня перебили строго:

— Добró!

Я положил трубку на деревянный короб, оглянулся, чтоб вскричать: «Разрешили! Разрешили!», и обмер. В землянке ни души.

Оказывается, я с таким напряженным вниманием разговаривал с высоким начальством, что не заметил, как вбежавший дневальный крикнул: «По машинам!», и летчики, шмякая унтами по хлюпавшему полу, выскочили из землянки...

Я вылетел наверх, едва не сбив дневального.

Сыромятников, судя по всему, был в самолетном ящике. Этот дощатый, покрытый толем ящик из-под английского «Харрикейна», превращенный в наземный КП, чернел на другом конце аэродрома. Из ящика струился дымок — подтапливали, значит. Листовками. Дымок белый, почти бесцветный.

На стоянках заводили моторы. «Палки» вертелись все быстрее, наполняя узкое, зажатое сопками летное поле саднящим гулом. Вот опять сбавили обороты. Летчики,

как утята в разбитых яйцах, вертели желтыми, в шлемофонах, головами. Ждали ракеты на вылет.

«Опоздаю!» — мелькнуло испуганно, и я кинулся со всех ног к самолетному ящику.

Дощатая дверца его приоткрыта. Остановился, чтобы перевести дух, и вдруг услышал из дымной глужи КП голос начальника штаба. Горестный тихий голос, не голос — вздох:

— Хорошо бы половина вернулась...

Я почувствовал — не могу двинуться. Словно на мне оказались водолазные, из металла, ботинки, а землю намагнитили. Подошвы, как приклеенные.

Пытаюсь оторвать ноги от земли — не могу. Дергаюсь вперед всем телом — ни с места...

Из дверей выглянул полковник Сыромятников.

— Свирский? Что ж ты?! Оперативный звонил мне... Давай!... На «тройку».

Меня как пришпорили. До стоянки мчался вскачь.

Жестами показал молоденькому летчику, сидевшему в кабине в своих марсианских очках, что меня направили к нему. Тот сбавил обороты, перестало сеять в глаза каменистой пылью.

Нижний стрелок выпрыгнул из кабины без дискуссий. Торопливо отдал свою полинялую капку — спасательный жилет. Парашют был подогнан, наверное, на Гулливера, болтался на груди, как сума. Я попытался укоротить лямки, опасливо глядя на торпеду с круглым авиационным стабилизатором, подвешенную под брюхом самолета. Она матово-желто отсвечивала в лучах заката, длинная, как вытянутый, греющийся на солнце удав, и все же никак не вязалось с чудовищной смертью, которая раскалывает океанские корабли, как орех.

— Ладно! — сказал мне подбежавший «технар», видя как я воюю с лялками парашюта. — Все равно прыгать некуда. Баренцово парашютистов не жалует... — С этим напутствием он затолкал меня в нижний люк.

Торпедоносец на рулежке брнчал, как телега. Его

пошвыривало на выбоинах и засыпанных воронках, в которых просела земля. В кабине пахло нагретым плексиглазом, какой-то эмалью. Стрелок-радист, веснушчатый мальчишка лет восемнадцати, нагнулся ко мне, спросил жестом, не мутит ли меня в полете. Прокричал на ухо: — Если что, снимай сапог, и в сапог.

Я изобразил на лице несказанное возмущение.

Пока мы устанавливали взаимопонимание, тяжелая машина, дважды плюхнувшись колесами о грунт, наконец взлетела.

В желтоватом плексиглазе мелькнула сопка, а вскоре серо-зеленый гранитный хаос побережья... И началась вода, вода без конца, черная, как нефть. И совсем рядом, рукой подать.

Черная купель.

При такой высоте снизу и птица не подберется, не то, что «мессер»... Я потряс стрелка-радиста за белый унт, не лучше ли мне сверху глазеть? Помогу...

Он чуть потеснился, я высунул голову в верхнюю полусферу, спросил, кто летчик? Позади шли, чуть вздрагивая в воздушных потоках, четыре торпедоносца, сверкая кабинами над черной водой. Облака были густыми, плотными, они висели, как освещенные солнцем аэростаты в огромном прозрачном и ослеплявшем мире, где не было ни конца, ни края ни этой ледяной черной купели, ни этому небу...

Самолеты прижимались к самой воде; на волнах оставались от винтов дорожки ряби. Где-то сбоку поднялись с воды потревоженные птицы. Целая туча птиц. Заметались в панике взад-вперед, остались позади.

Я вздохнул спокойнее. Неделю назад такая птичка пробила штурманскую кабину, ранила штурмана. Этого еще не хватало...

Теперь мы одни. До самого полюса — никого.

Свежий ветер гнал к берегам пенистые барашки. Над ними маленькими пушистыми комочками белели две чайки. Они медленно летели вперед, отчаянно борясь с ветром. Обессилив в этой неравной борьбе, чайки разворачивались

и, подхватываемые воздушным потоком, стремительно неслись к берегу.

Я увидел в глазах стрелка-радиста скрытую боль, тоску.

«Летят, — словно думал он. — И срежут нас... А они все летать будут.»

Заметив мой пристальный взгляд, стрелок-радист сразу подобрался, лицо его стало непроницаемым.

Моторы звенели час, другой...

Погода ухудшилась. Мокрый снег с дождем, вставая на пути экипажей, растекался по стеклам длинными каплями. И снова — солнце в лицо.

Я уже почти гордился своей необходимостью в боевом экипаже, но тут стрелок-радист, не отводя глаз от блеклого неба, вытянул из унта свернутый вчетверо журнал, и сунул мне: — Почитай пока!...

Я взял обескураженно. Это оказался свежий номер «Крокодила». Бросил взгляд вниз, — кипят бело-пенные гребни. И развернул журнал.

Никогда я не летал с таким комфортом, как в эту немислимую атаку. Разве что после войны, на рейсовых «ТУ-104».

Я похихатывал несколько свысока над карикатурами, когда услышал в наушниках возглас штурмана: «Вижу корабли!».

Отшвырнув журнал, припал лбом к желтоватому плексигласу кабины, увидев над темной водой серо-черные дымы кораблей. Огромную расплзающуюся папаху дыма.

— Двадцать три... — подсчитал штурман. — Петро, двадцать три! — повторил он возбужденно. — Вон, еще выползают...

В ответ — молчание. Только режут моторы. Их надсадно-звонящий рев стал уже нашей тишиной, осязаемо-плотной, настороженной. Я почувствовал обычную, как перед бомбежкой, тревогу, слегка стеснившую сердце. Будто сжал его кто-то жесткими и шершавыми ладонями.

— Петро! — голос штурмана стал каким-то сдавленным

хрипловатым. — Сорок три единицы. Охранение тремя кольцами. Схарчат...

Звенят моторы. Звенели б они так и дальше. Хоть всю жизнь...

И вдруг в этой ставшей уж до боли желанной тишине — панический вскрик штурмана, брань.

— Ты что, спятил,... мать твою?! Куда ты лезешь?... Сорок три единицы... В Бога душу ... Петро-о!

Словно аркан набросили на человека, и тянут — в костер, а он бьется в истерике: — Петро-о!

Позднее я узнал, экипажи имели право не идти на такой караван. Этот «орешек» для совместного удара всех родов оружия. И подлодок, и торпедных катеров, и авиации...

Мне показывали, еще на земле, расчеты. За пять минут пребывания в огне по самолетам, атакующим караван в двадцать пять единиц, немцы выстреливают одним бортом около пятидесяти тысяч снарядов и полмиллиона пуль. Штурман видел уже сорок три корабля...

— ... Петро-о!... — надрывался он.

Я молчал, ощущая себя так, как, наверное, ощущал бы себя всадник, усаженный лицом к хвосту несущейся карьером лошади, которой предстоит перескочить широкий и бездонный ров.

После отвратительно-долгого, целую вечность длившегося молчания прозвучал мальчишеский альт летчика.

— Штурман, курс...

Это было ответом.

И тут же отозвался штурман. Напряженно-сдержанным тоном, деловито, словно это не он только что матерился и кричал благим матом.

— Курс ... градусов!

Товарищеская дискуссия окончилась. Началась работа.

Прошли секунды, и вдруг все пропало, и небо, и море. Черно-зеленые столбы встали перед боковым плексигласом. Огромные столбы, лениво опадающие в море.

Немецким пулеметам еще рано было вступать в дело.

Били миноносцы конвоя. Главным калибром. Не по самолетам. По воде. Всплеск от тяжелого снаряда до восьмидесяти метров. А мы — идем на тридцати. Всплеск под крылом, и прости-прощай.

Справа, слева вскипает море; водяные смерчи идут с нами, как эскорт. Машину вдруг встряхнуло, она взмыла, натужно взревев. Забрызгало кабину. Капли вытянулись поперек желтого плексигласа, их стряхнуло ветром, как тряпицей. Проскочили!

— Восьмерки нет! — закричал стрелок-радист, и затанцевал, задвигался в своих белых унтах, словно это к его ногам подступала вода.

Я кинулся к противоположному смотровому окошку. Там, где шла, подрагивая в воздушном потоке, «восьмерка» с торпедой под голубым брюхом, опадал столб воды. И больше ничего не было. Ни самолета, ни неба. Одна вода. Кипящий, клокощущий пенный водоворот ...

А корабли словно вспухали над морем, становясь все крупнее.

— Правый пеленг! — прозвучал в наушниках уже знакомый альт. И самолеты стали расходиться для атаки. — Не лезьте на миноносцы! Миноносцы в голове!

— «Парень-то толковый, а?» — мелькнуло успокоенно.

С переднего миноносца, который вдруг задымил густо, сажей, взлетела красная ракета, и сразу весь караван открыл огонь.

От горизонта до горизонта медленно пошли на нас, собираясь в огненный пучок, красные, зеленые, синие трассы... Вот они уже близко... «Ну, зараз!...» — прозвучало в наушниках. И — прямо в глаза красные головешки!...

В эту секунду я зажмурился.

Самолет встряхнуло, — открыл глаза. И сбоку и сверху хлещут разноцветные трассы. Сверху их столько, что, кажется, на самолет набросили огромную сеть из хаотично переплетающихся трасс. Как на дикого зверя... Иногда разрывы так близки, что кажутся прямыми попаданиями. Самолет повело в сторону. Но он тут же выравнился.

«Пошли, ребята!» — прозвучало в наушниках. — Очи страшатся, бля..., руки делают...»

Самолет снова подбросило вверх, он задрожал, рванулся в сторону, настоящий зверь, попавший в капкан...

Позднее оказалось — снаряд разворотил приборную доску штурмана, изрешетил фюзеляж сквозными рваными дырами.

Стало вдруг хлестать мокрым ветром. Ветер бил по глазам, и засвистело отвратительно тоненько, угрожающе.

Огонь усилился. Трассы походили теперь на огненные ножницы; пересекаясь по курсу машины, они грозили срезать ее, как только она подойдет на дистанцию торпедного залпа...

Частыми залпами били орудия миноносцев; безостановочно швыряли в воздух «эрликоны» свои огненные иглы. Стреляли и со сторожевиков, и с катеров-«охотников», и с тральщиков. Огненный коридор то сужался до предела, и тогда казалось, он сплющит самолет, то расширялся. Какой-то катер-охотник рванулся к высокому борту огромного транспорта, чтобы принять торпеду на себя...

Поздно!

Самолет подбросило вверх — торпеда шмякнулась об воду, зарылась в ней, и вот всплыла уже сзади, за нашим хвостом, на пенной волне, пошла-пошла, оставляя за собой пузырчатый след...

«Ну, теперь дай Бог, ноги...»

Ощущения стали импульсивными, мимолетными... Справа круто отвернул самолет, стал уходить, не заметив прямо под собой крошечного, как шлюпка, охотника и подставив на развороте под его счетверенные «эрликоны» весь размах своих крыльев с красными звездами.

И тут же вспыхнули и густо задымили оба его мотора.

Наш никуда не отвернул. Пошел прямо на уцелевшие корабли. Что за черт! Отбило рули?!...

Но нет, летчик прижал самолет к морю так, что снова пошли по воде от винтов две дорожки ряби.

И проскочили ниже палуб, ниже орудий, между двух

транспортов, на корме одного из них спряталась за щиток орудийная прислуга в желтых спасательных жилетах; их «эрликон» вышвыривал огненные иглы безостановочно... пока мы не оказались совсем рядом. Тут их «эрликон» вдруг замолк, опасаясь, похоже, полоснуть по своему кораблю, идущему следом.

Заминка была секундной. Этого было достаточно. Чтобы уцелеть.

Как только корабль оказался за хвостом машины, в сфере моего огня, я нажал на прощанье гашетку и из родимого «шкаса» — в белый свет, как в копеечку. Чуть ствол не сжег.

Едва не задев плоскостью за крутой обрывистый берег, окутанный розовой дымкой, самолет развернулся, и тут я увидел, как над скалой взлетели, кружась, остатки атакованного транспорта.

Вечером, перед тем, как приняться за поросенка, мы подошли с летчиками к самолетной площадке.

Двух машин как не бывало...

Сиротой глядит самолетная стоянка, когда машина не возвращается. Там, где только что ждали своего часа моторы, — лишь темные пятна масла. Раскладная стремянка тянется... в никуда. Вопиет своими деревянными руками к синему небу...

Вытопанный клочок земли, окруженный камнем и зеленым валом, — что в нем? Идут и идут сюда молодые ребята в кургузых летных куртках, и стоят, ежась на ледяном ветру; их окликают, они не слышат...

А потом, по обыкновению, пошли пить. Праздновать. Не очень весело. И победа и поминки одновременно.

Два экипажа — это восемь человек; старшина эскадрильи укладывал подле нас их вещи в чемоданы, составляя опись.

Круголицый, розовощекий летчик — старший лейтенант выпил кружку спирта. И я, как интеллигент, двести грамм...

Он мне рассказывал, какая надежная машина «Ильюшин -4». (Русская машина. Ее бьют, бьют, а она, бля..., все

летит!), и как сегодня «технар» вынимал его из комбинезона. «Пар из комбинезона валил. Как от самовара.»

Это я и сам видел.

Я слушал старшего лейтенанта растроганно, испытывая к нему острое чувство нежности, хотя мы впервые пожали друг другу руки лишь час назад, когда самолет зарулил на стоянку.

Будет так еще в жизни — один полет, и готов за человека жизнь отдать?...

Когда вокруг начали басить дурными голосами: «Ой, Галю, Галю, Галю молодая...», я признался летчику шепотом, что струсил. Глаза закрыл.

Тот откинулся с удивлением.

— А вот когда трассы вышли, — доверительно шептал я, — а до самолета не дошли... И летят — красные головешки в глаза...

Старший лейтенант засмеялся, сказал умиротворенно, явно, чтобы успокоить: — Дурочка! Я в тот момент всегда закрываю¹...

Пришел вызванный по телефону его друг, из соседнего полка. На торжество. Такой же безусый и розовощекий. Спросил негромко, кивнув в мою сторону: — Это кто?

И веснущатый стрелок-радист, с которым я летал, — он сидел к вошедшему ближе всего, — поднялся и, показав большой палец, желтый от оружейного масла, с энтузиазмом возвысил меня, как мог: — Во, парень! Свой в доску! И вполголоса добавил: — Хотя и еврей...

... С месяц, наверное, я летал остервенело. С каждым полком Заполярья. С разведчиком Колейниковым, который вогнал в воду попавшийся на пути гидросамолет с черными крестами. Мы дошли до скалистого, плоского, как стол, Норд-капа в поисках фашистских караванов.

¹ Он погиб в следующей атаке, легендарный теперь Петр Гнетов. Вот уже четверть века североморцы ходатайствуют о присвоении ему звания Героя Советского Союза (посмертно). Но документы все время где-то пропадают, хотя у Петра Гнетова не было Скнаревской судьбы.

С застенчивым Мишей Тихомировым, который прилетел в Ваенгу на штурмовике после четырехмесячных курсов пилотов. По поводу этого выпуска старые летчики острили, что те боятся своих машин больше, чем немцев. Острили, но — учили...

И снова с гвардейцами — торпедоносцами. С веселыми и дерзкими капитанами Казаковым и Муратовым. Муратов бросал светящиеся бомбы над караваном, который топили подкравшиеся с моря катерники дважды героя Шабалина.

Феерическое это зрелище, неправдоподобное. Ночное море раскалывает ослепительно белый, как расплавленный металл, взрыв.

Я уходил с аэродрома радостный и, вместе с тем, с каким-то чуть ноющим досадливым чувством, смысл которого понял не сразу. Нет, не сразу осознал я, что и в моем азарте, и в моем боевом остервенении было что-то глубоко унижительное. Мне нужно было снова и снова доказывать, что я, «хоть и еврей, а не хуже, чем все»...

В дни, когда погиб Скнарев, меня взяли в полет без всякого разрешения.

«Давай, — сказал мне пилот, друг Скнарева. — Попадет?... Ниже колхозника не разжалуют, дальше передовой не пошлют.»

И я думал, что победил...

ГЛАВА 7.

Когда я вернулся с войны, меня не приняли в Университет. Возвратили мой пожелтый аттестат с золотой каемкой, дававший мне право быть зачисленным без экзамена: вежливенько, отводя глаза, секретарша объяснила, что меня действительно обязаны принять, не могут не принять, но, увы, я опоздал с документами. И только тут она заметила на моей папке порядковый номер. Я отдал документы в числе первых.

Твердым матросским шагом вошел в кабинет заместителя декана, быстроглазого человечка в кителе защитного цвета.

— Ваша фамилия Селявка? — тихо спросил я, когда мне предложили сесть.

— Нет, вы меня с кем-то спутали, — зам.декана также перешел на шепот.

— Какое! — Я еще более понизил голос. — Евреев в Университет не принимает. На отделение русской литературы. Конечно, Селявка!

— Тш-ш! — вскричал зам.декана, вскакивая на ноги.

Шел только 1946 год и еще испуганно вскрикивали: «Тш-ш!»...

... Дальше, Полинушка, тебе известно, — прервал я свой рассказ. — Это повторение твоей истории с аспирантурой. Только драться пришлось самому.

Мы стояли на пустынной станции метро «Библиотека Ленина». Уборщица водила взад-вперед по мокрому полу свои скрежещущие механические щетки; визг стоял такой, что казалось — камень не моют, а дробят. Перестав ерзать своей камнедробилкой, она крикнула нам, чтоб мы сядились в вагон. Это последний поезд.

Но Полина словно не слышала ничего. Я за руку затащил ее в вагон. Иначе последний вагон ушел бы без нас.

Но она, видно, не заметила и этого. Серые глаза ее оставались. Такие глаза я видел когда-то у олененка, который доверчиво подошел к людям, а в него выстрелили. Он упал на передние ноги и вот так, с недоумением и смертной тоской глядел своими круглыми глазами на нас, еще не пришедших в себя от варварского выстрела.

— Что происходит? — наконец, произнесла она. — Полиции продолжают стрелять... когда, казалось бы, и духу их не осталось?... Продолжают стрелять! — повторила в отчаянии. — Что делать, скажи?

Я поцеловал ее в побелевшие губы. Это было единственное, что мог сделать.

Полина приезжала в свою лабораторию в восемь утра. Ночью, без двадцати час, мы выскакивали из Университета, чтоб не опоздать на последний поезд метро. Филологички махнули на меня рукой: я переселился на химфак.

Химическая лаборатория заменяла мне библиотеку, дом, театр, спортзалы. Я уже привык к ее тесноте, к ее разноцветным склянкам, кипящим «баням» и рычащим вытяжным «шкафам». Даже вонь лаборатории не казалась мне такой ужасающей. Вполне терпимая вонь.

Полина возилась со своими колбами, а я, по обыкновению, читал ей что-либо.

Вот уже несколько дней мы листаем русскую историю Ключевского: ищем ответы на все наши «почему?».

За этим занятием нас и застал немолодой приземистый человек, распахнувший дверь лаборатории хозяйским тычком, нараспашку.

«Страшный человек» — подумал я. Вошел, и остано-

вился молча; повертел головой. Лысая голова точно надраена бархоткой. Сияет. Лицо одутловатое, дряблкое, без глаз. Приглядишься, глаза есть. Но водянистые, пустые. Как у гончей.

Приблизившись к нам, он бесцеремонно устался на Ключевского. Впрочем, может быть, и не на Ключевского. Попробуй пойми, когда один глаз на нас, другой на Арзамас.

Протянул руку за книгой. Властно. Так у меня отбирал книги старшина эскадрильи Цыбулька.

«Фигушки», я сунул книгу себе под мышку.

— Это — Костин, — сказала Полина своим добрым голосом. — Зам.декана. Не кидайся на людей.

Я неуверенно отдал книгу, тот оглядел ее, полистал недобро, разве что не обнюхал, словно русская история и была для Университета главной опасностью.

Впрочем, она, и в самом деле, была главной опасностью. Не для Университета, естественно...

Это мы поняли, когда добрались с Полиной до тома, в котором Ключевский повествует о разгроме Университета, учиненном в начале XIX века бывшим последователем Сперанского, неким Магницким, затем «раскаявшимся».

Никто так не опасен прогрессу, по свидетельству истории, как «раскаявшиеся» прогрессисты.

Магницкий испросил монаршей воли публично казнить пронизанный «духом робеспьерства» университет, т.е. физически разрушить, разнести по кирпичу.

Когда «по кирпичику» не разрешили, он приступил к искоренению науки с другого конца. Он лично занялся «вольтерьянским духом» университета. Новый дух был сформулирован предельно просто: «Русское государство упреждало все прочие».

«Высшая школа всегда платилась за грехи общества», — так Ключевский начинает свое эпическое повествование о разрушении Университета. А кончает фразой: «Знаменем этого направления был известный Аракчеев»...

Иосиф Сталин листал Ключевского. Это несомненно. Иначе он не смог бы последний период в одной из

наук, столь предельно точно окрестить «аракчеевским режимом». Сталин вообще очень точно характеризовал оживленные им социальные процессы, но до понимания этого нам с Полинкой было еще, как до звезды небесной, далеко.

... Судорогу пустили. «Русское всегда упреждало», ставилось краеугольным камнем учебных программ, лекций, докладов Университета. Имена иностранных ученых в курсовых работах и диссертациях считались признаком неблагонадежности. Французские булки переименовали в городские.

Время искало своих героев. В Университете все в большую силу входили твердые, как камень, косноязычные не улыбки, которые ставили своей задачей «поднять» и «очистить» Университет. В потрепанных кителях без погон, в яловых офицерских сапогах, приспущенных гармошкой, или в серых армейских валенках, они любой вопрос «заостряли» до острия казацкой пики. Одного не учли. Со времени Аракчеева прошло сто с лишком лет. И тут же начались конфузы, прежде всего, на естественных факультетах.

Как-то я пришел в химическую лабораторию, Полина торопливо мыла пробирки; сбросив прожженный халат, сказала: — Бежим, опоздаем!

Мы примчались в битком набитую аудиторию. Внизу надраенной корабельной медяшкой сияла лысая голова.

— Вон он... Страшный человек! — показал я Полине сиявшую голову. — Рядом с Платэ...

— Это прекрасный человек! — возразила Полина, выискивая глазами знакомых.

— Страшный человек! — воскликнул я, вставая.

— Прекрасный человек! — также убежденно повторила Полина.

Это уже напоминало добрый семейный скандал. Мы поглядели друг на друга и расхохотались.

— Это же Костин, — пояснила Полина, отсмеявшись. — Без его помощи я бы ноги протянула...

Кто бы мог предположить, что в своей горячности мы были правы оба. Но об этом позднее: время Костина еще не пришло...

Пока что он сидел внизу «на подхвате»: за столом президиума. Председательствовал спокойный жесткий академик Несмеянов, который начинал заседания с точностью диспетчера пассажирских поездов.

Но что творилось на трибуне?

Груболицый парень в полинялой гимнастерке, с тупо скошенным затылком, стуча кулаком по кафедре, клеймил самых выдающихся ученых страны — академика Фрумкина и академика Семенова, будущего лауреата Нобелевской премии. Они, де, не приносят русской земле никакой пользы.

За столом президиума, рядом с побагровевшим Несмеяновым, сидели, потупясь, закрыв глаза ладонью, академики Фрумкин и Семенов, и все, как замороженные, слушали хриплую брань невежды, а затем академик Фрумкин смиренным голосом нашкодившего школяра обещал исправиться, быть ближе к практике...

— Кто это? — спросила Полина о бранившемся парне.
— Таким нельзя давать спуску.

Она оторвала клочок газетки и послала в президиум, чтоб дали слово.

Слова ей не дали. Времени не хватило. Обещали предоставить позднее.

Спустя неделю или две открытое заседание продолжалось.

Оно началось с того, что приветливо-сияющий царственный Несмеянов поздравил академиков Фрумкина и Семенова с присуждением им званий лауреатов Сталинской премии. Они были награждены званиями лауреатов несколько дней назад — позакрытой линии — за выдающиеся открытия, принесшие сугубо практическую пользу.

Хохот в университете, во всех аудиториях, во дворе, в студенческой столовой, стоял такой, что голуби, садившиеся, по обыкновению, на университетские окна, целый день очумело носились над крышей.

Казалось, с доморощенной аракеевщиной покончено. Раз и навсегда.

Не тут-то было.

Полина показала мне статью, в которой, на этот раз, козлом отпущения был избран всемирно известный ученый академик Пуулинг. Споткнувшись на академиках Фрумкине и Семенове, проработчики тщательно выбрали очередную жертву, без которой они были так же нелепы, как инквизиция без костров, на которых сжигают еретиков.

Пуулинг подходил по всем статьям. Во-первых, американец, во-вторых, отец теории резонанса, объявлявшейся идеалистической. Более того, космополит... Звание лауреата Сталинской премии ему никогда не дадут. Взойти на трибуну и возразить он не сможет. Кандидатура безошибочная, откуда ни взгляни.

И поволокли Пуулинга, фигурально выражаясь, на лобное место. Какой-то остряк предложил сделать чучело Пуулинга и сжечь. Ему врезали по комсомольской линии, чтоб не острил.

Когда Пуулинга, что называется, разделали под орех: и реакционер он, и космополит, — в газетах промелькнуло сообщение, что Пуулинга в те же самые дни вызвали в Вашингтон, в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. К Маккарти. На правож. И уличили его в том, что он активный сторонник мира и друг Москвы...

Университетские проработчики испуганно объявили, будто это совсем другой Пуулинг. Реакционер — это Поллинг. А друг Москвы — это Пуулинг.

Другая транскрипция...

Не знаю, суждено ли когда-нибудь осуществиться экономической конвергенции, в это трудно поверить, но духовная конвергенция американских и отечественных мракобесов и шовинистов в 1949-53 гг. была достигнута полностью, хотя они, наверное, дико вскричали бы от благородного негодования, услышь такое.

Как две секты одного и того же средневекового ордена, люто бранившиеся друг с другом («своя своих не познаша»),

они делали одно общее дело: преследовали «ереси», т.е. подлинных ученых, порой, как видим, даже одних и тех же.

И тут уж как ветром повалило фанерные надстройки, на которых аршинными буквами была намалевана аракчеевская мудрость «русское всегда упреждало».

Впрочем, я, наверное, обижаю Маккарти. Он ведь не прикидывался социалистом. Не обосновывал разбой цитатами из Маркса. Он был откровенным мракобесом.

На Руси без ряженных не обходится...

Студенты смеялись и, на разных факультетах по-разному все чаще замечали, что расписанные петухами бутафорские челны космополитической кампании, на которых как бы выплывали солисты, влекутся по усохшему было на Руси вонючему каналу антисемитизма, и нечистоты все прибывают...

Вспыхнуло вдруг «громкое» дело. Профессора-философа Белецкого уличили в том, что он еврей, а свою национальность скрывает. Почему бы? С какими целями? Но Белецкий был белорусом, и потому, если б даже и хотел, не мог раскаться. На родину профессора Белецкого отправили гонца из партбюро, на розыски пропавшей грамоты, сиречь, метрики. Искали в ней слово «еврей», как ищут уголовное прошлое, тайные убийства...

Белецкий, наконец, доказал, что он... сын священника. Это была уж полная реабилитация.

Профессор-историк Юдовский, больной задыхающийся старик, во время лекции, на которой я присутствовал, назвал возню вокруг «еврейства» Белецкого своим именем; его тут же окрестили буржуазным националистом, воинствующим сионистом и еще чем-то, и он умер от инфаркта.

Гибель Юдовского возмутила одних, испугала других. Ждали расследования...

Молодой преподаватель марксизма, израненная в боях женщина-партизанка, побледнев, как если бы она зажигала короткий бикфордов шнур, и взрыв мог затронуть и ее, прочитала нам на семинарском занятии из Ленина филипп-

пику против великорусского шовинизма; подобно всему нашему поколению, она все чаще уж не тянулась к Ленину, а — хваталась за него, как за спасательный круг, порой как за камень, которым хотят отбиться от хулиганов.

Студенты переставали ходить на лекции антисемитов. Одного прогнали с трибуны. Самым распространенным университетским анекдотом сорок девятого года стал анекдот о русском приоритете во всем и вся. «Россия — родина слонов».

Супруга ректора университета, простодушная властительная Галкина-Федорук, к которой я пришел сдавать экзамен по современному русскому языку, спросила меня вдруг доброжелательно.

— Вы, извините, еврей?

После чего объяснила, что она, Боже упаси, не антисемитка. У нее все друзья — евреи.

Пробудились от летаргии даже самые осторожные, самые высокооплачиваемые.

— Средневековые умело ругаться, — как бы случайно сказал мне академик Гудзий, когда мы шли с ним по пустынной вечерней улице Воровского к Союзу писателей. — Вчера, знаете, проглядел один манускрипт. Такие терминологические излишества: «отродье древнего змия», «исчадие антихриста», «дьявольский пес», «злохищное чудище». — И он скосил на меня умные хитрющие глаза.

Я бросил ответный взгляд, этого было достаточно, чтобы почувствовать, что ты сейчас не один на белом свете.

Мы вошли в подъезд Дома литераторов, открыли дверь, и на мгновение остановились, потирая озябшие руки и вбирая в себя сухое тепло старинного особняка. Сверху из ресторана доносился низкий, с раскатами, голос секретаря Союза писателей драматурга Анатолия Софронова, захлебывающийся, восторженный:

— Мы чувствуем, как распрямилась грудь, появилось горячее желание еще лучше работать...

Под ноги нам с деревянных ступенек свалился, оступившись, незнакомый человек. Худой. Щеки запали. Нос

заострен. Он с силой ударился об меня. Затуманенные водкой глаза его ничего не различали. И все же он ощутил, что ударился мягко. Не о стенку. О живое.

Глядя куда-то поверх меня, он произнес с незлобивой и потому пронзительной тоской.

— Чего они хотят от нас? А?... Мы уже пьем, как они...

Гудзий остолбенело глядел вслед ушедшему; взял меня за руку, как ребенка.

— Пойдите отсюда, Гриша.

— Кто это? — спросил я почему-то шепотом.

— Михаил Светлов.

Мы ходили с Николаем Калининвичем по безлюдью арбатских переулков, и специально подобранные арбатские дворники подозрительно глядели нам вслед.

Хлынул холодный дождь, вперемежку со снегом. Зачавкала под ногами закоптелая, ядовитая дорожная слякоть. Мы постояли в подъезде, затем снова принялись месить ледяную грязь.

Мои студенческие ботинки набухли, сырые ноги коченели, точно босиком шел по снегу.

— Как известно, датчане спрятали всех датских евреев. Король, говорят, надел желтую звезду, и за ним все датчане. Многих ли спрятали мои соотечественники? — воскликнул он голосом, в котором бы и глухой уловил страдание. — Я ведь природный хохол. Шесть миллионов евреев расстреляно. Целый народ... Говорите, прятали? Пытались прятать? Я знаю два-три случая, и только.

И после этого ... вот ... Михаил Светлов... светлый, светлейший человек! По праву псевдоним.

Какая безысходность в голосе! И покорность судьбе!... — Гудзий постоял, держась за сердце, оттопыренные губы его все время отдувались, словно он дул на что-то. — А ведь он русский поэт. Истинно русский. Как русский Левитан.

Где же выход?

Евреи древни, как динозавры. У динозавров слабая нервная проводимость. Палеонтологи предполагают, когда у динозавров отъедали хвост, их точку опоры, они этого не

чувствовали и, громадные, неповоротливые, тут же перероачивались и погибали...

Отгрызают точку опоры! Точку опоры отгрызают! — вдруг вскричал он фальцетом. — У людей! Во что людям верить после этого?! Сколько я живу, вас давят сапогом — петлюровским, гитлеровским, бандеровским, софроновским, и конца этому нет... Какое-то беличье колесо! Сперва бьют до посинения. Затем колошматят в кровь ... за посинение. Посинелый от побоев еврей — это уже опасно. Как бы не вздумал в ответ размахнуться! И тогда сызнава лупят. За то, что стал красным. От собственной крови красным... И так без конца. Какой ужас!... — Николай Калининкович повторил вдруг светловскую фразу, и хрипловатый гибкий живой голос его, сорвавшийся от бессильной ярости стариковским фальцетом, до сих пор стоит в моих ушах:

— «Чего они хотят от нас? Мы уже пьем, как они... А?»

Никакими памятниками Светлову такого не отмолить! Никакими памятниками!

... — В самом деле, чего же они хотят от нас? — изнеженно спросил я Полину, добравшись, наконец, до ее лаборатории. Я был измучен и чувствовал, что заболеваю.

Полина заставила меня скинуть расплзшиеся ботинки, нагрела на газу кирпичи, положила их мне под ноги, вскипятила чай. — Чего эти софроновы хотят?!

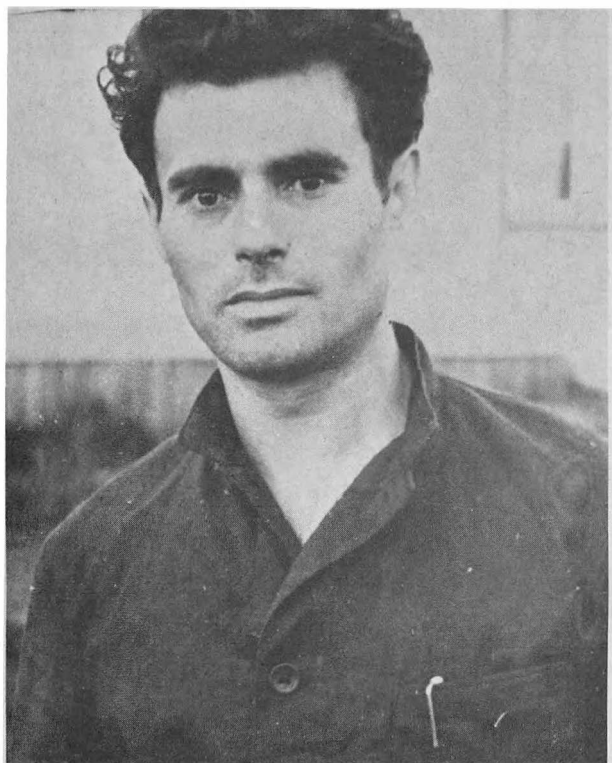
Полина взглянула на меня внимательно и, на мгновение отвлекаясь от своего клокочущего в колбе раствора, сказала:

— Хотят того же самого, что Любка Мухина. Отнять зеленую плюшевую скатерть. Других идей у погромщиков нет!

У меня сердце защемило. Я подумал, что она имеет право на такие слова, но упрощает.

Но все же я слушал ее куда более внимательно — после похорон Михоэлса.

Мы отстояли тогда три часа в скорбной веренице людей, которые медленно двигались по Бронной, к Еврейскому театру, в котором лежал Михоэлс.



Самый молодой член еврейской секции Союза писателей СССР поэт Иосиф Керлер, приговоренный в 1950 году к десяти годам заключения. Главной уликой против молодого поэта было то, что он рекомендован в Союз писателей «врагами народа» Перецом Маркишем, Бергельсоном, Квитко, Нусиновым, Фефером...

В приговоре И. Керлера было записано: использовать «только на самых тяжелых работах».

Снимок 1952 г. Воркута. «Речлаг». Заключенный И. Керлер перед спуском в шахту.

На многолюдных и долгих похоронах люди, по обыкновению, нет-нет, да и скажут шепотом о своем, даже улыбнутся невзначай.

Здесь и тени улыбки не было.

Гнетущая, страшная тишина, подчеркнутая одиноким захлебывающимся старческим кашлем, поразила меня, а еще более поразили меня гневные слова Полины.

— Кому надо было убить Михоэлса? Какому полицаю?

Я оторопел.

— Как?! Убить?!... Да ты что?!

Ей все было гораздо виднее, — с высоты Ингулецкого карьера.

В почетном карауле стоял Народный артист Зускин, с закрытыми глазами и вытянутой шеей, затянутой галстуком туго, как удавкой. Может быть, и он был чуток, как Полина: остались не месяцы, считанные часы до варфоломеевской ночи, когда весь антифашистский еврейский комитет, в том числе и его, великого артиста Зускина, расстреляли, как полинкиных родных.

Спаслись немногие.

ГЛАВА 8.

... Расстрелял антифашистский комитет Сталин.

Я понял это лишь 4 апреля 1953 года, когда проталкивался к длинным, как забор, стендам, на которых была наклеена «Правда» (от этого ли «забора» или, скорее, потому что последние годы газеты густо насыщались бранью позабористей, знакомство с ними называлось в Университете «заборным чтением»).

«Заборным чтением» я занимался на бегу. И вдруг остановился, как громом пораженный.

В «Правде» напечатали сообщение, что дело «врачей-отравителей» — гнусная провокация...

Слышу за спиной прерывистое дыхание читающих. Люди ошарашенно молчат, кто-то выматерился изумленно; девочка с косичками запротестовала: «Этого не может быть!» Старушка в очках рядом со мной нервно затолкалась:

— С нашим правительством не соскучишься...

Пожилой колхозник с сумкой, доверху набитой буханками черного хлеба, пробасил простодушным голосом:

— Не успел, значит, преставиться, как все повылазило...

Я поежился, будто мне снега натолкали за шиворот. Я еще верил в него.

Но... вспомнился вдруг упрек язвительного старика-

языковеда: «Вы принадлежите к поколению с заторможенным мышлением!»

Это было в гостях у общих знакомых. Полина наскочила на языкеведа со всем своим комсомольским пылом; тот вскричал в ярости, что мы с Полиной глухи и слепы, что нас обоих разбил интеллектуальный столбняк.

Мы покинули тот гостеприимный дом молча, с каменными лицами, подобно послан оскорбленной державы...

И вот, у газетного «забора», нахлынуло вдруг то, что не раз слышал, но что, видно, обтекало меня, как вода обтекает железобетонную опору моста: Сталин в эти годы вмешивался во все. Никому не верил. Без подписи Сталина не обошлись ни строительство дачного поселка для академиков, ни даже смена лифта в редакции «Известий».

Так мог ли хотя бы волос упасть с чьей-либо головы без него? Мог ли прозвучать хоть один выстрел по большевикам, бравшим Зимний? Возможно, чтоб без его подписи?... По крайней мере, без его молчаливого одобрения?...

«Повылазило...» Глас народа — глас Божий...

Теперь, спустя годы, столько уж «повылазило», столько известно, и факты все прибывают, как полая вода, что и десятой доли достаточно даже для самого застенчивого революционного трибунала.

Достаточно и в том случае, если будет рассмотрен только один из вопросов русской революции — национальный, а в нем одно единственное звено: прививка антисемитизма.

Иосиф Сталин был в своей семье хулиганствующим, крутым на расправу антисемитом, — этого не скрывает теперь даже дочь Сталина, Светлана Аллилуева, акцентирующая юдофобство Сталина, главным образом, на его «семейных» расправах с евреями — ее женихами, мужьями.

Оставим сейчас в стороне женихов Светланы — тему, саму по себе, трагическую.

И хотя об антисемитизме Сталина старые большевики говорили еще со времени его Туруханской ссылки, мы не будем касаться и этого.

Нас интересует Генеральный секретарь большевистской партии.

Был он антисемитом на своем высоком посту? Или, в самом деле, пал жертвой обмана, провокации, дьявольского хоровода берий, ежовых, абакумовых, рюминых, которые кружили вокруг него свое нескончаемое кровавое коло?

К сожалению, Институт марксизма при ЦК КПСС, Институты философии и истории Академии Наук СССР и другие официальные учреждения не помогли мне в исследовании этой темы.

Официальная наука молчит.

Молчит подобно нашей фронтовой газете, которая не мешала селявкам делать свое дело.

Предоставим слово документам. И прежде всего, ученым-энтузиастам, многолетним исследователям Сталина и его времени.

Привлечем архивы старых революционеров.

Только факты. Только работы серьезных ученых-историков. Только документы.

Был ли Сталин прогрессивным деятелем? Хоть сколько-нибудь прогрессивным деятелем, несмотря на ошибки и преступления, о которых человеческая совесть не может забыть, как бы этого иным ни хотелось!

И куда влечет нас его тень? Его последователи, тайные и явные...

Чтобы ответить на вопрос, — пишет серьезный исследователь Сталина Г. Померанц, — надо его правильно поставить. Надо ясно различать мандат, который деятель не может не выполнять, и его личный вклад.

Сталин получил власть на известных условиях, и пока он не превратил свою власть в абсолютную, не мог ими пренебрегать. Он не мог не проводить индустриализацию, кооперацию сельского хозяйства, не мог не руководить международным рабочим движением, не мог не заботиться об обороне страны. Любой другой деятель, избранный генеральным секретарем, решал бы те же задачи. Поэтому важно не то, что Сталин делал, а как он это делал.

Кроме писаного мандата — Программы партии — Сталин прислушивался к неписанным мандатам, носившимся в воздухе. Прежде всего, это мандат того, что Ленин называл «азиатчиной». Вы помните, наверное, статью «Памяти графа Гейдена»: раб не виноват, что находится в рабстве. Но раб, который жить не может без хозяина, это холуй и хам. Века татарщины и крепостного права оставили достаточно внушительную традицию холуйства и хамства. Революция поколебала ее, но, с другой стороны, революция вывернула с насиженных мест массы крестьян, потерявших старые устои и не очень усвоивших новую идеологию. Эти массы вовсе не хотели углубления и упрочения свободы, да и не понимали, к чему она — свобода личности. Они хотели хозяина и порядка. Таков сталинский мандат номер два.

Мандат номер три — это мандат обезглавленной религии. Мужик верил в Бога, и в образах Спаса или Казанской Божьей Матери находил предмет любви и бескорыстного преклонения. Мужику объяснили, что Бога нет, но это не упразднило религиозного чувства. И Сталин дал трудящимся бога, о котором невозможно сказать, что его нет.

Бессознательное религиозное чувство, давшее Сталину мандат номер три, было чистым. (Корыстные мотивы религиозного чувства я склонен отнести к мандату номер два.)

Слово Сталин здесь легко заменить любым другим словом всеблагого, всемогущего, всеведущего существа, источника всех совершенств, или, как тогда говорили, вдохновителя наших побед.

Каким образом Сталин мог осуществить три таких разных мандата одновременно. Для этого, конечно, нужен был талант, особый талант. На языке Сталина этот талант называется «двuruшничеством».

Мы коснемся, как уже говорили, лишь одной стороны его «особого таланта». Но ее постараемся рассмотреть, по возможности, подробно. Пойдем не вширь, а вглубь...

1924 год. Сталин выступил над гробом Ленина с клятвой

быть подлинным интернационалистом и предал интернационализм тут же над гробом.

Это широко известно историкам КПСС и ветеранам революции. Вот, в частности, свидетельство М.П. Якубовича, старого революционера, прошедшего полжизни по тюрьмам и лагерям.

«У Владимира Ильича было два заместителя по работе в качестве председателя Совета Народных Комиссаров — А.И. Рыков и А.Д. Цюрупа. Когда Ленин заболел и нужен был не заместитель, а человек, который бы фактически, во время болезни, заменял Ленина, ЦК, по предложению Ленина, остановил свой выбор на Л.В. Каменеве. Ему Ленин передал бразды правления государством на время своей болезни.»

После кончины Ленина, Сталин, как известно, немедленно оттеснил Каменева от поста главы Советского государства. Здесь нас интересует не сам факт отстранения Каменева, а то, какими аргументами оперировал Иосиф Джугашвили (Сталин).

«Сталин, — пишет далее Якубович, — убедил ЦК разделить должность Председателя Совнаркома на две: Председателя Совнаркома и председателя СТО под предлогом неудобства назначения председателем Совнаркома в нашей мужицкой стране еврея по происхождению. (Каменев, по отцу, был евреем и по царскому паспорту носил фамилию Розенфельд.)

Этот довод не убедил бы большинство ЦК, если бы его сразу не поддержал сам Каменев»...

(Заметим кстати, что националистические мотивы к самому себе, Иосифу Джугашвили, возглавлявшему Российскую социал-демократическую партию, он, естественно, не относил...)

Сталин не был первым на Руси национал-революционером.

— «Русский список» открыли эсеры, которые, в свое время, по тем же соображениям, отвергли кандидатуру председателя Учредительного Собрания...

«... Мы всегда строго отличали и будем отличать му-

жицкий рассудок от мужицкого предрассудка», говорил Ленин...

Говорил, это — правда.

Соловецкие острова принимали арестованных эсеров, этап за этапом, но генеральная идея их, как показало будущее, осталась на материке...

«Теперь, слава Богу, только два хозяина на Руси. Ты, да я...» — сказал Сталин, по свидетельству Марии Ильиничны Ульяновой, Рыкову, когда того избрали, вместо Каменева, Председателем Совнаркома.

«У меня, помню, мороз по коже», — говорила Мария Ильинична писателю Степану Злобину.

На Соловках и Печоре, случалось, уже расстреливали без суда. Архангельская глухомань постепенно превращалась в концлагерь.

Так, в самом деле, кто у кого учился? Сталин у Гитлера? Или ефрейтор Шелькгрубер у Сталина?

... «Фолькишер беобахтер», а за ней и другие фашистские листки выразили недовольство тем, что в советских газетах появляются еврейские фамилии.

Сталин немедля шагнул навстречу своему неблагодарному ученику. Со страниц «Правды» и других центральных газет исчезли, одно за другим, всемирно известные имена журналистов.

Приведу лишь один пример — пример большого мужества, когда журналист не уступил угрозам и шантажу и, вопреки всему, сохранил свое собственное доброе имя советского журналиста-исследователя.

В 1936 г. заместителя главного редактора газеты «За индустриализацию» А. Хавина вызвал главный редактор Васильковский, польский коммунист, вскоре уничтоженный Сталиным, и предложил ему немедля изменить фамилию.

— Берите любую другую, товарищ Хавин! Только с русским окончанием. На «ов». Хотите, например, «Хавков»?... Не хотите? — возмутился он. — Вы что, слепы? Вот был Иерухимович, корреспондент «Правды» в Лондоне. Весь мир знал его, как Иерухимовича. Он стал кем? Ермашо-

вым... — Редактор стал приводить и многие другие примеры...

Неблагозвучные для уха Гитлера фамилии корреспондентов центральных газет, в те дни, облетали, как осенние листья. Достаточно перелистать старые подшивки, чтоб убедиться в этом.

Отказ от собственного имени многим не казался предосудительным. Что ж, если требуется опустить перед боем забрало...

Пройдет время, и журналистов-евреев начнут бить смертным боем за то, что они «прячутся» за псевдонимами. Михаил Шолохов выступит с разоблачительной статьей «Под закрытым забралом».

Но эта быль еще впереди.

Самих корреспондентов пока что не выгоняли и не убивали, как евреев. Сталин любил говорить, что он постепенец. Все в свою очередь.

Следующим годом был тридцать седьмой.

Я набрасываю эти строки в больничной палате, куда пришел к товарищу. Товарища увезли в перевязочную, и я жду его. У койки соседа, безнадежно больного старого большевика, собрались его друзья, он не отпускает их, понимая, что жить ему осталось считанные дни. Я стараюсь отвлечься от чужого разговора, почти не слышу о чем говорят. Различаю лишь рефрен, произносимый с бóльшей экспрессией. То один, то другой голос вставляет: «А потом его посадили!»

И так уже третий час подряд.

«А потом его посадили...»

Рассказывал умиравший с опавшим желтым лицом старик.

Бог мой, какую горькую чашу надо испить, чтобы и в свой последний час об этом! Только об этом...

Тридцать седьмой покатило антисемитское колесо быстрее.

Сталин в документе ТАСС собственноручно «исправил» фамилию Зиновьева и Каменева, сообщив населению о

дореволюционных фамилиях жертв террористического процесса — Радомысльский и Розенфельд.

Как оживились робкие селявки и карьеристы, которые уловили, наконец, откуда ветер дует...

В 1938 году официально уничтожаются существовавшие на Украине еврейские школы и еврейские отделения в институтах, чем загоняется в тупик и вся советская литература на идиш, терявшая своих читателей с катастрофической скоростью.

Это уже не было актом ассимиляции, завершающим актом ассимиляции, благодаря которой еврейские школы на Украине год от года теряли своих учеников.

Это были первые залпы.

В 1939 году Сталин заявил, что нельзя гитлеровцев называть фашистами — идеология есть идеология. Слово «фашизм» исчезло со страниц газет.

Вскоре зато напечатали речь Адольфа Гитлера, в которой фюрер объяснял, что его целью является борьба с безбожием и еврейской плутократией, — сейчас уже нет на земле человека, который бы не знал, что понимал Гитлер под словами «еврейская плутократия».

Освенцимские рвы, ингулецкие карьеры, бабы яры — миллионы братских могил расстрелянных евреев — рабочих, ремесленников, ученых могли бы стать преградой загудевшим на земле глухим пожарам антисемитизма.

Сталин не дал угаснуть огню, он сызнова поднес спичку. Чтоб дружной горело. С обоих концов.

В 1942 году, по его распоряжению, были написаны брошюры и книги о русских полководцах Суворове и Кутузове. Когда ему принесли пахнущие типографской краской книги, Сталин высказал резкое недовольство, что авторы их с нерусскими именами.

В те же дни он не утвердил списка главных редакторов фронтовых газет, так как в нем были и еврейские фамилии. Выразил недовольство составом музыкантов, отправлявшихся с концертом в Англию. «Опять Флиер-Млиер, а где русские?»...

Тут-то и началось позорище, которому я был свидетелем во фронтовой газете Заполярья.

Антисемитизм был вызван его прямыми указаниями, как дудочкой вызывают дремлющего змея.

Сталин не терпел еврейские имена и в дни дружбы с Гитлером. «Высокая политика», — стыдливо объясняли лекторы райкомов в парках культуры и отдыха, когда их спрашивали, почему Иерухимович стал Ермашовым.

Сталин искоренял еврейские имена и в дни священной войны с фашизмом, когда полиция расстреливали еврейских детей разрывными пулями в затылок.

Тут лекторы лепетали уже об оживленных немцами «мужицких предассудках»...

«... Главное Политическое Управление Советской Армии, ежемесячно давая политаппарату армии темы политзанятий, лекций и политинформаций, за все четыре года войны ни разу не посвятило ни одного занятия, ни одной лекции, ни одной политинформации, теме антисемитизма, роли антисемитизма в политике нацизма, убийству нацизмом почти всего еврейского населения Европы,» — сообщает в своем фундаментальном труде о Сталине ученый-историк Р. Медведев.

В послевоенный период Сталин, прикрываясь разговорами о контрреволюционной деятельности международных сионистских организаций (как будто за границей нет многочисленных русских белогвардейских организаций, или организаций украинских, грузинских и иных националистов), взял курс на постепенное вытеснение евреев из партийного и советского аппарата...

В большинстве высших учебных заведений, в научных учреждениях, даже на многих предприятиях была введена для евреев негласная процентная норма... ¹

¹ — Труд Р. Медведева о Сталине, как известно, уже вышел. В нем содержатся, кроме других материалов, также документы об антисемитизме Сталина из архива подполковника НКВД Е.П. Фролова, долгое время хранившиеся и у меня. Исключив их из своей книги, отсылаю читателя к исследованию Р. Медведева.

«Тропинка антисемитизма», по давнему выражению Сталина, «могла привести только в джунгли».

Сталин сам оставил прямое свидетельство того, на какую «тропинку» он вступил.

В докладе на XII партсъезде он исчерпывающе охарактеризовал великодержавный шовинизм: «Великодержавный шовинизм выражается в стремлении собрать все нити управления вокруг русского начала, подавить все нерусское».

В 1945 году Сталин, как известно, произнес тост за русский народ, как за «руководящую нацию».

Эволюция взглядов?

Вряд ли...

Просто «аракчеевский режим», применяя выражение Сталина, окреп, «всякая возможность критики» отсутствовала; чего ж, в таком случае, стесняться в своем отечестве...

Сталинская практика геноцида не уступала гитлеровской. Даже по размаху. По подсчетам историков, общее количество выселенных нацменьшинств, неугодных Сталину, превышало пять миллионов человек! Большая часть высланных погибла¹.

Не доверяя потомкам так же, как и современникам, Сталин сам трактовал свою историю, по крайней мере, краткий курс ее, облыжно назвав ее Кратким курсом истории партии, поставил себе исполинские памятники на каналах и в парках, и, «великий провидец», сам, своею собственной рукой, начертал себе приговор революционного трибунала:

«В СССР активные антисемиты караются расстрелом...»

И чтобы приговор был окончательным и обжалованию истории не подлежал, Сталин, на этот раз, возможно, подсознательно свое погромно-шовинистическое нашествие на Советскую страну воплотил даже в ... камне.

Как известно, в сталинские годы, в Москве не было па-

¹ — Смотрите коллективное письмо крымско-татарского народа в ЦК КПСС.

мятника Марксу, Энгельсу, даже Ленину. Однако был воздвигнут памятник Юрию Долгорукому, удельному князю XII в., и для сооружения этого памятника на Советской площади, напротив здания Моссовета, был разрушен воздвигнутый, по предложению Ленина, «Обелиск Свободы».

Сколько же людей раздавлено медными копытами княжеского коня, ставшего символом сталинской государственности?... Сколько миллионов советских людей?!

Самые кровавые злодеи земли — герцог Альба и Филипп II — уничтожили в своей ортодоксальной свирепости менее 50 тысяч еретиков. Вся священная инквизиция во Франции *за сто лет* — примерно 200 тысяч... В царской России с 1825 года и по 1904 год были приговорены к смертной казни 42 человека. Даже Александр III за тринадцать лет царствования заключил в тюрьмы пять тысяч «смутьянов».

А Сталин?!... Точно учтены только члены коммунистической партии. Членов компартии было уничтожено миллион двести тысяч человек. В тюрьмах и ссылках погибли 4/5 всех старых большевиков: рабочих, бравших Зимний дворец, сражавшихся в Испании.

А сколько всего невинных людей не вернулось в свои семьи?

Считают историки количество жертв, даже подсчитать точно не могут. Или — не решаются?...

... В 1949 году мы с Полиной не могли уж не видеть: стреляли в нас.

Мы были энтузиастами эпохи, несли на демонстрации знамена или воздушные шарик, что поручали, и горланили во всю силу молодых легких: «Сталин и Мао слушают нас...»

Москва заговорила о том, что в конце года придет Мао; мы втайне надеялись, может быть, Мао скажет Сталину, как компрометируют советские идеи доморощенные черносотенцы.

Скажет или нет?

А газетная пальба все усиливалась. Стреляли залповым

огнем, как в царской армии, где взводные, не надеясь на рядовых, командовали осипшими голосами:

«— Взво-од, заряжай!... Целься!... Эй, ты, харя, куда целишься? Ниже бери!... Пли!!!»

Кто командует провокационной стрельбой?... Кто этот прокравшийся к высокому креслу провокатор? Кто?!...

Это было для нас и, беру на себя смелость сказать, для нашего поколения (исключения почти что неизвестны) тайной великой, за семью печатями. Ложь обрушилась на молодежь, как горный обвал. И, на много лет, погребла под собой...

Мы твердо знали лишь одно: главный враг погромщиков — человеческая память; а значит, прежде всего, русская история, и мы инстинктивно тянулись к читальным залам.

Как-то Полина посетовала на то, что вот уже больше года она не может получить в Ленинской библиотеке газету «Русское знамя»... А, говорят, она очень поучительна...

Естественно, при первом посещении «Ленинки» я выписал подшивки «Русского знамени» за пять лет, правда, для этого мне пришлось доставить официальную бумагу, в которой убедительно доказывалось, что «Русское знамя» для моих занятий подобно колесной мази.

На ленточном транспорте прибыли девственно пыльные фолианты в картонных переплетах с рыжевато-желтыми ветхими газетами. Я принялся листать, чихая от бу-мажной пыли на весь зал.

Оказалось, «Русское знамя» — это официальный орган черносотенного «Союза русского народа». Газета русских погромщиков.

Ну, что ж! Как говорится, приятно познакомиться!...

Я достал чистый лист бумаги и принялся делать выписки из первоисточника, по всем правилам научного реферирования, — для Полины.

Основополагающий вопрос в первоисточнике повторялся много раз. «Может ли истинный христианин быть социалистом?» Ответ: «Быть христианином, и вместе с тем,

социалистом невозможно, как нельзя в одно и то же время служить Богу и сатане».

Полнота аргументации меня изумила.

Чаадаев в своих философских письмах указывал на отсутствие глубины мышления, как на национальный порок. История всех народов и государств свидетельствует, что этот порок, отнюдь, не национальный.

В черносотенном «Русском знамени» этот порок доведен до блистательного совершенства. В газете нет и попыток мыслить, рассуждать, доказывать; вовсе нет, хоть шаром покати!...

«Русское знамя» — газета-вопленица. Газета-матерщинница. Но зато как она матерится, как вопит, с каким подвывом, особенно когда речь идет о конкурентах.

«Жидовские самовары!» Не пейте чай из жидовских самоваров... появляются камни в желудке, рвота и т.д....»

«Да что же это такое!» — евреев допустили до сахароварения.

«Вон жидов из армии» — подумать только, иудеям разрешили быть военными капельмейстерами.

«Проснитесь, жид идет!»

«Спасите от жидов!»

И уж вовсе пропадают охотнорядцы. Аршинные заголовки: «Мне страшно!»

«Берегись!»

«Подкоп под устои» (где-то, конечно же, по наущению жидов, попытались уменьшить рабочий день до восьми часов.)

И чтоб уж вовсе не было никакого сомнения:

«Всему миру известна зловедность жида...»

«Всему миру известна!...» Чего же доказывать? Ломиться в открытые двери. Потому, естественно, доводы разума, логики, даже расследования царского суда ничего не могут поколебать.

«Бейлис оправдан — жидовство обвинено.»

А вот другие, увы, тоже знакомые мотивы, вынесенные в газетные «шапки».

«О псевдонимах».

«Об интеллигенции».

Естественно, она — враг № 1. После жидов, которые даже хуже интеллигенции.

«Интеллигенция никогда не была выразительницей народных чаяний...» «Она выражала, или вернее отражала заветные думы различных Шлемок, Ицек, Чхеидзе, Сараидзе, Начихайло и других инородцев по духу. От всего, что дорого русскому народу, она стояла слишком далеко.»

«Рахитичная московская интеллигенция.»

О студентах, разумеется, только так: «Из мрака студенческой жизни» — постоянная рубрика...

«Политиканствующие шайки из интеллигенции» — это о забастовщиках.

Ну, и газета! Когда вышел ее последний номер? Оказалось, за день до февральской революции 1917 года.

Еще Керенский ее прихлопнул...

Начинаешь понимать Марину Цветаеву, которая мученически страдала при виде газет.

«Уж лучше на погост,
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет!...
Глотатели пустот,
Читатели газет»...

Из номера в номер на самом видном месте чернели аршинные заголовки — призывы, непоколебимые в своем фанатическом упорстве, яростные, как «пли!»

«Недопустимы жидаы в области педагогической деятельности!»

«Недопустима служба жидов по судебному ведомству!»

«Не могут быть терпимы в России жидаы-врачи, жидаы-фармацевты и жидаы-аптекари.»

«Жидаы-отравители!!!»

«Не могут быть терпимы в русских низших, средних и высших учебных заведениях жидаы-учащие и учащиеся...»

«Недопустимы жида-издатели газет, жида-редакторы и вообще — жидовское участие в русской печати»...

В конце концов руки мои от общения с «Русским знаменем» стали графитно-черными; я их потом целый вечер отмывал.

Собрал тяжелые, пахнувшие газетным прахом подшивки и отправился сдавать.

Стоя в очереди к библиотекарю, заметил своего товарища, фронтовика, инвалида, окончившего университет раньше меня.

Он подошел ко мне. Лицо его было мокрым и растерянным. Глаза блуждали. Он сказал мне почему-то шепотом, что его только что выгнали из Радиокomiteта.

И не только его. Всех редакторов — евреев. Даже беременную женщину. Даже тех, кто работал в Радиокomiteте всю жизнь.

«Знаешь, по единому списку. Без мотивировок. Просто выкинули на улицу, и все.»

У меня вывалились из рук подшивки. Стукнулись об пол. И из них выпали листочки; ранее я считал их закладками, и не обращал на них внимания.

А сейчас, подняв, осмотрел рассеянно.

Это были разорванные пополам официальные бланки Ленинской библиотеки. На каждом из них, на оборотной стороне, строгое распоряжение:

«Не выдавать, отвечать, что в работе.»

Не помню уж, как вернул газеты, как выбрел на улицу. Заметил, что флотскую ушанку держу в руках, лишь когда голова ооченела.

Я оказался почему-то в Александровском саду, возле кирпичных стен Кремля.

Голова раскалена. «Значит все они, и Молотов, и Каганович, и Маленков и Щербаков... Они ведают, что творят?! Ведают, на чью тропу вступили?! Потому строжайший приказ: «Не выдавать». Потому подшивки всегда «в работе», чтоб и следов их не сыскали.

Что они делают с Россией, негодяи?

Что делают?!

И... как им удастся обманывать ... всех на свете?!»

Я замедлил шаги возле наглухо запертых, таинственно темных ворот Кремля в состоянии, в котором бросаются с голыми руками на танк, стреляются или ... пытаются прорваться к Сталину с челобитной...

Вдруг отделились от фонаря и, приблизившись ко мне, остановились неподалеку две фигуры в одинаковых шляпах, их длинные тени колыхались и задевали меня.

Я стоял, сжав оледенелые на морозе кулаки, готовясь умереть.

Вздрыгнул от того, что кто-то коснулся моей руки. Встревоженный добрый голос:

— Господи! Да куда же ты запропастился! В «Ленинку» прибежала, нет. Жду тебя, жду...

Полина. Платок сбился на плечи.

— ... Я жду тебя, жду!

ГЛАВА 9.

Свадьбу справляли в Татьянин день — давний студенческий праздник. Полина сняла к тому времени крохотную комнатку на улице Энгельса, на первом этаже, с густо зарешеченными окнами, уютную камеру-одиночку, по общему мнению; мы свезли сюда в одном чемодане и узле все наше имущество.

У полининых друзей это была единственная квартира без родителей, почти «холостая квартира», и сюда вот уже несколько раз набивались едва ль не все аспиранты кафедры Зелинского. В мороз приоткрывались окна, иначе нечем было дышать, и отбивалась традиционная «аспирантская чечетка», на радость мальчишкам со всей улицы, которые прилеплялись белыми носами к нашим окнам.

Иногда кто-нибудь приносил химически чистый спирт, по глотку на брата; однажды его выпили под шуточный и торжественный тост: «Бей жидов и почтальонов!»

Я попался на удочку, спросил с удивлением: «А за что почтальонов?»

Раздался дружный хохот: оказывается, за последние годы ни один человек еще не спросил — «а за что жидов?»

Весело жили...

Свадьбу решили справить по-семейному. Без этой оголтелой аспирантской чечетки. Пришла моя старенькая мама с фаршированной рыбой под мышкой, и Гуля,

закадычная полинкина подруга, океанолог, умница, черт в юбке.

Мама ушла от своего мужа, моего отца, четверть века назад; Гуля — только что, и на сносях. Гордо хлопнула дверью. У обеих свадьба обернулась слезами горючими.

Мама настороженно, почти испуганно, поглядывала на хлопотавшую у стола Полинку. Гуля так же тревожно — на меня. Как-то сложится?

Мама уже дважды спрашивала меня шепотом, правда ли, что Полина — еврейка? Может быть прикидывается.

— Ты бы взглянул на паспорт. А?

Я захохотал, потом возмутился: — А если она — эскимоска? Латышка? Украинка? Это, что, хуже?!

— Нет — нет, я ничего! — соглашалась мама, тыча вилкой мимо рыбы. Дождавшись, когда Поинка с Гулей отправились на коммунальную кухню в конце коридора, она объяснила, краснея, что она вовсе не какая-нибудь отсталая кретинка, но она не хотела б дожить до того дня, когда Полина крикнет мне в трудную минуту: «Пошел вон, жидовская морда!...»

— ... Нет-нет! Я ничего! Пожалуйста! Женись хоть на эскимоске. На самоедке. Дуракам закон не писан. Вот уж не думала — один сын, и тот дурак.

Вечер прошел по-семейному.

На другой день народ повалил — без всякого приглашения, и каждый обещал меня убить, если я буду отрывать Полинку от коллектива.

— Презренный филолог! — иначе меня не называли; в конце концов, меня вытолкали на кухню, готовить хрен. Натирая коренья и обливаясь слезами, я услышал вдали нарастающий деревянный гул: вступала в дело «аспирантская чечетка»...

Существует выражение: язык, что бритва. У Гули язык — рота автоматчиков.

Но в то утро она превзошла самое себя.

Нервно постучав в окно, крикнула в форточку, на бегу:

— Включайте радио! Свадебный подарок! От государства!

Я включил трансляцию, и комнатку наполнил до краев металлический набатный уличающий голос диктора:

«Группа последышей...», «выписывая убогие каракули»... «Цедя сквозь зубы»... «С издевательской подковыркой»... «развязно орудует»... «старается принизить»... «отравить ... тлетворным духом»... «гнузно хихикает»...

— Новый суд начался? — тихо спросил я Гулю, когда она вбежала к нам.

— Что ты?! — отозвалась побледневшая Гуля. У ее отца, крупнейшего в стране специалиста по арабским и семитическим языкам только что, после очередной «дискуссии» о языке, был инфаркт. — Какой суд?!... Это просто... утонченный литературный диспут. О театре. — И она протянула мне газету со статьей «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»...

А набат все звенел. По всей Руси звенел в эту минуту набат, звенел об еврейской опасности.

— ... обанкротившиеся Юзовские, Гурвичи... Борщаговские... окопались ... охаивали...

— Свадебный подарок, — напряженным шепотом сказала Полинка, прошлепав босыми ногами по комнате, выдернула штепсель трансляции, воскликнула обнадеженно и со слезами в голосе:

— Товарищи! Но хоть это-то Сталин прочитает?!... Не может не прочитать!...

Каждое утро мы кидались к «Правде».

Круги ширились. Вот уж отозвалось в Ленинграде, Киеве, Одессе... В одном только Харькове, оказывается, «орудовали Г. Гельфанд, В. Морской, Л. Юхвид, некий А. Грин, М. Гриншпун, И. Пустынский, М. Штейн, Адельгейм и т.д....»

Почти каждый раз перечень новоявленных аспидов завершался знаменательным «и т.д.», которое разъяснялось тут же: «... орудовали с соучастниками...», «отравляли зловонием...»

«Средневековые умело ругаться», — вспоминал я академика Гудзия ... — «Отравляли зловонием» — это уже почти на уровне «злотищного львичища»...

И снова — почти с каждого газетного листа ... «и т.д.»... «и т.п.»...

Ищите, да обрящете!...

На нашем факультете участились «китайские церемонии» — дотошные беседы на бюро, где спрашивали очень вежливо и с сокровенными интонациями: «Где проводите время?», «С кем?», «О чем говорите?»... Они именно так и назывались студентами — китайские церемонии, хотя, естественно, тогда в них не вкладывалась вся трагическая глубина смысла, обнаружившаяся позднее.

В коммунальной квартире нашего обветшалого дома обходилось без церемоний. Соседка, несчастная, вечно голодная женщина, потерявшая на войне мужа и сына, прикладывала ухо к нашим дверям. А когда я случайно застал ее за этим древним, как мир, занятием и пристыдил, призналась, плача навзрыд, что это ее участковый принудил.

Мы успокоили ее, как могли, накормили жидким студенческим супом, и она поведала нам шепотом, всхлипывая и озираясь на дверь, что мы участковому подозрительны... То гостей у них собиралась, говорит, целая синагога. А теперь запираются, шепчутся. От кого запираются? О чем шепчутся?... Ты, сказал он, ответственная съемщица. Глядеть в оба. А не то загремишь, знаешь куда?!...

И разъяснил ей, уходя:

— *Евреев колошатят, чем не попадая, должны же они что-нибудь предпринимать? Люди, небось, не железо...*

... Мы действительно искали с Полиной уединения. Действительно запирались. И даже шептались.

Мы повернулись спиной к участковым. К «литературному» кликушеству. К антисемитской отраве, которой, казалось, пропитались газетные листы.

Мы хотели сына.

Впрочем, я бы ничего не имел и против дочери. Но Полина хотела сына. Только сына.

Говорят, что жизнь продолжается и под топором. Человек живет надеждой, пока от удара не хрястнет шея.

И хотя, как показало время, завершился лишь первый акт кровавой трагедии, продуманной до деталей великим постановщиком, еще два-три года оставалось до запланированной варфоломеевской ночи, когда участковый, правда, на другой улице, занесет нас в свои тайные проскрипционные списки «гугенотов», а уж все пьянчуги и уголовники нашей старенькой заброшенной улицы Энгельса почувляли себя боевым авангардом...

В нашу форточку то и дело влетали, крошась о решетку, снежки и комья грязи, и чей-либо пьяный голос хрипел: «Эй, Моцарт, собирай чемоданы. Колыма по вас плачет!...» (Почему Моцарт попал в евреи, так и осталось неясным).

А в бюро обмена и на «квартирном толчке» Москвы, где мы искали комнату побольше, нам отвечали порой с нескрываемой усмешкой:

— Расширяться, значит, хотите. Ну-ну!...

Однако мы с Полиной отнюдь не были менее счастливы на своем привычно-лобном месте, хотя время от времени я возвращался туда с окровавленной губой или синяком под глазом, после очередной творческой дискуссии с дворовыми или трамвайными антисемитами, которых я невзлюбил.

Разве молодожены в купе поезда менее счастливы, — за минуту до крушения, о котором и думать не думают, хотя б они и знали, что дорога опасна?

Нас было двое, и я видел огромные иконописные полинкины глаза, и был счастлив тем, что они сияли.

Будильник своим жестяным утренним звоном отмерял конец сказки, но сказка не кончалась, она звучала в глубоком сердечном голосе Полины, которой я звонил в лабораторию — после каждой лекции, сказывалась в полете ее огрубелых рук, ставивших на огонь сразу по десять колб и приносивших удачу за удачей.

И я радовался тому, что глаза ее не переставали быть

счастливыми даже тогда, когда в нашем зарешеченном окне вдруг появлялась на мгновение румяная, озабоченная физиономия участкового, которому, видно, не терпелось узнать, чем же мы все-таки занимаемся? Не листовки ли печатаем? А то ведь пропадешь с этими евреями. Ни за понюшку табаку пропадешь...

Увы, лобное место — это все же лобное место. Удар пришелся сильный, наотмашь. И совсем с другой стороны. Откуда и не ждали.

... Видно все дало себя знать. И непрекращавшаяся трава, и голодные годы; Полина слегла, со дня на день слабей. Румянца будто и не бывало.

Анализ крови оказался такой, что врач сам примчался с ним, посреди ночи. Гемоглобин 38.

И тут началось кровотечение. Я кинулся к брошенным в ночи ларькам-сатураторам за льдом, бежал с тающим льдом, не зная, застану ли Полину в живых.

Кровь в запаянных стеклянных ампулах, из Института переливания крови, держал в трамвайной давке над головой, и какой-то паренек оттирал от меня толчею, которая вминала меня в стенку трамвая.

К каждой ампуле была приклеена бумажка с фамилией донора. Фамилии были русские, татарские, украинские.

— Кадровики должны от тебя отстать, — весело сказал Алик-гениалик, приехавший проведать больную Полину, — поскольку в тебя влита кровь всех союзных республик.

Полина засмеялась, и притихла, помрачнела.

Почти год возили Полину по известным и неизвестным диагностам, аллопатам, гомеопатам, к которым записывались на полгода вперед. Профессора-аллопаты крестили гомеопатов прохвостами, гомеопаты бранили профессоров тупицами.

А Полина ходила, держась за стенки. Кровь переливали без надежды, от отчаяния.

Горькая больничная тропа вывела нас, наконец, к Зинаиде Захаровне Певзнер, рядовому палатному врачу одной из клиник на Пироговке, похожей скорее на толстую

добрую бабушку из «Детства» Горького, чем на лучшего диагноста Москвы, поднявшей почти из могилы сотни женщин.

Певзнер поставила диагноз, который яростно отрицали и главный врач клиники, и знаменитые профессора-консультанты; он оказался точным.

Но это произошло лишь после седьмого переливания крови.

Да и попали мы к Певзнер случайно. Полину ни за что не брали в клинику, и я потребовал от дежурного врача расписку, что Полина доживет до утра. Расписку, естественно, не дали, положили истекавшую кровью больную в коридоре. Здесь на нее и наткнулась Зинаида Захаровна Певзнер.

— Можно ли обойтись без операции? — спросила ее поздней Полина, которую за прозрачный лик и огромные горящие глаза, Зинаида Захаровна прозвала Полинкой-великомученицей...

— Жить можно, — печально ответила Зинаида Захаровна. — Рожать нельзя.

Я ждал звонка об исходе операции к полудню. Мне позвонили утром:

— Быстрее приезжайте!

В клинике навстречу мне вывалился похожий на мясника хирург в халате с рукавами, закатанными до локтей, и, потрясая могучими волосатыми руками, потребовал, чтобы я немедленно забирал свою жену и убирался с ней к чертовой бабушке!

... — К чертовой бабушке! — снова вскричал он, и бросился назад в операционную.

Я отыскал Полину в полутемном конце коридора, она сидела в сиротливом больничном халате, горбясь и держась за живот, словно ее ударили в солнечное сплетение. Рыдала беззвучно.

Оказывается, когда ее уложили на операционный стол и были завершены все приготовления, сделаны все обезболивающие уколы, она спросила у хирурга, взявшего в свои

волосатые руки скальпель, сможет ли она, после операции, быть матерью.

— Это было бы в медицине сенсацией, — сказал он, усмехнувшись ... — Что? Пластическая операция? Кто вам сказал о таких операциях? Это шарлатанство! Есть один такой шарлатан в институте Склифосовского. Я — хирург, а не шарлатан. И потом... бездетным не так уж плохо на земле.

Полина рывком, болтнув босыми ногами, поднялась со стола и, сопровождаемая оторопелыми взглядами и криком сестер, ушла из операционной.

Я обнял ее за плечи, острые лопатки торчали под тоненьким убогим халатом.

Привез домой.

В эти дни у нас побывал, наверное, весь химфак. В советах недостатка не было. В конце концов, выяснилось, что слухи справедливы. В институте скорой помощи имени Склифосовского, действительно, есть чудесник профессор Александров, который артистически делает пластические операции; удаляя опухоли, он подтягивает рассеченные ткани, «штопает» их и, тогда, говорят, еще не все потеряно...

Даже неопределенного «говорят» было для нас достаточно.

Я предстал перед невысоким сухощавым нервным человеком, которому ни секунды не стоялось на месте. Халат его был забрызган кровью; на чуть отстраненных от тела руках надето почему-то две пары прозрачных хирургических перчаток, отчего кисти рук казались неуклюжими. Позднее узнал, от наркоза, от иода, которым непрерывно смазывались руки хирурга, Александрова мучила экзема, на что он, впрочем, никогда не жаловался, только оперировать приходилось в двух парах перчаток.

Он наклонил ко мне высоколобую бритую, влажную от пота голову и скомандовал: — Что у вас? Кратко!

... Ваша жена сказала, что ляжет ко мне? — перебил он мое лopotанье. — У меня и так много врагов. Дети вы малые...

— Значит пластика возможна, профессор? — спросил я в страхе, еще не вполне веря этому.

— Возможна?! — удивился Александров. — Я сделал четыреста пластических операций. Меня не признают только ... — Он перечислил имена, наверное, самых известных хирургов Москвы. — По их мнению, коего они не скрывают даже от студентов, я — шарлатан и издоимец. — Усмехнулся нервно, запала щека дернулась. — Не будь я православным, наверняка бы уже пустили слух, что я распял Христа. Впрочем нет, отравил Его! Это современнее. — Он всплеснул руками, которые все еще казались мне такими неуклюжими. — О, двадцатый век! В коммунизм вошли... Стройными колоннами! — Он быстро пошел к дверям, остановился на пороге:

— Гарантировать успех не могу. Операционное поле покажет. Привозите... если не боитесь. Только устраивайте жену сами. Через приемный покой. А то скажут, что это я положил. За взятку. Да-с...

Большая половина отделения, которым руководил профессор Александров, в ремонте. Железные койки теснились в красном уголке, в коридорах. В красном уголке больных тридцать, не меньше. Едва отыскал родные худенькие плечи.

Гул от восклицаний таков, что у здорового голова заболит. Прислушался. Все о том же. О врачах-отравителях.

— Сумасшедшие деньги им платят, а они еще травят... — ораторствовала какая-то худющая тетка, оперевшись о железную спинку кровати, как о трибуну. — Я так считаю, надоть жидов стрелять. Без суда и следствия...

Дебелая дама со строгим, почти интеллигентным лицом, выплеснула на пол лекарство, поданное сестрой. Сказала напористо и враждебно:

— Мне доставят из Кремлевки.

— Это еще хуже, — урезонила ее соседка. — В Кремлевке там самое гнездо и есть.

Рядом с Полиной лежала женщина с бескровным покойническим лицом. Инженер. Она знала, что операция не по-

могла, что она умрет еще до весны; и только она вдруг возвысила голос; наверное, она кричала, но голос ее едва шелестел, и все притихли, прислушиваясь:

— Если вы позволяете втемашить себе в голову, что вас травят... зачем вы пришли сюда... Уходите вон, болваны!...

И это ... в год моей смерти. Когда же я жила? В каком веке?¹

В каждом медицинском учреждении искали своего отравителя. И — уличали. Неизменно...

Впрочем, нет, одно исключение знаю, и оно столь причетательно, что о нем стоит рассказать.

В химической лаборатории, связанной с медициной, жертвой наметили престарелого Арона Михайловича, инженера-химика, создателя нового медицинского препарата. Полина просила, в свое время, чтобы препарат испытали и на ней. Так я познакомился с изобретателем, тихим, сухоньким человеком, с застенчивой улыбкой.

Химик, да создатель нового препарата! Чем не отравитель!

На профсоюзное собрание, которое должно было разоблачить отравителя, научные сотрудники, за редким исключением, не явились. Но конференц-зал был полон, хотя первые ряды стульев почему-то не занимали.

Переговаривались, вязали, ели принесенные из дому завтраки лаборантки, уборщицы, препараторши, завхоз, слесарь-водопроводчик, плотник, вахтер.

— Ничего. Народ пришел, — с удовлетворением отметил, оглядев зал, начальник отдела кадров.

¹ Идея «врачи-отравители», оказывается, возникла гораздо раньше газеты-вопленницы «Русское знамя». Передо мной изданная в Польше книга, в предисловии которой сказано, что в ней даны «ясные доказательства, что не только душу, но и тело *подвергает вечной гибели тот, кто, вопреки запретам всемирной святой Церкви, пользуется услугами врачей — евреев, татар и других неверных...* изданная и дополненная ксендзом Себастианом Слешковским, доктором в лето от Рождества Христова 1623 года».

Жена начальника отдела кадров гневно разоблачила отравителя. Оказывается, он дал заведомо неправильное заключение о составе воздуха в подмосковной шахте. Уменьшил количество кислорода в воздухе, и тем травил шахтеров.

Когда в это почти поверили (а как не поверить, когда жена кадровика зачитывала официальные документы!) и участь Арона Михайловича была решена, слово попросила пожилая лаборантка и сказала, что она не может взять греха на душу. Пробу воздуха она брала не в шахте. А в больничном парке. «Так эта просила...» И лаборантка показала рукой на оторопелую докладчицу.

И тут как плотину прорвало.

— Уйди! — закричал на докладчицу старик-вахтер, надежда кадровика. — Не Арона Михайловича надо гнать, а тебя. Ты только гавкаешь, а он работает.

Девчонка-препараторша кинулась к трибуне, рассказала как Арон Михайлович помогал лаборанткам готовиться за девятый класс. Без денег.

— Настька ревья ревела, ничего не понимала. А Арон Михайлович вечерами с нами сидел, как мобилизованный.

Другая напомнила, что он на заем подписался больше всех, чтоб по лаборатории процент был. Чтоб из уборщиц и препараторш последнюю копейку не выжимали...

Тут поднялся, в заднем ряду, слесарь-водопроводчик и, отталкивая мешавших ему говорить и словно не видя отчаянных жестов кадровика, отрубил:

— Я до войны работал в еврейском колхозе. В Харьковской области. Какие там люди были!...

Это был скандал. Позеленевший от испуга представитель райкома партии кинулся к дверям. За ним — кадровик...

... Прав, бесконечно прав мудрый Гена Файбусович! Народу чужда ложь. И отвратительна. Народ может не видеть лжи, — доверчивый, обманутый печатью. Но стоит лишь только просочиться правде!...

То-то ее на кострах жгут. Со дня сотворения мира...

... В один из таких дней в больничную палату вбежала молоденькая сестра, закричала:

— Включите радио! Сталин умирает!...

Она никак не могла попасть в штепсель. Палату заполнили мятущиеся звуки шопеновской сонаты.

Умиравшая соседка Полины встrepенулась, села на кровати, сложив руки молитвенно.

И вдруг прозвучал болезненный вскрик, словно человека ударили. Влажные глаза Полины блуждали. Ее сероватое, измятое болезнью лицо исказилось страданием.

— Что же теперь будет?! Что теперь со всеми нами будет?!

Полина заплакала, размазывая слезы по щекам, как ребенок. В округленных глазах ее застыл ужас: что теперь будет? Еgo нет, и теперь некому будет сдерживать газетную погань, пьянчуг, чиновников-уголовников. Теперь они разойдутся...

Как-то под вечер в палату вкатилась маленькая толстенная Женя Козлова, «доктор-колобок», с которой мы подружились. Когда Женя делала операцию, ей подставляли скамейку, иначе она не дотягивалась.

— Позвони Грише, чтоб не выходил на улицу! — крикнула она Полине, не заметив меня.

Полина вздрогнула.

— Уже началось? Погром?...

— Ходынка! — воскликнула задыхавшаяся от волнения Женя. — Все кинулись к Дому Союзов... Там, где я тебя принимала, все завалено трупами... Везут и везут...

Минул день — другой, и Полина, выскочив в халатике на лестницу, говорила мне об Александрове с изумлением:

— Железный человек! В день похорон Сталина не отменил операции. Как мог оперировать? В такой день? У него же все инструменты должны валиться из рук...

Не валялись из рук Александрова инструменты. Оперировал. С утра и до вечера. Пришел черед и Полины.

«Заутра казнь, — написала она мне. — Или спасенье!!!»

Утром в палату, как всегда, принесли газеты. В них

была напечатана выдержка из речи Дуайта Эйзенхауера: «... кончилась диктатура Сталина»...

— Они, наверное, не в своем уме, — сказала Полина сестре, продававшей газеты. — До чего доводит слепая ненависть...

Александров, который вошел незамеченным вслед за сестрой, выхватил у Полины газету и закричал:

— Пора уже о другом думать! О другом!... На стол ее!...

Меня пустили только на следующий день. Постоять у приоткрытой двери, за которой лежала после операции Полина.

За дверью слышался невысказанно строгий голос Жени Козловой. Голос звучал непререкаемо: — Температура всего 39,2, а она, видите ли, позволяет плохо себя чувствовать. Позор!

Старушка — няня, которой я передал банку с морсом, пробурчала незлобиво:

— Двадцать пять лет работаю в послеоперационной палате, и каждый день стонут. Когда люди перестанут стонать?...

Из палаты выкатилась Женя, сообщила тоном своего учителя:

— От наркоза проснулась поздно. Спокойствие! Михаил Сергеевич звонил всю ночь. Каждые два часа. На завтра куриный бульон. До свидания!...

Я обежал три или четыре рынка Москвы. Курицы гуляли где-то в стороне.

Наконец, на Центральном рынке услышал вдруг гневный голос:

— Если б она золотые яички несла, тогда б ей такая цена...

Я протолкнулся сквозь толпу скандаливших женщин. Они обступили молодуху в пуховом платке и кричали ей всердцах все, что она заслуживала и незаслуживала. Перед молодухой лежала желтая большая курица. Одна. А рядом, на листочке, цена — 90 р.

Я небрежно кинул на прилавок свою единственную аккуратно сложенную сотню и бросился к выходу, прижимая курицу к груди, под проклятия женщин, которые теперь с яростью уличали меня, де, прощелыга я, и деньги у меня ворованные...

Только тогда, когда прозрачный, как слеза, бульон был готов и налит в химическую колбу с притертой пробкой, я сообразил, что университетская подруга Полины, тоненькая педантичная Иринка, к которой я примчался с курицей, не должна быть дома. Сейчас полдень!...

— Я прихворнула, — невозмутимо ответила мне Иринка, опустив глаза, так и не сказав, что ее только что выкинули из онкологического института, где она, химик-исследователь, синтезировала средство против одной из форм рака.

Почти каждое утро я слышал по телефону взволнованный голос Зинаиды Захаровны Певзнер, и она тоже не сказала мне, что ее взащей вытолкали из клиники на Пироговке, вытолкнули под улюлюканье прохвостов, в тот день, когда она выступила на кафедре с тезисами своей докторской диссертации...

Колба с притертой пробкой долго хранилась у Полины, как семейная реликвия: по убеждению Полины, глоток домашнего бульона и вернул ее к жизни. Я — слаб человек! — не переубеждал.

Женя Козлова, вынесшая мне эту колбу, небрежно сунула ее в мой портфель и, взяв меня за руку, повела в ординаторскую, сказала властно: — Садись!

Я испуганно присел на край стула, воскликнув: — Что случилось?

Женя успокоила меня жестом и, откашлявшись, как если бы она собиралась читать стихи, произнесла приподнятым тоном, что она поздравляет меня с такой женой.

Я вытаращился на Женю, заметил что-то шутивно, чтобы снять невыносимую торжественность, она сказала сердито, чтоб я заткнулся и слушал.

Женя говорила негромко, и в голосе ее звучало несква-

занное удивление. Больше, чем слова, поразило меня это удивление в голосе дежурного хирурга Института скорой помощи имени Склифосовского, где врачи, работающие порой, как на кровавом конвейере, давно отвыкли чему-либо удивляться. Они видели все.

— Запоминай каждое слово, Гриша. Тебе придется пересказывать это и детям и внукам своим. Когда ни явись на свет, они должны знать, что родились здесь. 18 марта 1953 года. В день Парижской Коммуны. Весь твой род теперь под звездой парижских коммунаров...

— Спасибо! — растерянно сказал я. — А как отнесутся к этому парижские коммунары?

Она не удостоила ответом, закурила нервно, как и ее шеф. Я понял, что надо молчать. Произошло что-то невысказанное.

— ... Значит так... Полина попросила у нас, чтоб ее не усыпляли. Я ей втолковываю, что спинно-мозговой наркоз опасен всякими последствиями. Лучше общий. Она ни в какую.

Ввели спинно-мозговой...

Через сорок минут взяли биопсию... ну, срезали кусочек опухоли на гистологию; Михаил Сергеевич дает мне, чтоб бегом в лабораторию. Вдруг слышу голос Полины:

— Не надо нести на гистологию. Нет у меня никакого рака. Уже брали на биопсию.

Я остановилась. Михаил Сергеевич как закричит на меня:

— Что ты слушаешь больную, да еще с разрезанным животом?!

Минут через двадцать вернулась из лаборатории, опухоль не злокачественная, можно делать пластику, а не вырезать все на свете...

Сказала я это Михаилу Сергеевичу, и вдруг вижу, Полина побелела, губы сжала, как всегда сжимают от адской боли, говорит, чувствую, через силу:

— Профессор, я больше не могу!

Михаил Сергеевич вздрогнул, чуть скальпель не выронил.

Оказывается, нервная система у нее ни к черту, и обезболивание плохо подействовало. Но она промолчала: боялась повторения истории на Пироговской. Пойдут, думала, по более простому пути, произведут ампутацию и — не будет сына...

И вот собралась в комок, затихла, чтоб знать все, что с ней будут делать, чтоб воспротивиться, наивная девчонка! — если начнут полную ампутацию.

— Ты понимаешь, что это такое?! — напала Женя на меня, так как мое лицо, по-видимому, не выразило восторженного изумления. — Тебе щеку бритвой порань, как ты взвоешь!... А тут... полтора часа под ножом... Сколько слоев проходили, ни стоны, ни шевеления... Вспоминаю, она сжимала, тискала «операционную рубашку» на груди. Я думала, от страха. А она... терпела...

Женя прикурила папироску от своего же окурка, продолжала негромко и по-прежнему удивленно.

— ... А как стало ясно, что все идет нормально, ампутации не будет, тут, конечно, и иссякли силы, прошептала белыми губами это свое: «... больше не могу!»

Михаил Сергеевич, едва придя в себя, закричал, как дикарь: «Маску!» Тоже не видывал такого. Ну, Полине к носу лошадиную дозу эфира. И стали зашивать.

... Спустя полтора года, я отвез Полину в родильный дом имени Грауэрмана. На Арбате.

— У меня сын, — радостно сказала она дежурному врачу, когда он записывал ее в свои книги.

Дежурный поглядел на нее искоса и сказал осторожно: «Может быть, и девочка...»

— Нет! — сказала Полина. — Сын.

Врач снова посмотрел на нее, затем на меня, прикидывая, оба идиоты или только роженица.

В операционной, где Полину готовили для кесарева сечения, две сестры подавали шприцы с новокаином, а женщина-врач обкалывала место будущего шва; обкалывала быстро; десятки уколов, один за другим.

— Вы должны, доктор, здорово вышивать, — сказала

Полина, и врач посмотрел на нее в тревоге: говорит, словно это не ее колют...

— Вы что-нибудь чувствуете?

— О, да! — подтвердила Полина.

Вокруг нее стояли студенты-практиканты, человек двадцать, и изо всех двадцати глоток вырвалось ликующее:

— Сын!

Врач взяла ребенка за ножку и, уходя, подтвердила:

— Сын, черненький.

— Боже мой! — воскликнула Полина. — В кого же сынуля?!

Операционная грохнула от хохота.

Главный врач, стоявший у изголовья, пожал плечами:

— Вам видней.

Когда я явился в роддом, меня позвали к главному врачу, он испытующе оглядел меня, позвал еще кого-то, и тот тоже посмотрел на меня. Наконец, объяснил, почему меня разглядывают.

— Мы были убеждены, что вы — рыжий. Или блондин. А, может быть, китаец. Чего же ваша жена удивляется, что ребенок черненький! А каким же ему еще быть при таком отце?!

К сроку Полину не выписали. Началась грудница, а с ней новые операции. Врач соболезнующе говорил: «Тут, как в старой песне: — «Одна заживает, другая нарыивает...» Она у вас терпелива...

Шесть хирургических операций выдержала Полина ради сына.

... Надо было выбрать ему имя, я пришел с предложениями.

— Фимочка сегодня хорошо поел, — сказала Полина.

— Крепко схватил сосок...

— Какой Фимочка? — воскликнул я оторопело, и вдруг почувствовал холодок на спине.

Конечно — Фимочка. Потому Поинка так хотела сына. Только сына.

Она даже представляла его светленьким. Таким, каким был ее расстрелянный брат. Фима.

Все мои предложения, естественно, как ветром выдуло.

Будет жить на земле Фима! Вопреки расизму. Вопреки войнам. Вопреки расстрелам.

ГЛАВА 10.

Но до этого дня еще надо было дожить. Пока что чадил, потрескивал, как факел фашистского шествия, сорок девятый год. Год кровавых auto da fe (что означает, как известно, в переводе с испанского «акт веры»). Год юбилеев, слившихся с auto da fe в нерасторжимом единстве.

Они близились, как близится тяжелый разогнавшийся состав. Все вокруг начинает дрожать. Даже земля.

А мы с Полиной словно бы стоим возле гудящих рельс, и так хочется лечь на землю, чтоб не втянуло под колеса юбилейным вихрем.

Уж не только «Правда», все газеты набухали еврейскими фамилиями, как кровью. Один высокопоставленный погромщик, из писателей, заметил весело: газеты приобрели шолом-алейхемовский колорит...

«Крокодил», тот прямо захлебывался от еврейских имен. Такие, право, смешные.

К юбилеям готовились, как в царское время, к выносу хоругви. Прочищались голоса. Звенели стекла в еврейских домах.

Вначале вынесли, как водится, под величание, малую хоругвь. Бумажный хор тянул в один голос: «Верный сын советского народа. Вы всей своей жизнью и деятельностью показали вдохновляющий пример».

Это — о Лаврентии Бери. Пятидесятилетие «верного сына».

Отпраздновали, и смрад усилился.

Затрещали в юбилейном огне почему-то японские имена. Оказывается, это генералы-отравители, от бактериологии.

Приберегли отравителей — для светлого праздничка. Подобно ядовитым дымовым шашкам, они придали юбилейному смраду резкий отвратительный привкус.

«Чего церемониться с японскими и нашими злодеями, — услышал я в те дни на одном из митингов. — Всех на одну осину.»

Приготовления заканчивались. Ждали выноса Главной Хоругви...

Органы порядка, естественно, были приведены в боевую готовность; наш участковый просто превзошел самого себя.

Он влетел к нам. Без стука. Вернее, постучал, но тут же, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Хотел застать врасплох. И, действительно, застал.

Полина сидела за столом, с карандашом в руках, и листала реферативный журнал «Кемикел абстрактс». Я правил на подоконнике рукопись романа, четыре экземпляра. Вся комната бела от бумаги. Точно в листовках.

Рослый, моложавый, с комсомольским румянцем во всю щеку, участковый спросил меня о прописке. О чем еще мог спросить?

Он давно знал, что я — коренной москвич, прописан по всем правилам (а то бы он с нами разговаривал!) и потому, не слушая меня, шарил и шарил обеспокоенным взглядом по столу, по подоконнику, по полу.

— Сами печатаете на машинке? — спросил он, когда пауза невыносимо затянулась... — Нет? Значит, большие деньги тратите.

Снова помолчали.

— Это же на каком языке книга? — спросил он, шагнув к Полине.

— На английском, — ответила Полина.

— На английском?... Да-а... И читаете? — Почти дружелюбно спросил он. — Как по-нашенски?

— Читаю, — ответила Полина, и вдруг расширившиеся глаза ее блеснули озорством. — Хотите послушать одну страницу. Прекрасная страница.

— Ну, что ж, — озадаченно ответил участковый и присел у двери, по-прежнему озирая стены, углы, а то вдруг приподнимаясь, словно ища тайник.

«Тайник» был за подушкой.

За высокой полининой подушкой с домашней кружевной накидкой стояло несколько красных томиков. Полина купила, когда денег не хватало и на хлеб.

Они были заложены цветными закладками на тех страницах, к которым Полина тянулась, когда антисемитский разлив заплескался у самых ног.

Так, ослабнув, она принимала жень-шень. Корень жизни.

Полина, откинувшись на стуле, достала из-за высокой подушки один из томиков, проложенных закладкой, и стала читать, звонко и предельно отчетливо, так, чтоб каждое слово, как говорят в театрах, отскакивало от зубов.

— «У нас много острили по поводу того, что «Русское знамя» вело себя очень часто, как «Прусское знамя». Шовинизм остается шовинизмом, какой бы национальной марки он не был...» Понятно? — спросила Полина, подняв глаза.

— Н-нет! — честно признался участковый. И, вглядевшись в обложку: — Владимир Ильич?... Это какой том?... Мы этот том еще не проходили.

Полина, помедлив, взяла другой том с закладкой. Это уж нельзя было не понять.

«Ненависть царизма направилась в особенности против евреев. ... Царизм умел отлично использовать гнуснейшие предрассудки самых невежественных слоев населения против евреев, чтобы организовать погромы, если не руководить ими непосредственно...»

Полина, не глядя, раскрыла следующий:

«... Организация черносотенного погрома и избиения

евреев студентов, революционеров, сознательных рабочих все более прогрессирует, совершенствуется...»

«И школа, и печать, и парламентская трибуна — все, все используется для того, чтобы посеять темную, дикую, злобную ненависть к евреям.

За это черное, подлое дело берутся не только отбросы черносотенства, за него берутся и реакционные профессора, ученые, журналисты, депутаты. Миллионы и миллионы рублей тратятся на то, чтобы отравить сознание рабочих...»

«... Ни одна национальность в России так не угнетена и не преследуема, как еврейская... Гонения против евреев приняли в последние годы совершенно невероятные размеры...»

«... евреи осуждены Пуришкевичами на положение хуже негров»...

Полина читала все медленнее, останавливаясь на знаках препинания, словно участковый собирался конспектировать. Я начал испытывать к участковому почти сострадание. Он шаркал хромовыми сапогами с приспущенными гармошкой голенищами, утирал платком, зажав его в кулаке, побагровевшее лицо.

Он был готов ко всему, только не к этому: цитаты из Ленина были для него, как и для нас, почти государственным гимном, который слушают стоя.

Полина подняла на него глаза, и, добрая душа, решила вознаградить его за испытание. Спросила, как гостя:

— Хотите чаю? С вишневым вареньем. У нас вишня без косточек.

Нет-нет! Он мотнул взмокшей головой.

Тогда, что поделать! Полина углубилась в тему: самые простые истины уже были исчерпаны.

«... Национализм великорусский, как и всякий национализм, — она выделила слово «всякий», чтоб лейтенант не чувствовал себя так одиноко, — переживает различные фазы... До 1905 года мы знали национал-реакционеров. После революции у нас появились национал-либералы. А дальше неизбежно появятся и национал-демократы...»

Участковый пропал также внезапно, как и появился. Услышав шорох закрываемой двери, Полина подняла глаза — его уже не было.

Мы не спали до утра. Краснощекий участковый с его детски ошалелыми глазами деревенского парня вызвал мучительные раздумья о том, что прививка «штамма шовинизма» подобна гитлеровским прививкам страшных болезней в лагерях уничтожения. Многие останутся здоровыми?... Мы вспоминали Любку Мухину, «Звильнену Украинну» и понимали, что многое, чем гордились, летит сейчас под откос.

К юбилею.

Грохотание колес близилось.

Бумажный хор достиг апогея. Вынос Главной Хоругви начался.

По свежему снежку прибыл в Москву Председатель Мао Цзе Дун. Газеты поместили снимок; рядом, плечо к плечу, Сталин и Мао, в скромных полувоенных гимнастерках. Сама история земли.

У тех, кто выжил, остались от тех дней словно бы багровые рубцы на теле; струпья на опаленном сердце.

Но как они ни болят, эти рубцы, я вряд ли бы стал оглядываться на огонь юбилейных ауто да фе; пожалуй, отвернулся бы от сорок девятого, как мы отворачиваемся от стыдных дней, если б он не был, говоря высоким языком космонавтики, историческим годом идейной стыковки двух великих кормчих.

— 700 миллионов солдат Сталина, — сказал Мао с юбилейным бокалом в руке, — готовы выполнить его приказ...

Ныне 700 миллионов «солдат Сталина» готовы ринуться на Россию...

Мог ли предвидеть это наш «великий и мудрый»?

... Мао покинул холодную декабрьскую Москву с сердцем, полным сыновней любви к вождю и учителю.

Так он говорил.

Он покинул холодную декабрьскую Москву, когда Хоругвь была поднята так высоко, как никогда раньше; в

синее небо, на аэростате, отливая там, под огнем боевых прожекторов, багровым и голубым.

А шум типографских машин и шелест юбилейно-газетного многостраничья звучали как бы малиновым колокольным звоном.

... Кто из нас думал тогда, во время торжественного выноса Главной Хоругви, что набухший живой кровью, кичливый великорусский, с грузинским акцентом, шовинизм (а никто так не пересаливает, по свидетельству Владимира Ильича, по части истинно-русского настроения, как обрусевшие инородцы), что этот оголтелый помпезный сталинский шовинизм может вернуться из далекой и отсталой крестьянской страны бумерангом. Что он станет, возможно, катализатором бурных и страшных процессов. Страшных и для России... Кто думал тогда об этом?!

Кому могло прийти в голову, что праведный гнев Ильича против российских мракобесов не мешает ему самому стать предтечей сталинского мракобесия, что сегодняшним погромам мы обязаны в известной мере и ему, — подобные мысли могли явиться нашему обманутому поколению разве что в кошмарном сне.

Жизнь еще заставит нас вернуться к этому мучительному парадоксу XX века — наяву.

Но... всему свой час.

«Евреев бьют», «Им хода нет», «Они не в почете»... «Инвалиды пятого пункта», острили порой студенты отделения русской литературы. Не зло острили, даже сочувственно.

«Щиплют вашего брата», вторила им профессор, жена ректора, Галкина-Федорук, добродушно вторила, тут же переходя к темам, куда более волнующим ее. В самом деле, ей чего волноваться?...

Щиплют-то кого?!

Нам с Полиной и в самом деле было плохо, как никогда.

Хотя казалось бы, все шло, как нельзя лучше. Полина защитила кандидатскую диссертацию, и защита прошла на факультете, как праздник.

Я получил поздравительное письмо от главного редактора «Нового мира» Константина Симонова, сообщавшего, что мой роман об Университете будет вскоре напечатан. Симонов уезжал куда-то на полгода и просил меня прийти к его заместителю Кривицкому.

В приемной «Нового мира» сидел на диване незнакомый мне человек, лет сорока, лобастый, плотный, с плечами боксера; рассказывал со спокойной улыбкой о том, как он собирает материалы для романа. «Перешел в другой жанр», — сказал он с шутливыми нотками в голосе.

По тому, как его слушали, стараясь не пропустить ни слова, я понимал, что передо мной человек уважаемый, маститый, видно, широко известный. От него веяло собранностью, доброй силой и, помню, я перестал волноваться, а входил в журнал, робея.

Когда он ушел, я спросил, кто это?

— Борщаговский, Александр Михайлович, — ответили мне.

Борщаговский?! Я вскочил на ноги. Подбежал к окну. Проводил его взглядом. Борщаговский шел по тротуару так же, как говорил, не торопясь, уверенно, как хозяин. А со всех сторон, со всех газетных стендов заголовки, вот уже какой день, кричали, что он — диверсант пера, «Иуда»... «Агент империализма»...

Какой внутренней мощью надо обладать, чтоб сохранять спокойствие, когда на тебя спущены все газетные овчарки страны. Когда каждый стук в дверь может означать, что за тобой пришли. И — работать, как если бы ничего не произошло.

Какая крепость духа и какое бесстрашие!

— С-следующий номер ваш, — объявил веселый заика, деловитый, дергающийся, порывисто-юркий Александр Кривицкий, «Симонов с черного хода», как его прозывали, когда я вошел в просторный, раза в три больше приемной, кабинет главного редактора. — Р-решено.

Естественно, я стал листать следующий номер «Нового мира» прямо у киоска. Он открывался поэмой Николая

Грибачева. Затем была напечатана пьеса «Огненная река» Вадима Кожевникова.

— С-следующий ... уж точно. Слово джентельмена!

А в нем — Анатолий Софронов, главный оратор от Союза писателей на выносе Хоругви. Мертворожденная пьеса «Карьера Бекетова».

— Н-ну, уж зато следующий... вот вам моя рука.

А в нем — пьеса «Зеленая улица». Автор — Анатолий Суров, не выпускавший древко Хоругви даже в состоянии белой горячки.

Теперь даже не верится, что «Новый мир» был для хоругвеносцев домом родным.

Я понял, мне нечего ждать, когда Александр Юльевич Кривицкий, сверкнув своими жизнерадостными выпученными, казалось, годными для кругового обзора, еврейскими глазами, распорядился пьесу неизвестного мне автора о героическом восстании в Варшавском гетто, отправить обратно, не читая.

— Д-даже пусть она г-гениальная, русским людям сейчас н-не до нее.

И бросился с возгласом «С-сереженька!», пиджак вразлет, навстречу новому гостю. Это появился мрачный, квадратнолицый, руки до колен, газетный поэт Сергей Васильев, только что из Союза писателей, где он утром читал нам свою новую поэму «Без кого на Руси жить хорошо», за которую Пуришкевич его просто бы озолотил.

Какая, в самом деле, поэзия! И как тщательно выписан в этой откровенной поэме весь смысл, вся суть устроенной Сталиным резни.

Задержимся несколько на ней. Она заслуживает этого.

Некрасовских крестьян, которые ищут на Руси правды, С. Васильев заменил... евреями-критиками. Тут есть своя черносотенная логика. Что крестьяне — правдоискатели, что евреи — критики — одним миром мазаны. Ищут поганцы! Роют.

Предоставим, однако, слово самому автору «поэтической энциклопедии 49 года», герои которого —

«Сошлись и заспорили:
 Где лучше приспособиться,
 Чтоб легче было пакостить,
 Сподручней клеветать?
 Кому доверить первенство,
 Чтоб мог он всем командовать,
 Кому заглавным быть?»

Один сказал — Юзовскому,
 А может, Борщаговскому? — второй его подсек.
 А может Плотке-Данину?
 Сказали Хольцман с Блейманом...
 Бернштейн за Финкельштейном,
 Черняк за Гоффешефером,
 Б. Кедров за Селектором,
 М. Гельфонд за Б. Руниным,
 За Хольцманом Мунблит,
 Такой бедлам устроили,
 Так нагло распоясались,
 Вольготно этак зажили...»

«Гевалд!» — вопило в таких местах «Русское знамя»,
 пародируя избиваемых «жидочков».

И Сергей Васильев не отстал:

«... за гвалтом, за бесстыдною,
 позорной, вредоносною,
 мышиною возней
 иуды — зубоскальники
 в горячке не заметили...»

Не заметили, что в их дома ворвалась черная сотня с
 криком: «Бей!»

С критиками расправлялись еще круче, чем с учеными.
 Александра Борщаговского выбросили из квартиры, прямо
 на улицу, вышвырнув вещи, выгнали детей, мать. Пусть
 подышают.

За больным, израненным на войне Альтманом, приехал
 «черный ворон».

Остальных обрекли на голод.

И поделом!

Подумать только, на кого руку подняли! На народ...

А вот и сам народ! Представлен в поэме. Весь. От мала до велика. Герои 49 года, по которым критики хотели нанести удары.

«Один удар по Пырьеву,
Другой удар по Сурову...
Бомбежка по Софронову...
По Грибачеву очередь,
По Бубеннову залп!
По Козьмину, Захарову,
По Семушкину Тихону...

Козьмина и Захарова, руководителей русского народного хора имени Пятницкого, привлекли, конечно, для пущей народности. Они к «дружинушке хороброй» не причастны. Затем лишь, чтоб бросали на нее ответ народной культуры. Иначе-то как сойти за народ!...

Остальные, что ж? Остальные тут по праву. Спасибо Сергею Васильеву. Никто не забыт. Ничто не забыто.

Осталось нам теперь, вместе с газетным поэтом, предаться восторгам по поводу того, что все литературные критики перебиты и можно рифмовать уж и так. Безбоязненно.

«... На столбовой дороженьке
советской нашей критики
вдруг сделалось светло.
Вдруг легче задышалось,
Вдруг радостней запелось,
Вдруг пуще захотелось
Работать во весь дух,
Работать по-хорошему,
по-русски, по-стахановски,
по-пушкински, по-репински,
по-ленински, по-сталински
без усталости, с огнем...»

Работал Сергей Васильев по-сталински. Это уж точно. Потому и старался. Без усталости. С огнем.

В чем можно было теперь обманываться? Когда все так разжевано. Даже самый тупой первокурсник обращался с заушной «проработочной» статьей, как с капустным кочаном, быстро добираясь до кочерыжки, до основы, смысл которой всегда оставался неизменным:

«Бей жидов!».

А уж на самой кухне какой дух стоял! Главный редактор «Литературки» профессор Ермилов, подписав в 49 году газетную полосу с очередным антисемитским материалом, обронил с циничной усмешкой: «маразм крепчал»...

Крепчал, естественно, не сам по себе. Его нагнетали. Деловито.

А по вечерам, скажем, в той же газете выступал самодеятельный «Ансамбль верстки и правки», который издевался над всем тем, что делалось днем. Порой самими же.

Упитанная журналистка, игравшая «борца с космополитами», помню, с театральной пафосом уличала даму-критикессу с еврейским профилем:

«Она не наша.

Я — наша!

Ей — не место.

Мне — место!»

Следующим номером критик в весе «из мухи слона» нокаутировал критика «в весе пера», и рефери, склонившись над поверженным, считал:

«Год молчит, два молчит, три молчит, нокаут...»

В другой редакции мне исполнили, смеясь, самоновейшую песенку, глубокий смысл которой заключался в трех последних строках:

«... Ты себе на носу заруби,

Нельзя продаваться за доллары,

Но можно — за рубли!»

Смеясь, убивали. Глумясь, выбрасывали на улицу. Лишь хоронили тихо. По традиции.

Гроссмана, Юзовского, Гурвича, Альтмана, Звавича, — кто постарше, позначительнее, — топтали насмерть, полистаешь теперь пожелтевшие газеты, увидишь заголовок: «Ренегаты!», оторопь берет.

Молодым давали под дых. Спокойнее. Чтоб знали свое место.

Я был, из прозаиков, самым безусым. Даже не членом Союза писателей. Меня просто отшвырнули пинком; как котенка, попавшего под ноги.

О сорок девятом сейчас говорят — средневековье.

Обижают средневековье.

К примеру, в 1388 году трокским и брестским евреям была жалована княжеская грамота, в которой было сказано, что *коли вина против евреев не доказана, то обличитель подвергается наказанию, которое грозило еврею.*

Представляю себе, что случилось бы с тем же Сергеем Васильевым, если бы его призвали к ответу по правилам 1388 года...

Кошмарное средневековье!

... Канул в лету год сорок девятый, юбилейный, жирно отпировавший на костях русских евреев, как некогда татарские ханы пировали на костях связанных россиян.

Минул пятидесятый, обновивший устами Сталина старинное русское понятие «аракчеевский режим».

Начался пятьдесят первый...

Меня снова поздравили, на этот раз телеграммой от Федора Панферова, главного редактора «Октября». Скоро напечатаем! Скоро!

Полине торжественно вручили диплом кандидата химических наук в толстом коленкоре с золотым тиснением, но почему-то не дали назначения на работу. Ни в институт, ни на завод, хотя на столе председателя распределительной комиссии лежала стопа заявок на химиков-органиков.

Устраивайтесь, как хотите!...

Академик Борис Александрович Казанский вскоре сказал Полине (Полине Ионовне, как он назвал ее впервые, улыбаясь), чтоб она отправилась на Калужскую в Институт

горючих ископаемых, где очень нужен научный сотрудник. Обо всем договорено.

В академическом институте Полину встретила немногословная средних лет женщина в стареньком халате. Заведующая лабораторией. Руки желтые от реактивов. Сжала полинины пальцы сильно, по-мужски. По всему видно, не бездельница; из академических женщин-работяг, которые издревле в тени Российской академии, гордой своими мужчинами.

Круглое, уставшее, как почти у всех женщин после войны, лицо коренной русачки, казачки выразило неподдельную радость.

Ей так нужен помощник. Так нужен!...

Как хорошо, что университетчик, из школы Казанского. Повезло!...

Она сама сходила в отдел кадров, взяла анкеты. Полина тут же заполнила их, и зав.лабораторией, отложив анкеты («Это потом, формальности...»), показала Полине ее рабочий стол, вытяжной шкаф, «тягу», познакомила с двумя лаборантками, которые, наконец, дождались своего научного руководителя...

— Выходите через три дня, — сказала она на прощанье. — Нет, не звоните. Приезжайте работать.

Через три дня она сказала Полине с искренним удивлением:

— Знаете, вас почему-то не пропускают кадровики.

И, видя огорченное полинино лицо, сказала, чтоб та оставила свои координаты. «Я попробую...»

Через полтора года, действительно, пришла взволнованная открытка: «Я добилась!».

Но Полина уже лежала в клинике Склифосовского...

В другом академическом институте Полину принимал лощеный, с иголочки одетый заместитель директора, этакий «аглицкий лорд», один из тех, для которых научная лаборатория нечто вроде кухни — если заглянет, то мимоходом, — и которых сейчас в науке расплодилось, хоть пруд пруди. Он был сама любезность. Не говорил, а пел:

— Рекомендация кафедры академика Зелинского, письмо академика Казанского — это для нас гарантия, самая верная, безусловная, прекрасная. Школа Зелинского — гордость отечественной химии... Можете не сомневаться, что...

Столь же песенно-любезен он был через неделю:

— К сожалению, вы опоздали. Они уже взяли человека. Такая досада! — и в его бесстыже вылупленных глазах засветилось почти искреннее участие.

В следующем институте заместитель директора не выдержал взятого тона, и в глазах его, на мгновение, не более, появилось выражение разнесчастного лакея, которого выставили в переднюю врат, что барина нет дома, а барин тут, и все о том знают.

Как любезны, как предупредительны, как изысканно одеты были эти респектабельные убийцы, которые, конечно же! пришли бы в законную ярость, назови их кто убийцами, и которые со своей неизменно-предупредительной улыбкой, едва заметным тренированным движением плеча, подталкивали Полину к пропасти.

Академик Казанский был смущен донельзя. Когда он видел Полину, на его лице появлялось чувство неловкости. У Полины даже возникло ощущение, что он стал ее избегать.

А напрасно. Просто у академика Казанского было много других дел.

Они принимали бой с открытым забралом, старые университетские ученые.

Порой они единоборствовали, чаще шли плечо к плечу.

Когда академик Казанский увидел, в свое время, что не в силах отстоять Полину, он дал прочитать ее дипломную работу академику Несмеянову, и тот вскоре позвонил в Министерство высшего образования, чтоб перестали дурить.

Когда Несмеянов не смог защитить талантливого химика Льва Бергельсона, сына расстрелянного еврейского писателя Бергельсона, и того обрекли на голодную смерть, на помощь пришел академик Назаров.

Академик Иван Николаевич Назаров, который в те дни получил Сталинскую премию 1 степени за «клей Назарова» и был в зените славы и почестей, брал на свое имя переводческую работу. Лев Бергельсон переводил. Академик Назаров получал по почте деньги и отдавал их Бергельсону. Не было человека, который бы не знал этого, и на имя Назарова шел поток всяческой работы.

Они защищали не евреев. Они никогда не делили людей на брюнетов и блондинов. Они грудью обороняли своих талантливых учеников; так мать защищает своего ребенка и, если надо, примет пулю за него.

Пожалуй, лишь из чувства протеста, когда их обвиняли в «потворстве евреям», они могли бросить с гневным возовом, во всеуслышание, как академик Владимир Михайлович Родионов, человек необыкновенной прямоты и мужества: «Русская интеллигенция всегда прятала евреев от погромов. Я считаю себя русским интеллигентом»...

... А пулю в те дни можно было схлопотать запросто.

«Черный ворон» только что увез академика Баландина, одного из самых выдающихся химиков страны.

Один за другим пропадали наши товарищи по университету, среди них и Гена Файбусович.

В университете шепотом называли имена «ученых»-опричников, которым достаточно было снять телефонную трубку, чтоб человек пропал: доносы не проверялись.

Доносы обрели силу.

Доносы были, для пишущих их, индульгенциями.

Почему же они оставались со многими из нас так необъяснимо откровенными, незащищенно-открытыми, наши старые профессора, которые на собраниях и ученых советах сидели порой мрачно-неподвижно, как рыцари в тяжелых доспехах?

Конечно, какой рыцарь не мечтает хоть на час скинуть опостылевшие защитные доспехи и вздохнуть по-человечески.

Но главное было в другом. Они оберегали нас и надеялись на нас. На что им еще было надеяться?...

— ... Работайте. Не отвлекайтесь... — повторял Казанский Полине. — Они меня не научат...

— ... Отделяйте, отделяйте, Гриша, пшеницу от плевел! — не уставал говорить академик Гудзий... — Чтоб не застили глаза.

— Саади сказал, в дерево без плодов камней не бросают, — виновато глядя на нас с Полиной добрыми голубыми глазами, утешал сутулый, задерганный, всегда небритый профессор-языковед Петр Степанович Кузнецов и, по своему обыкновению, порывисто тер ладонью свой лоснящийся пиджак («сучил ручкой», смеялись студенты), и мы, чтоб только не видеть этого неуверенно-нервного жеста, порывисто кидались пожимать ему руку.

Они не были ни в чем виноваты, наши старые профессора, а чувствовали себя виноватыми, испытывая жгучий стыд за то, что творилось дома...

Академик Казанский обзвонил все и вся и, в конце концов, нашел Полине работу. Сообщил ей, чтобы немедля ехала в Ветеринарную академию. Там днем с огнем ищут хорошего химика-органика.

То была воистину веселая неудача. Две академии наук, Большая и Ветеринарная, Университет — сотни людей смеялись, рассказывая эту историю.

Ах, как всем было смешно!...

Полина была измучена вконец. Отправляясь к академикам-ветеринарам, она надела свое единственное выходное платье. Голубое, воздушное. Чтоб не выглядеть нищим заморышем.

Полину провели в институт, где в те дни получили сыворотку из лошадиной мочи, помогавшей, как считали, от многих болезней. Даже от рака.

Одна беда, сыворотку получили, а строение ее не знали. В чем ее сила?

Ждали химика. Ждали, как манны небесной.

Очередная панацея от всех бед вызвала такой приток страждущих, что институт жил, как в осаде. На территорию лаборатории не пускали никого.

Идет химик! — это прозвучало, как пароль; у Полины не спросили даже паспорта. — Идет химик!...

Невысокий, плотный, лысоватый профессор обрадованно поднялся навстречу Полине, показал ей комнаты, которые он выделил для химической лаборатории, повел знакомить с сотрудниками, а затем попросил написать заявку на реактивы. «Достанем все, что надо. Выходите завтра, Полина Иооновна... С утра...»

Когда Полина, сидя за столом профессора, писала заявку, в комнату влетела молодая женщина в черном бархатном платье. Полина заметила ее еще тогда, когда знакомилась с сотрудниками. Все были в белых халатах, а та почему-то в вечернем платье. Наверное, сразу после работы в театр, подумала Полина.

Не обращая внимания ни на Полину, ни на полковника, который пришел на прием к профессору, женщина в бархате крикнула гневно:

— Почему ты остановил свой выбор на этой девчонке?! Что она сумеет тебе сделать?!

Профессор оборвал ее, выпроводил.

Полина, уйдя от профессора и встретив в коридоре знакомого, сказала в полной растерянности, что ее, наверное, не возьмут. Ворвалась какая-то дама...

— В черном платье?! — перебил знакомый, и начал тряситься от хохота. — Так вы бы ей сказали, что у вас есть муж, и вы не собираетесь его менять... — И он от хохота даже на корточки присел.

И, действительно, не взяли Полину. Утром из окошка бюро пропусков высунулась голова и заявила, что пропуска на нее нет. «И, сказывали, не будет...»

Смеялись две академии, полуниверситета, а в академическом санатории целую неделю только этим и жили: смех хорошо лечит.

Лишь нам с Полиной было не смешно.

Деньги кончились. Я получал студенческую стипендию, по нынешнему счету — 24 рубля, а врачи, приезжавшие к Полине, других слов будто и не знали: «питание, питание...»

Я старался подработать, где мог. Вел занятия в литкружке. Отредактировал, а точнее, начисто переписал полковничьи мемуары. Приносил в Совинформбюро очерки о военных годах, которые печатались, как мне объявили, в газетах Южной Америки, пока однажды интеллигентная старушка-редактор не сказала мне, потупясь, что новым руководством Совинформбюро я из списков авторов почему-то вычеркнут.

Жили в долг. Раз в неделю ходили за костями. Их продавали в палатке, у Мясокомбината. Стояли у палатки подолгу, не меньше двух часов.

Место ветренное. Зимой так свистело, что очередь нетнет, и оглядит друг друга: не поморозился ли кто?

Мы набивали костями большую сумку, вешали ее за окно. Там был наш холодильник.

Хватало на целую неделю. Все же не пустой суп.

Как-то Полина простояла полдня. Впереди, размахивая руками, топчась, грелся рабочий в расплывшемся от кислотных брызг ватнике.

Подошла женщина в роговых очках и спросила, какие кости привезут, свиные или говяжьи?

Кто-то ответил, — наверное, говяжьи...

Она ушла, и рабочий в ватнике, повернувшись к Полине, сказал всердцах: — Евреи, им подавай на выбор. А мы хоть какие возьмем. Верно? ... Притоптывая и оглядев белое лицо Полины, забеспокоился: — Совсем охолонила, девчонка. Возьми мои варежки. Душа согреется.

Каждое утро Полина уходила на поиски работы. Проматривала объявления в газетах, на улицах, у входа на предприятия. Время от времени звонили университетчики, сообщали, где нужны химики.

Полина объехала все большие химические заводы — Даргомиловский, Дербеньевский, Карповский, на котором работала в войну. Не брали никуда.

Уже не спрашивала, где работать, что делать, какая зарплата — лишь бы не умереть.

Как-то ей позвонили из Университетского комитета ком-

сомола, сказали, что она выделена на ответственное дежурство. Следить за порядком возле райкома партии. На праздники.

Полина явилась в райком, протянула бумагу из Университета. Инструктор райкома взглянул на документ и... выругался.

— Какую дрянь вы привели с собой?! — вознегодовал он... — На ответственное дежурство. У райкома.

— Дрянь?...

На сопроводительном документе были напечатаны фамилии двух комсомолок. Полины и вторая — Фридман. Инструктор ткнул пальцем в фамилию «Фридман».

— Сами не видите, какую дрянь?!

Полина полдня продежурила, глотая слезы, у райкома партии, закоченев от северного ветра и не решаясь сказать синей от холода, как и она, подружке, как их тут встретили.

Это, возможно, трудно понять современной молодежи. Почему не ушла? Не увела подругу? Боялась?... Нет, ее воспитала война. Гады гадами, а дисциплина дисциплиной...

В то утро дома не было даже хлеба.

Я запомнил весь этот день потому, что вечером, после полининного дежурства, мы встретились у ее дяди, где на праздники готовилось, по священным традициям военных лет, ведро винегрета, для всех родичей, и я заплакал, глядя, как замерзшая Полина ждала, когда ей положат на тарелку этот винегрет, привычно, по-сиротски, держа руки на коленях.

У родного дяди она — сирота.

У райкома партии — сирота.

У отдела кадров... Какое-то закоренелое сиротство.

Палец о палец не ударят, пусть подышает.

Родной дядя, родной комсомол, родные кадровики...

Я считал дни до выхода журнала со своим романом о студентах — хоть не будем с голодухи в кулак свистеть.

Однако, когда журнал вышел, денег хватило лишь ра-

сплатиться с долгами. Да на валенки маме, чтоб не простыла в очереди за костями.

Как бы ни горело мое лицо от стыда, я обязан вспомнить о своем давнем студенческом романе. Я не имею права обойти его молчанием: это было бы бесстыдством.

— Ты, Гриша, сапером, часом, не служил? — отечески укоризненно попенял мне главный редактор «Октября», сумрачный Федор Панферов. — Чуть журнал в воздух не поднял... к чертям собачьим... Ты представляешь, как бы грохнуло, если б на белых страничках «Октября» появился твой роман о студентах-языковедах, в которых полностью игнорируются недавние открытия Сталина в языкознании?... Знаю-знаю, ты не со зла! — успокоил он меня. — У тебя... это... алиби: ты писал книгу еще до сталинской дискуссии в языкознании. А у журнала-то не будет алиби... Чаю хочешь?

Принесли ароматного чая. Я был обескуражен и, вместе с тем, горд тем, что Федор Панферов говорит со мной столь доверительно. И даже чаем потчует... Я уважал Федора Панферова за то, что каждый год, рискуя, может быть, жизнью, бомбардирует Сталина письмами о трагическом разоре заволжских, да и не только заволжских, колхозов; о крестьянских детях, которые от рождения не видали сахара.

Он был верным сыном своей земли, Федор Панферов, и готов был костями лечь, но помочь родной деревне.

Костями не лег, но, случилось, с горя попивал...

Я глядел на болезненное серо-желтое и, вместе с тем, сильное лицо Федора Ивановича и, помню, не испытывал страха, нет! Мне было стыдно. Более того, я чувствовал себя выбитым из колеи. Перестал верить в самого себя...

Раз он из всех наук, из тьмы-тьмущей государственных дел, выбрал лингвистов, значит, это и есть самое главное. Стремнина идейной жизни страны...

А я в те же самые дни слушал лекции Галкиной-Федорук, и у меня даже мысли не появлялось, что, скажем, ее язык

ковый курс может иметь хоть какой-то общественный интерес.

Мой приятель записывал «галкинизмы», языковые перлы добродушной Евдокии Михайловны, над которыми похихатывал весь курс.

Какой же я писатель, если я не смог постичь самого существенного?! Типичного! За деревьями не увидел леса. Увлеченно кропал что-то о молодежном эгоизме, о мелко-травчатых комсомольских пустозвонах, которые суетятся среди молодежи, влияя на нее не больше, чем лунные приливы и отливы...

Это все равно, что оказаться в эпицентре землетрясения, и даже не заметить колебания почвы!...

Если слеп и глух, то в литературе мне делать нечего!...

... Лишь спустя год — полтора, непрерывно подбадриваемый искренно желавшим мне добра Федором Панферовым, я нашел в себе силы вновь сесть за свой подоконник — письменный стол и... самоотверженно захламил книгу далекими от меня газетно-языковедческими «марристскими» проблемами, в жизненной необходимости которых для страны и не сомневался...

И, тем самым, поделом мне! превратил свою выстрадавшую студенческую книгу в прах.

... И вот ныне, пристально вглядываясь в прошедшее, задаю себе горький вопрос; я, молодой тогда писатель, «интеллектуал», каким убежденно считал меня Федор Панферов, многим ли я отличался в те кровавые дни *по глубине и самостоятельности политического мышления* от немудрящего деревенского парня — участкового, который в тревоге подглядывал за мной и Полиной, опасаясь, как бы мы чего-нибудь не натворили? Ведь в «Правде» было указание о гурвичих-альтманах! и т.д. и т.п. и пр.

Идти до самого конца по дороге правды, случается, страшно. Но уж взявшись за гуж...

Многим ли отличался я, допустим, от тех рядовых солдат внутренних войск, с автоматами в руках, которые выселяли из Крыма татар — стариков, женщин, детишек?...

Им объявили, парнишкам в военной форме, что это приказ Сталина. Что все крымские татары — предатели. До грудных детей включительно.

И солдаты, как и я, восприняли слова Сталина дисциплинированно-бездумно, слепо, с каменным убеждением в его, а значит и в своей, правоте...

Раз он сказал...

Чем отличался тогда я от них, прости Господи, *писатель-интеллектуал?! Тем лишь, может быть, что, будь я на их месте, возможно, не вынес бы этой чудовищной расправы над детьми...*

... В свирепо ругавшейся, злой на проклятую жизнь очереди за костями и настигло меня приглашение явиться в Союз советских писателей СССР. Я почти заслуживал, как увидим сейчас, такой чести, хотя в тот день, естественно, и не подозревал о подлинных причинах вызова и горделиво думал совсем об ином...

То было мое первое официальное приглашение в Союз писателей, имена Секретарей Союза были широко известны и восславлены, и Полина прибежала, запыхавшись; может быть, этот звонок, наконец, изменит нашу судьбу?

Кто именно возжаждал меня увидеть — не знаю до сих пор. В накуренном кабинете собрались почти все руководители Союза писателей. Александр Фадеев. Федор Панферов. Борис Горбатов. Леонид Соболев. Какие-то генералы.

Генералы ушли. Борис Горбатов отсел к окну. Потом встал и нервно заходил по комнате. Взад — вперед. Взад — вперед.

Перед Александром Фадеевым, вальяжно развалившимся в кресле, лежали папки. Одна из них оказалась моим личным делом. Он тяжело поднялся мне навстречу, пожал руку, как старому товарищу. Сообщил мое имя кому-то, ждавшему согбенно с бумагами в руках. и тот, уходя, оглядел меня загоревшимися глазами, как заезжую кинодиву или гимназиста Гаврилу Принципа, которого сегодня еще никто не знает, но завтра, когда он выстрелит в кронпринца...

Секретарь сразу перешел на «ты».

— Рад приветствовать тебя, друг. Мы на этой неделе принимаем тебя в Союз писателей. Рад?... То-то... Нам нужны такие как ты, фронтовики. С характером... Прием твой — дело решенное. Мы давно ждем таких, как ты. Тех, кто идет в литературу с поля брани. Как и мы пришли в свое время. Кто видел смерть, спуску не даст... Квартира есть?... Выделим. В издательстве роман еще не вышел?... Только в «Октябре»? Ускорим...

Он помолчал, погладил свои седые височки, тронул серебристый ежик, словно застеснялся чего-то; наконец, произнес с напором и теми взволнованными модуляциями, с которыми порой врали Полине в академических институтах.

— Вот что, друг, хотелось бы, чтобы ты громко, знаешь, во всеуслышанье, всенародно заявил о своей подлинной партийности. Так, знаешь, хватъ кулаком по столу. Человек пришел!... Солдат! Чтоб, как писал поэт, врассыпную разбежался Коган, встреченных увеча пиками усов... — Он улыбнулся, вынул из стола листочек... — На той неделе обсуждение романа Василия Гроссмана «За правое дело». С прессой знаком?... — Он раскрыл папку с вырезками, которая лежала под рукой. Полистал, читая заголовки: «На ложном пути»... — И со значением: — Ре-дакционная... Вот еще — «о романе Гроссмана «За правое дело». В том же духе. Вот... Ч-черт! — вдруг выругался он. — И тут халтура.

Я мельком взглянул на заголовок вырезки, видно, попавшей не в ту папку: «Что такое 'Джойнт'»?

Он залистал далее, нервно залистал, перебрасывая сразу по несколько вырезок; закрыв папку, кинул ее в ящик стола. А мне протянул страничку.

— Тут набросаны тезисы. «Извращение темы, односторонность освещения...» В общем, подумай над ними. Важно, чтоб их изложил такой парень, как ты, понимаешь. Молодой. Не погрязший в склоках. Фронтовик, орденосец.

— И курчавый брюнет, — сказал я, плотно сжав свои африканские губы.

Он почему-то покосился на Бориса Горбатова, затем поершил свой седой ежик, глядя мне в лицо и говоря со мною — ошупью, напряженно, — но уже как с единомышленником.

— Рад, что понятлив. Посуди сам. Зачем нам ненужные обвинения в антисемитизме. Тут же дело не в этом. Пусть правду о Василии Гроссмানে скажет не только Аркадий Первенцев, или Михаил Бубеннов, — они-то скажут! — но и Григорий Свирский. Как равный.

Я поднялся рывком и поблагодарил всемирно прославленного писателя за то, что тот, еще не познакомясь со мной, заранее считал меня равным Аркадию Первенцеву. И даже самому Михаилу Бубеннову, умудрившемуся и в те годы схлопотать выговор за антисемитизм; правда, после нашумевшей в Москве пьяной драки с драмателем Суровым, которому он, стыдно писать, вонзил вилку пониже спины.

В Союз писателей СССР меня, естественно, больше не вызывали. Много-много лет...

Разумеется, погрома в литературе это не остановило. Свято место пусто не бывает. Был подыскан другой кандидат, близкий мне... по анкетным данным. И еврей, и участник войны, и молодой писатель. Все, что требовалось...

Я заметил его тогда же, в приемной. Тщедушный, быстроглазый, похожий на хорька, он почтительно разговаривал, с папкой в руках, с самим Анатолием Софроновым, а затем кинулся к двери первого Секретаря, словно к площадке отходившего вагона...

Нет, он не опоздал, этот никому не ведомый тогда суетливый паренек в ярких заграничных носочках.

Спустя два дня его имя уже знали все. Не только участники «проработочного пленума» Союза писателей, жарко аплодировавшие страстному обличителю Василия Гроссмана. Вся читающая Россия.

Взошла звезда Александра Чаковского.

Желтая звезда... в красной каемочке полезного еврея.

... Полина по моим поджатым губам поняла, что офи-

циальный прием у секретаря изменений в нашу жизнь не внесет. По крайней мере, добрых...

А недобрых? Хуже уж некуда.

Хуже разве Ингулецкий карьер. Да газовые печи.

Но в это мы не верили. Не хотели верить...

Полина молча оделась, чтобы идти на поиски работы. Вот уже полтора года она подымается рано утром, как на службу. И идет в никуда. За глумливым отказом. За очередным оскорблением... «Хождение за оскорблением», так назывались ее поиски.

Всюду были нужны химики. И всюду ей плевали в лицо. Полина обошла уже, кажется, не только все институты и заводы, но все кустарные мастерские и артели, где на ее диплом кандидата химических наук в дермантиновой, с золотым тиснением, обложке, смотрели, как на корону.

Но зачем артели корона?

В конце концов, Полина запрятала кандидатский диплом подальше в шкаф, и попыталась наняться рядовым инженером. Хотя бы на ртутное производство, одно из самых вредных... Туда-то возьмут?!

В заводском отделе кадров ее паспорт только что не нюхали. Трое человек заходили в комнату. Оглядывали Полину с ног до головы. Уходили с таинственным видом; куда-то звонили.

Очень она была им нужна и... не решались взять. А что в самом деле, подбросит в ртутный цех бомбу? А?!

У Полины в тот вечер был такой потерянный вид, что на другой день я не решился ее отпустить одну. Пошел с ней...

В метро мы встретили знакомого подполковника, журналиста, кандидата наук. Он брел по улице в кургузом штатском пальто, одна пола выше другой.

Оказалось, его выгнали, по вздорному обвинению, из армии, и только что в горьком партии предложили работать... киоскером, продавцом газет.

— Чего вы возмущаетесь, — закричала на него инструктор отдела печати. — Ваша нация всегда торговала.

Грешен, не поверил я подполковнику, что в горкоме лепят уже открытым текстом.

Мои открытия были еще впереди...

Мы приехали с Полиной на окраину города, в Институт, о котором известный химик, академик Шемякин, сказал Полине, что это не институт, а кот в мешке.

С академиком Шемякиным Полину познакомил, естественно, Борис Александрович Казанский, и Шемякин был раздосадован тем, что посылает ученицу Казанского неведомо куда...

— Не исключено, что это не институт, а помойная яма. Ни одного серьезного ученого, — предупредил он.

— Я согласна, — быстро ответила Полина.

— Возможно, повышенной вредности. Быстро станете инвалидом...

— Я согласна!

И вот мы идем с Полиной по старинному кварталу. Я требую от Полины слова, что, если, действительно, очень вредно, она откажется... Не с ее здоровьем туда...

Она молчит, стиснув зубы.

Смеркалось. Впереди сверкнул багровыми окнами какой-то дворец. Легкие колонны. Как гренадеры на параде. По другую сторону — десятки выстроенных шеренгой автомашин, черных и зеленых. Даже деревья, напротив дворца, острижены наголо и выравнены, как новобранцы. На сверкнувшей от закатного солнца вывеске какая-то надпись золотом.

Полина замедлила шаг.

— Зря идем. На этот парад меня не возьмут. Ни за что...

У меня сердце упало.

Еще не отказали, а уж ноги не идут. Сиротство.

Подожли ближе, прочитали табличку: «Бронетанковая академия имени Сталина».

Постояли убито. Уж коли в артелях отказывают...

Полина вдруг вскричала возбужденно, что это совсем не тот дом. Посмотри-ка номер!

— Счастье какое!—

И потащила меня дальше. Прочь от дворцовых колонн.

Блуждали долго. В каких-то подворотнях. Бараках. Не сразу отыскивали нужный дом. Издали он показался нам не то гаражом, не то конюшней. Облупленный, казарменного типа. Врос в землю! Никаких вывесок.

— Совсем другое дело, — сказала Полина бодро.

В подъезде нас остановил солдат с автоматом, вызвавший звонком офицера.

Полине выписали пропуск, а меня вытолкали на улицу.

Полина появилась в дверях часа через два, бросилась ко мне, не глядя по сторонам, чуть под трамвай не угодила. Глаза сияют, как в день свадьбы.

Издали крикнула:

— Может быть, возьмут!

Трамвай прогрохотал, еще один звонит нам. Мы стоим по разные стороны пути.

— А вредность? — крикнул я.

— Не спросила!

Снова лязг трамвайных колес.

— А паспорт видели?...

Трамвай прогремел, она бросилась ко мне.

— У нас, говорят, дело, у нас на пункты не смотрят...

И в самом деле, взяли Полину. Правда не тотчас. А спустя полгода, когда Полина, исписав ворох анкет, прошла какое-то особо строгое засекречивание.

Мы до последней минуты не верили в успех. Как же так? Отшвырнули от всех московских ВУЗов, даже самых плохоньких, куда, в другое время, Полина бы и носа не показала. От всех заводов, от всех артелей, даже самых поганных. От какой-то копилки на железных колесах, варившей на рынке ваксу.

И... поставили у самых больших военных секретов, от которых зависит, быть или не быть советской стране.

У таких глубинных секретов, о которых Полина даже мне никогда не рассказывала, как я ей, сгорая от любопытства, ни намекал.

... О, Россия! Боль моя! Задурили тебя до умопомрачения.

... Когда Полина вышла из института, она не знала ни его названия, ни фамилий высоких начальников, с которыми только что беседовала, и уже через полчаса встреча, которую ей там оказали, вспоминалась, как сон.

Через неделю она вдруг спросила меня, а правда ли, что мы были в... том институте?

И, в конце концов, снова отправилась на поиски работы. Пока засекут, роса очи выест.

Неподалеку от нашего дома высылось химическое предприятие. Оно травило всю округу хлором. Летом нельзя было окна открыть. Иногда этот «хлорный смог» был столь туманно-густ, что машины зажигали фары, а трамваи беспрестанно трезвонили.

— Сходим, — сказала Полина, тяжело вздохнув. Кандидатский диплом, по обыкновению, оставила дома. Хотя бы в цех взяли...

Начальник отдела кадров — пожилая боевитая женщина в зеленой вохровской гимнастерке и с портупеей, ни дать ни взять, героиня гражданской войны.

Она долго говорила по телефону о каких-то похоронах: присев у двери, я почему-то вспомнил, как в двадцатых годах, в нашем доме хоронили участника гражданской войны. На гробу лежала именная шапка.

«А что, по справедливости, класть на гроб начальнице отдела кадров? Обложку паспорта? Бутафорский, из папье-маше, пятый пункт?

Конечно, это же ее личное оружие. Что бы она делала без него...»

Зав. кадрами взглянула на Полину и произнесла обрадованно:

— Ой, очень нужны химики! Позарез! У нас такая текучесть! Натя анкеты. Садитесь сюда, тут удобнее.

Ее взгляд остановился на мне, и она воскликнула вдруг отрывисто резким голосом патрульного, который задерживает подозрительных:

— Паспорт!

Так мне кричали когда-то в Белоруссии: «Хальт!»

Конечно, это и было тем самым «Хальт!». И ничем иным.

Бросив взгляд на паспорт и уже не предлагая анкет, она сказала усталым голосом, чтоб мы позвонили через неделю — другую...

Я увидел, у Полины сжимаются кулаки. Шагнув к зав. кадрами, она произнесла сдавленным голосом, с яростью, которой я еще не знал в ней:

— Тогда надо иначе писать объявление! Так, как в газете «Русское знамя»! Без лжи! «Нужны химики, кроме евреев!» Чтобы ваше вонючее предприятие мы обходили стороной... Потому и травите нас хлором... форточку нельзя открыть, что у вас нет специалистов. Не доросли вы еще до порядков кремлевской больницы: «полы паркетные, врачи анкетные...» Вам хоть как-нибудь... свести концы с концами. А вы туда же?!

Полина замолчала и произнесла вдруг с болью и испугавшим меня отчаянием, которое долго звучало в моих ушах.

— Все мои несчастья начались, когда Советская армия оставила Кривой Рог. Я все думаю, взяла его обратно... советская армия, если вы тут сидите?! — Круто повернулась ко мне, губы ее дрожали. — Взяла?! Если взяла, то тогда почему остались полицаи? Почему их не судят? Куда ни зайду — Любка Мухина!



Учительница широковской средней школы *Любка Мухина*, выдавшая гитлеровцам четырнадцатилетнего брата *Полины Фиму*, своего ученика, и *Фиму* расстреляли, вместе с родителями, в Ингулецком карьере (возле Кривого Рога).

ЧАСТЬ III

С ВЫСОТЫ ИНГУЛЕЦКОГО КАРЬЕРА

«Рейхсфюрер СС
личный штаб
1943 г.

Секретный документ
государственной важности
Инспектору по статистике партийгеноссе КОЕРРУ.
*Рейхсфюреру СС угодно, чтобы нигде не
говорилось об особом обращении с евреями.*
Оберштурмбанфюрер...»

«Если я не буду гореть,
Если ты не будешь гореть,
Если мы не будем гореть,
Кто же тогда развеет мрак.»

Назым Хикмет

ГЛАВА 1.

Нигде так не властвуют приметы, как у доски объявлений родильного дома, где толпятся истомленные, озабоченные бабушки. На доске — бумажные кружочки. Зеленый — родился мальчик, голубой — девочка.

«Мальчиков больше — к войне», тревожится одна. «Пеленки не подрубайте — примета плохая», — деловито советует другая.

У истоков новой жизни толпятся, кипят приметы, пред-
рассудки.

— Муж у вас, небось, не русский, — дружелюбно говорит нянечка, передавая Полине туго завернутого орущего сына для кормления. — Армянин какой, аль яврей...

— Яврей, — в тон ей отвечает Полина, счастливо улыбаясь и протягивая руки навстречу сыну. — А что?

— Дак сама беленькая, а ребятеночек, как жучок... Надьсь одна бабенка китайчика родила. Желтенький весь такой китайчик, как молоко топленое. Муж к ей пришел — курносый парень, вологодский, сама вологодская, а сын ... китайчик. Во дела!...

А у тебя, значит, яврей. — И вздохнула трудно, сочувственно, мол, намаешься ты, доченька, с этими своими явреями. Но не сказала больше ни слова...

Осенью 1954 года взрослые стали сдержаннее. Укоро-

тили языки и те, кто год-полтора назад выплескивали лекарства в лица врачам-евреям.

Однако дети...

Мы жили теперь у моей мамы, в десятиметровой узкой комнатушке: родился Фима, и нам перестали сдавать комнаты.

Деревянную чешскую кровать сына приткнули у самого окна, больше некуда; форточку не откроешь, и по ночам мы просыпались от удушья, словно наша семья оказалась на подводной лодке, которая давно уже лежит на грунте и никак не может всплыть.

Под нашим окном играют дети.

Дом у нас рабочий. Напротив завод «Шарикоподшипник», на котором до войны слесарил отец. Завод — наш, родной, гордость пятилеток, на болоте вырос. Чуть поодаль — «Динамо» и Автозавод имени Сталина.

И дети, которые играют под окнами, понятно, не купеческие...

Я знаю их родителей, с некоторыми учился в одном классе.

Перемазанные в песке и глине, дети отгораживают в углу двора «Цимлянское море». Снуют игрушечные самосвалы, подвозя землю для насыпи. Двое мальчиков несут за ручки дырявый таз с водой для моря.

— Пускают! Пускают Волгу! — самозабвенно кричит худенькая девочка-татарка, вытирая ладошки о заштопанное на локтях платье. Ее узкие глазенки сияют: — Куда льете? Сюда!... Ура-а!...

Дети называют стройку по-свойски — «Цимлой», и вспоминают о таких подробностях стройки, о которых многие из нас уже забыли.

И неудивительно. Я помню, как они учились читать. Самые крупные буквы, окружающие их, буквы газетных заголовков, слагались в те дни в слова «Волго-Дон», «Цимла», канал, шагающий экскаватор. Заголовки космополитической и других кампаний были им, к счастью, еще непонятны...

Дети вступали в сознательную жизнь, и вместе с ними,

из года в год, из месяца в месяц, вступали в жизнь большие стройки.

Славные попутчики детства!

Мои мысли прервали резкие возгласы. Мальчики тянули каждый в свою сторону таз и обзывали друг друга.

— Жид, по веревочке бежит!

— Харя, проклятый кацап!

Девочка в заштопанном на локтях платице пытается их утихомирить, они кричат на нее:

— Заткнись, свиное ухо!

Распахиваются несколько окон. Из них выглядывают встревоженные лица.

Но дети уже кинулись со всех ног чинить протекшую запруду.

Головы родителей прячутся. Занавески задерживаются: о чем тревожиться? Ведь не подрались? Носа никому не расквасили!...

Я с досадой смотрел на детей, которые ползали на коленях возле рушившегося сооружения. Однажды не выдержал, вышел к ним и, усадив детей на скамейку, рассказал им про немецких расистов и о том, как стыдно советскому человеку опускаться на четвереньки.

Утром меня разбудил звонкий, как колокольчик, голос:

— Кацо, снес яйцо!

И рев: — Ха-аря кацапская.

Убедил!...

Дети выносили услышанное в коммунальных квартирах на улицу, как бурлящий поток выносит мусор. Грязная, лежалая, как зимний снег, ненависть выплескивалась на дворы, в школьные коридоры, и можно было довольно точно судить о прикусившем язык отце по тому, что кричал на дворе его сын.

... Как-то в битком набитой парикмахерской Фима увидел на стене два огромных портрета.

«Это — дедушка Ленин» — уверенно сказал он об одном из них. — А это кто? — показал он на профиль человека со звездой генералиссимуса.

Парикмахерская покатила от смеха. Старики изумленно переглянулись.

Оказывается, уже ступает по земле поколение, которое не знает Сталина. Вовсе не знает. Даже по портретам.

Бежит времечко...

У времени, как у жертв турецкого погрома, были подрезаны сухожилия под коленом, и оно сильно припадало, время, подобно жертвам резни, на правую ногу.

Фиме было года три, когда он прибежал домой в слезах.

— Пап, правда я не татар?

Оказывается, соседский мальчишка отнял у сына совок для песка и отогнал от песочницы, крича, что с ним никто не водится: — ... Ты не русский, ты — татар!...

Узнав, что он не «татар», Фима успокоился.

Но ненадолго. Спустя год, уже на другом дворе, где резвились, в основном, дети воспитанных, сдержанных майоров и полковников номерного института, сыну разъяснили, кто он. И очень подробно, подкрепив урок огромным синяком, разлившимся под его глазом.

Сын не плакал. Его, казалось, не тревожил и огромный, с синим отливом, кровоподтек, хотя набухшее веко дергалось и, по всему виду, болело.

— Пап, это правда, что ты еврей? — воскликнул он, озираясь; голос его прозвучал так, как если бы он спросил: «Пап, это правда, что ты вор?»

Я был занят, пробурчал что-то веселой скороговоркой.

— И... мамочка еврейка? — спросил он, и в голосе его прозвучала надежда.

Я подтвердил, стараясь перевести все в шутку.

— И бабушка? — Глаза у сына округлились.

Я уже встревожился всерьез, хотя отвечал все еще тоном клоуна, который выбегает на ковер, крича фистулой: «Биб, где ты?»

Сын смотрел на меня остановившимся недетским взглядом человека, на которого обрушилось несчастье.

У меня дыханье пресеклось. «Пришла его очередь?» Я

кинулся к нему, усадил на колени, приласкал и, призвав на помощь тени, наверное, всех великанов иудейского происхождения, от Маркса до Левитана, картины которого он только что видел в Третьяковской галерее, восстановил у сына душевное равновесие. Но, главное, я объяснил ему, как надо отвечать, если будут гнать, издеваться, колошматить.

— Защищайся! — сказал я ему, и пошел на него...

Сын с того дня бил не кулаком, а всем корпусом, с поворота. Чтоб в кулаке был вес всего напряженного разгневанного тела.

Этому меня научил, в свое время, старшина Цыбулька, который уважал образованных и страдал, видя, как я болтался на турнике кулем, под дикий гогот всей авиашколы.

— Обороняйся, студент! — крикнул тогда Цыбулька и пошел на меня, размахивая своими железными кулаками тракториста. — Дуже пригодится...

Еще как пригодилось!

Сын разбил несколько «арийских» носов, и национальное равноправие в нашем дворе было восстановлено; восстановлено настолько, что, когда мы переехали в другой район, мальчишки из старого дома еще долго ездили к Фиме в гости, на другой конец Москвы.

Увы, национальное равноправие было восстановлено пока только в нашем дворе.

Как-то я собрал ребят и повез их в Музей изящных искусств. Мы толпились на задней площадке трамвая, торжественные, в начищенных ботинках.

Когда вагон тронулся, на площадку вскочил какой-то парень, придерживая дверь и швырнув на мостовую окурки. Он толкнул Фиму, тот, в свою очередь, боднул головой толстую женщину с грязно-белым халатом в руке.

Она оглянулась на мальчика, и красное точно распаленное жаром лицо ее исказилось:

— А-а!... Прохода от вас нет!...

На Фиму хлынул непрекращающийся поток погромной

брани. Настоящей, квалифицированной, словно собранной из всех черносотенных и фашистских газет.

— На голову сели! — ярилась она. — На голову...

Не будь со мной торопившихся в музей ребят, я бы оттащил ее в милицию, что и сделал при вторичной встрече, примерно спустя год. К случаям вмешательства правосудия мы еще вернемся. Они того заслуживают...

Но в этот раз я просто оттеснил ее от детей. Молча. Впрочем, хотел ей что-то бросить через плечо, но один из пареньков дернул меня за руку. Шепнул, чтоб не обращал на нее внимания.

— Это же Гликерия. Из ларька «Пиво-воды», что у метро. Ее мама зовет, знаете как? Кликуша!

Я отвернулся от Кликуши. Она голосила по-прежнему. И, казалось, не могла остановиться, как не может сразу остановиться тяжело груженный состав, разогнавшийся под уклон.

Кого только не было среди пассажиров трамвая. И военный с погонями полковника-танкиста, и веселая группа студентов, и немолодая женщина в очках с рулоном чертежей, может быть, проектировщик новых городов. И несколько рабочих в ватниках. Одни уткнулись в газеты и книги, другие смотрели в окна, за которыми проплыл на здании райкома кумачовый плакат с призывом крепить дружбу народов.

Кликуша не стеснялась в выражениях...

Девочка с синим бантом, которая сидела рядом с кондуктором, раскрыла рот, стараясь не проронить ни слова.

А вагон... переполненный доотказа вагон, по-прежнему молчал.

Но стоило только Кликуше выругаться матерной бранью, как с разных концов вагона гневно запротестовали.

— Перестаньте выражаться! Здесь дети.

Кликуша вернулась от матерщины к основной теме, — вагон умолк. Будто у людей заложило уши...

Мне не давал покоя молчащий вагон.

Что произошло с людьми? Полнейшая сумятица в голо-

вах, как у тех полковников, которые яростно спорили на теннисном корте, за что арестовали Берию? Один утверждал, за то, что евреев посадил. Другой — за то, что выпустил...

Или — равнодушие? Тупое коровье безучастие; может быть даже молчаливое одобрение?

Не хотели связываться с базарной скандалисткой?...

Но ведь она набросилась на ребенка...

Что стряслось с душами людей?

Дракон из пьесы Шварца, самой любимой полининой пьесы, хвастает, что таких душ, как в его городе, нигде не подберешь. «Безрукие души, легавые души, безногие души, глухонемые души, цепные души, окаянные души...» дырявые, продажные, прожженные, мертвые...

Неужто до того дошло?

Ни в одной из европейских столиц никто не позволит себе биться в антисемитском припадке в общественном месте; разве что какой-либо выживший из ума патер, не примирившийся с решением Вселенского Собора и упрямо жующий в своей крошечной кирхе: «Христа распяли!»... О таком патере рассказывал мне недавно мой товарищ, вернувшийся из Вены.

Кликуша прикусила язык даже в Берлине, хотя там еще и попадаются скинувшие, в свое время, гитлеровскую форму штурмовики. Лишь однажды в берлинском трамвае, года три назад, я заметил на себе пристальный и откровенно-недобрый взгляд одноногого, с костылем, немца. Он показал на меня глазами белокурой щебетунье — внучке, которая, видно, никогда не видела евреев, уничтоженных там еще до ее рождения.

— Юде! — шепнул он ей тихо-тихо, чтобы, Боже упаси, не донеслось до меня.

В Москве Кликуша не боится быть услышанной...

Я не мог найти себе места, пока не высказал своего недоумения, своего протеста против «трамвайных» соучастников Кликуши. Статью назвал «Вагон молчал»...

Отвез ее в «Комсомольскую правду», затем в «Литера-

турную газету», поначалу к редакторам, с которыми вместе учился и о которых твердо знал, что они не антисемиты. За два-три года листочки со статьей «Вагон молчал» перебивали, наверное, во всех московских редакциях, включая «Правду», ее читали все главные, но только один из них, в журнале «Дружба народов», начертал на уголке статьи:

«Я за напечатание... Борис Лавренев».

Лавренев попросил меня лишь дополнить ее фактами нашей пропаганды дружбы народов.

Почему не действует?

Я обложился всеми брошюрами о дружбе народов, которые только появились в последние годы.

Странные это были брошюры. Казалось, они изготовлены на конвейере, из типовых деталей. Изучив пять таких брошюр, не стоит большого труда на их материале «смонтировать» и шестую, и десятую, и двадцатую. И, можно быть уверенным заранее, что двадцатая будет сделана вполне, как говорится, «на уровне».

Таков уровень!

«Огромная действенная сила дружбы народов нашей страны проявляется в социалистическом соревновании шахтеров Донецкого, Кузнецкого и Московского угольных бассейнов», — Верховцев (Госполитиздат, 1954 г.).

«Традиционными стали соревнования шахтеров Донбасса и горняков Кузнецкого бассейна... Дружба горняков Донбасса и Караганды проявилась с новой силой...» — Рачков, 1954 г. Алма-Ата.

«Растет и крепнет дружба между горняками Караганды и Донбасса. Многие горняки Казахстана побывали в Донбассе». — Купырин (изд. «Знание», Москва, 1954 г.).

«Систематически обмениваются производственно-техническим опытом шахтеры соревнующихся между собой Донбасса и Кузбасса», вторит им Малышев (изд. «Знание», 1955 г.).

Позднее точно такие же строки появились и в брошюрах 57, 59 гг. и т.д.

Станиславский говорил, штамп — это попытка сказать о том, чего не чувствуешь.

Бесчувственная мертвая пропаганда, *мертвая* в течение стольких лет, — вполне *живое* свидетельство происходящего...

Разжигали антисемитизм, как известно, изобретательно, впечатляюще, и хрониками «из зала суда» и «хлесткими» фельетонами, вроде «Пиня из Жмеринки», и «теоретическими» статьями о родных и неродных сынах России, а гасят как?

Почему в пожарных колодцах не оказалось воды? Или шланги перебиты?

— Обязательно напечатаем «Вагон молчал», — продолжал заверять меня главный. — Это так сейчас важно.

Однако, главные, как выяснилось, обладали решающим словом лишь не по самым главным вопросам.

Вагон по-прежнему молчал, когда кликуши кричали, что Гитлер нас недорезал, — Полину, меня и нашего сына, молчал, как если бы был пуст, и во всей газетной Москве я не нашел больше никого, кому было бы до этого дело...

ГЛАВА 2.

Мы стояли с Полиной на автобусной остановке, у колхозного рынка, держа в руках авоськи с картошкой и примороженной капустой. Рынок закрывался. Оттуда торопливо выходили закончившие торговлю деревенские, взвалив на себя раздувшиеся полотняные мешки. Мешки, как граненые: доверху набиты буханками черного хлеба.

Серые полинины глаза наполнились слезами.

— Мама так в голодные года тащила на себе все, чтоб прокормить нас, — сказала она, и, вытерев слезы, вздохнула тяжко: — Сколько же будет тянуться извечная наша деревенская бедность?

Мы доехали до Белорусского вокзала, где был мясной магазин, и снова встали в очередь. Старушка с позванивавшими пустыми бидонами и заплечным мешком, набитым буханками, брала десять пачек супового набора. Она кидала костистое синеватое мясо в бидон, звеневший, как если бы она бросала туда камни.

Очередь взроптала: «Куда столько?! Не давать!»

Полина не выдержала.

— Вам не нужно! А ей нужно...

Провожая глазами крестьянку, которая сгибалась под своей ношей, Полина даже не взглянула на мосол, который швырнул ей продавец.

В углу магазина толпились рабочие парни, в ватниках и

комбинезонах; один из них, взболтнув привычным движением пол-литра, вышиб ладонью пробку и, озираясь, разлил по бумажным стаканчикам.

У выхода пошатывался юнец, почти школьник. Он виновато икал: «Из-звиняюсь!» и пытался нас пропустить.

Полина молчала в троллейбусе всю дорогу, я спросил ее о работе, она ответила односложно, думая о другом.

Сегодня суббота, и изо всех мужчин, сидящих подле нас, трезв, кажется, один водитель. Двое уже мирно спят, привалясь к кожаным диванам; они будут так ездить, пока троллейбус не пойдет в парк.

Полина, наконец, заговорила, — глаза ее были далеко-далеко...

— Война прошла. Миллионы остались в земле. А миллионы живых торопятся стать мертвецки пьяными. Хоть к вечеру. Уйти, пусть на время, к мертвым...

Она оборачивается ко мне, в глазах ее недоумение и боль.

— Из всего духовного богатства земли выбирается... лишь пол-литра. Почему?

И она снова умолкает.

Каждый раз, знаю, она испытывает острое чувство вины перед крестьянками, которые таскают на спинах неподъемные мешки с хлебом, перед этими парнями, которые только что были вежливыми, даже учтивыми и вот, на глазах, теряют человеческий облик.

Когда же, наконец, кончится спаивание? Она, Полина, стала жить лучше, а они?...

Один из пьяных, в кепочке на оттопыренных ушах, открывает глаза; глядя на мою шапку из серого меха, говорит, как бы ни к кому не обращаясь:

— Шапки-то у них, как у полковников, мерлушковые.

Полина наступает мне на ногу.

— Не трогай его. Ему надо излить свое раздражение. Хотя бы на твою шапку.

Кепка что-то бормочет, я делаю вид, что тугоух. Еврей в Москве или Киеве, да еще с таким широким армянским

носом, как у меня, не может не быть тугоухим. Хоть изредка. Иначе он превратится в бойцового петуха. Или истерика...

Кепка принимает мое молчание за трусость и начинает расходиться.

Полина еще сильнее давит на мою ногу.

Наконец, я не выдерживаю двухстороннего напора, и на первой же остановке выхожу. Полина едва успевает выскочить за мной.

— Ты что?! Мы не доехали.

Я молчу, потом отвечаю раздраженно:

— Быть сейчас евреем на Руси уже работа нелегкая. А когда у тебя жена христианская святая!... Тогда надо выдавать за вредность молоко.

Конечно, в общем-то, она права...

Но знаю также и то, насколько, в большинстве случаев, неглубок, порой случаен, этот доморощенный расизм рабочего человека, и достаточно, бывает, даже не слова, жеста одного, чтобы к человеку вернулось человеческое.

Я не мог забыть собрания, на котором химика Арона Михайловича собирались уличить — де, отравитель он. Как бежали из зала клеветники — подлинные отравители!

Я снова убедился в этом 9 мая, в день Победы. В Доме литераторов, как всегда, встречались фронтовики. Я надел свой флотский китель с орденскими планками, накинул сверху плащ и отправился на встречу ветеранов.

В метро со мной заговорил празднично одетый паренек, лет двадцати пяти. С комсомольским значком на лацкане пиджака. Мы стояли с ним, притиснутые у дверей, и он со словоохотливостью подвыпившего человека рассказывал, что едет от тестя, который на войне был. Под Старой Руссой орден получил. Пригнувшись ко мне и обдав меня водочным перегаром, он добавил вдруг без всякого перехода, доверительно-ироническим тоном:

— ... Не то, что ты! Небось, всю войну в Ташкенте...

Я промолчал, и он окрыленно продолжал развивать тему. Когда мне это надоело, я расстегнул верхние пуговицы плаща и распахнул его.

Увидев орденские планки, паренек залился румянцем, густо, до шеи. Потом сказал, вообще евреев надо уничтожать, а таких, как я, оставить.

— Сколько оставить? — осведомился я деловито.

— Процентом десять, не больше.

— Ты милосерден, как Гитлер, — сказал я. — У Гитлера тоже были «V.J.», то есть полезные евреи. У них даже в паспортах делали пометку: «полезные». Для таких он делал исключение.

— Значит, я что?... Фашист? — произнес паренек оторопело.

— Нет, глу-бокий интернационалист.

Я вышел на своей остановке; дойдя до клуба писателей и оглянувшись, увидел того же парня, который торопился за мной, словно хотел еще что-то сказать.

Я остановился.

— Ты что?

Он потоптался и сказал с очевидной искренностью и смутением:

— Страшно... Значит, я фашист...

Я поглядел на его открытое простодушное лицо и большие красные руки рабочего человека, и мне стало до боли ясна вся глубина преступности тех, кто приколот ему на грудь комсомольский значок, а затем бросил на произвол судьбы, оставив наедине с вонючей кухонной обывательщиной или затаившимися провокаторами.

... Троллейбус скользит. Начался февраль. Заносы. Вот-вот откроется XX съезд. Мы с Полиной ждем его с надеждой. С нетерпением. Может быть, он что-то изменит в сегодняшних наших бедах. Наступит время, когда не надо будет прикидываться тугоухим.

Надоело.

В дни съезда наша комната бела от газет.

Преступления Сталина обнародованы. Только антисемитские преследования почему-то обойдены молчанием. Словно их не было. Странно.

Ни единого слова о том, что мы с Полиной такие же люди, как и все. И нас нельзя безнаказанно оскорблять, шпынять, подвергать дискриминации.

Забыл он, что ли, Хрущев? На него ведь, в самом деле, не кричат в трамваях: «жидовская морда!».

Я снова и снова проглядываю зачитанные до дыр хрущевские доклады.

Неужто ни слова? Хотя бы там, где он с таким яростным и праведным гневом говорил о процессе врачей. Тут самое место.

Нет, ни слова...

Я даже усомнился, был ли, в самом деле, процесс врачей антисемитской затравкой, преступным коротким замыканием, вызвавшим пожар? Может быть, юдофобские клики носились в воздухе, а в официальном тексте их не было? Так бывало...

Просмотрел «Правду» тех дней.

Какое! «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей...» «Злодейски подрывали здоровье»... «Жертвами этой банды человекообразных зверей пал А. А. Жданов и А. С. Щербаков»... «В первую очередь преступники старались подорвать здоровье руководящих военных кадров... Маршала Конева И. С., генерала армии Штеменко С. М.»

Кто же они, эти «изверги и убийцы»?...

«Большинство участников террористической группы — Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и другие... были завербованы филиалом американской разведки — международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт»...

«Как показал на следствии арестованный Вовси, он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР...» «Эту директиву ему передали от имени шпионско-террористической организации «Джойнт» врач Шимелиович и известный еврейский буржуазный националист Михоэлс»...

«... Грязное лицо этой шпионской сионистской органи-

зации, прикрывающей свое лицо под маской благотворительности...»

Подумать только, сколько наворочено лжи! Кровавого бреда!

И об этом ни слова?... Почему?...

В тот день, помню, мне попались навстречу, на улице Горького, двое солдат. Один из них, смуглый горбоносый еврей, оправдывался, взмахивая руками, словно отбрасывая от себя что-то. У солдата, шедшего рядом, широколицего русака, было каменное лицо прокурора. Он кривил губы в жесткой усмешке, заметил что-то, и солдаты отшатнулись друг от друга.

Они ушли, скрипя по снегу кирзовыми армейскими сапогами, а я навсегда запомнил двух советских солдат, которые отпрянули друг от друга так, словно между ними прошелестела змея.

И об этом ни слова?

Когда врачей признали невиновными, газеты напечатали фамилии освобожденных. Среди них были и названные ранее, кроме одного, умершего в заключении. И, к всеобщему удивлению, новые фамилии, о которых до этого не сообщалось. Утаили, в основном, фамилии русские и украинские (Василенко, Селенин, Преображенский, Закуров и др.), которые могли бы помешать воссозданию цельной впечатляющей картины «еврейского заговора»; потому-то их и отмели, ради «чистоты замысла»...

И об этом ни слова?

Хорош же ты... правдолюб!...

Неужели ты такой же юдофоб, как Сталин, дорогой Никита Сергеевич, великий борец за интернационализм?...

— Ладно! Спасибо за то, что сделал! — примиренно сказала Полина. — Не будь его, миллионы невинных так бы и гнили в лагерях...

Дули теплые ветры перемен. Богиня справедливости, казалось, вот-вот коснется своим крылом и нас.

Не могла не коснуться...

Никогда еще не была столь пронзительно-громкоголоса истина, высказанная Фейхтвангером:

«Антисемитизм — международный язык фашизма».

Однако не было заметно, чтоб это кого-нибудь смущало...

... Как-то мы с Полиной меняли паспорта. Ждали своей очереди в тесной комнатке паспортного стола 72 отделения милиции, что в нашем заводском районе, на Шарикоподшипнике.

Молодой рабочий настойчиво стучал в закрытое окошко и требовал, чтоб его перестали мурыжить. Полдня потерял.

Открылась дверь, из нее вышел усталый офицер милиции. Увидел кудрявого, навеселе, паренька, улыбнулся добродушно:

— Ты чего шумишь? Вот запишу евреем, тогда узнаешь!...

Как все хохотали!

Вольные времена... При Сталине, бывало, крикнут: «Жид!» и оглянутся тревожно, как бы не угодить за решетку. Полагалось кричать не «жид», а «космополит», или, как бранился мой сосед, «коснополит». От слова «косность», наверное.

У Сталина стро-го!

В крайнем случае, обзовут человека в трамвае «Джойнт' ом». И дело с концом.

Веселый умница Михаил Светлов, стоя у буфетной стойки и ощупывая свои карманы, бывало, говорил с печальным юмором:

— Что-то «Джойнт» давно перевода не шлет.

И писатели фыркали в ладони, делая вид, что не слышат.

Теперь обходилось без эвфемизмов. К чему стесняться в своем отечестве!

Роман писменника А. Димарова не мог бы появиться в 1949 погромном году. Это было бы грубым нарушением правил игры. Неполитичным забеганием вперед. Главлит или кто иной наверняка бы задержали его, как была задержана, правда, в последнюю минуту, по требованию художника Пророкова, антисемитская поэма Сергея Васильева

«Без кого на Руси жить хорошо», прочитанная победно улыбавшимся автором в Союзе писателей и уже набранная и подготовленная к печати в журнале «Крокодил».

А спустя десять лет после смерти Сталина, в 1963 году, к концу «великого хрущевского десятилетия», к празднованию которого деятельно готовились, можно было уже напечатать и такое.

Приведу, с небольшими сокращениями, взгляд А. Димарова на украинское еврейство. Каким оно было, по А. Димарову, во все века.

«... Ляндеры вступили в конфликт с украинским народом еще в те далекие времена, когда польская шляхта сдавала в аренду православные церкви. Польстился на этот гешефт и Исаак Ляндер.

С той поры между Богом и прихожанами скалою стал Исаак...

Но тут как-то поймали его запорожские казаки: — А, попался-таки, свиное ухо! Чем же мы угостим дорогого гостя?.

И пока тугодумы казаки решали — вешать нехристя или утопить — Иегова сжалился над бедным слугой своим и послал отряд шляхтичей.

Внук Исаака — Хаим Ляндер — не пожелал иметь дела с церквями: поставил на бойком месте корчму.

Уже под старость Хаиму довелось испытать горечь обиды, нанесенной ему неблагодарным украинским народом: налетели гайдамаки, сожгли дотла корчму, да еще вырыли мешочек с золотом, чтобы ни им, не детям ихним, ни внукам, ни правнукам ломаного гроша не видать!

Были Ляндеры побогаче и победнее, Ляндеры с Подолья и Ляндеры с Киевщины, но все они все равно славились своей кастовой замкнутостью и традиционной ненавистью к этим «проклятым хохлам». Хохла не только можно и следовало надуть, над ним не грех было и поиздеваться.

Наш Ляндер родился на Полтавщине, в семье местечкового торгаша. Родился четырнадцатым, и, дивясь бесконечной Божьей милости, Гер назвал его Соломоном...

Будущее Соломона родители представляли себе по-разному. Отец мечтал сделать сына богатым торговцем — коммерсантом, а мать спала и видела своего Соломона раввином, или,

на худой конец, цадиком. Но Соломон рассудил по-своему: еще в юности он, выявив не только недюжинный ум, но и острый политический нюх, вступил в Бунд. Тот же верный нюх помог ему верно сориентироваться после революции и, порвав с Бундом, а затем вступив в РСДРП, Ляндер стал делать карьеру. За образец он взял Льва Троцкого, подражая ему во всем, даже в малейших деталях костюма, даже в жестах. А поскольку Россия могла вынести на своих плечах только одного Троцкого, Ляндер решил вести себя скромнее и довольствовался пока что ролью Троцкого уездного масштаба. С подчиненными держался неприступно и строго, любил, чтобы его боялись, чтобы предупредительно шептались, встречая на улице: — Тс-с-с-с, вон Ляндер идет!

Носил военного покроя френч, галифе, заправленные в хромовые, всегда начищенные сапоги, и всегда держал про запас революционнейшие фразы — от мировой революции до немедленной экспроприации всей частной собственности. Кичился своей революционной непреклонностью, как девка ярким платочком, сделал из нее свой жизненный девиз, надеясь, что рано или поздно вынесет его на гребень высокой волны.

Только одна щербинка была в этой цельной натуре. Чуть заметная, унаследованная от Герца, а папой от дедушки Мотеле, а дедом от прадеда Хаима, вот такаусенькая трещинка, от которой он не в силах был избавиться: ненависть к «тем проклятым хохлам». Все они для него пропахли дегтем и навозом, были непонятны и враждебны, даже нагоняли на него страх. Он не мог объяснить себе презрения к украинцам, господствовавшего у него в семье. Возможно, это было презрение вора к человеку, которого он обокрал: ведь вор не смог бы уважать себя самого, не плюя на того, чьими руками он жил и кормил детей — *будущих ворюшек*... Ненависть эта была в нем инстинктивной, была сильнее его и неподвластна ему и, как он ни маскировал, как ни таил ее, бывало, что она прорывалась наружу...¹

Полинина семья — семья коренных украинских евреев, и легко понять, с каким чувством Полина постигла всю глубину типизации А. Димарова, который, как и Любка

¹ Анатолий Димаров, роман «Путями жизни». Журнал «Днипро» № 10, 1963 г., стр. 32-33, [перевод с украинского.]

Мухина, видно не мог забыть того, что среди голытьбы, которая экспроприировала собственность кулаков, были не только Давыдовы и Нагульновы, но попадались и Гринберги, к которым мы еще вернемся...

Впрочем, не надо иметь полининой судьбы, чтобы понять это.

Поставить, к примеру, страшный голод на Украине в тридцатые годы в вину Сталину, или, как хотелось бы димаровым, «москалям» — опасно! Прослывешь украинским националистом. Националистов то и дело судят. Во Львове. В Киеве. Дают страшные сроки.

А «бей жидов» — это совершенно безнаказанно. Более того, напечатывают...

Расистские листки атамана Бандеры, фашистская брошюрка под названием «окаянное племя», изданная гитлеровцами во Львове, во время немецкой оккупации, с обложки которой грозил доброму украинскому люду страшный носатый еврей в ермолке, — да это бездарная, казенная мазня, по сравнению с вдохновенным погромом, устроенным А. Димаровым советским евреям, при восторженном содействии советского журнала «Днипро».

Ох, Днипро, Днипро...

Если днепровская волна выплескивала на поверхность и такое, легко представить, что творилось в глубинах. И, конечно, не только на Днестре. Но и на Неве. И на Москва-реке, где, скажем, инструктор ЦК КПСС М. Рякин прямо требовал от столичных издателей вычеркивать из тематических планов «всяких Эпштейнов-Финкельштейнов».

Он просто заново нашел себя, зловещий бериевский аппарат, который Хрущев потряс, как трясут дерево, черное от воронья. Воронье испуганно поднялось и... уселось на соседнее дерево. Чаще всего, в отделы кадров институтов и предприятий.

Правда, над русским человеком надругаться стало порой труднее. Надо было придумывать мотивы, «подбирать ключи»... Но над теми, у кого «неблагополучно» с «пятым пунктом» — дорога открыта...

Особенно, если ты — ученый. На конкурсной должности. Суд отстраняется от разбирательства. Кивает на администрацию. Администрация — не суд: она знает, раз «пятый пункт», ей никто не указ, она уже протелефонировала в Обком, что, де у них «перевес еврейского элемента». Надо расчищать...

Сколько трагических историй прошло перед моими, полными слез, глазами! Я почти никому не смог помочь, разве одному-двум несчастным загнанным людям. Чаще всего, дело завершалось инфарктом у преследуемого.

Времена «социальных экспериментов», к которым прибегало студенчество, во главе с Геней Файбусовичем, остались далеко позади. К чему эксперименты, когда больше никто ничего не скрывает!

Улыбающийся благодушный толстяк — профессор Львовского университета — встречает, к примеру, своего коллегу, с которым мы идем по полутемному коридору, и, видно, не заметив меня, всплескивает руками восхищенно:

— «Ось сьогодни мени жидок попався! Цилых две години з им парився, покы змиг йому двийку поставити!...

— К чему так злобствовать? — спрашиваю я розовощекого интернационалиста, который двух часов не пожалел, чтобы «зарезать» юношу-еврея.

Он щурит на меня настороженный хитрый глаз.

— Э! Приизжий, мабуть?...

Действительно, только приезжий может задать такой идиотский вопрос львовскому «интернационалисту».

К тому же приезжий из Москвы.

Киевский бы не удивился: в 1961 году, когда ленинская законность была восстановлена Хрущевым, по его утверждению, «целиком и полностью», в Киевском университете было 7,5 тысяч студентов. Из них евреев... 60 (менее одного процента).

«И цього забагато!» — сказал мне киевский интернационалист, когда я выразил удивление. — Нужно двигать коренную национальность...

И поставил птичку возле фамилии студента, за которого кто-то просил по телефону.

Чего стесняться в своем отечестве!

А экзаменуемые, ждущие под дверями своей участи, спрашивают друг друга с тоской:

— У тэбэ птыця е?

Они знают, что «режут» только евреев, но уж коли дали право кого-то резать!...

И слышатся вдоль коридора тоскливые возгласы юнцов, на самом пороге Университета, у самых врат его, постигших, что честного конкурса немає.

— У тэбэ птыця е?... А?!

Кто же удивится тому, что запевалами юдофобства, недреманным оком расовой чистоты становятся, чаще всего, люди растленные, вроде знакомого мне доцента, который появился в Московском университете с выискиванием по партийной линии «за сращивание с семьей гитлеровского офицера».

А то и вовсе разыскиваемые органами полицаи, у которых руки по локоть в крови.

В Союзе писателей вырывался вперед малограмотный, темный, хотя и не бездарный поэт Федор Белкин.

Космополитическую кампанию он просидел тише воды, ниже травы, лишь однажды высказал ошеломившую многих из нас идею о том, что Пушкин с его Фебами и Кипридами — выдумка столичной интеллигенции...

В хрущевские годы Федор ожил. Кидался, как с цепи сорвавшись, то на Эренбурга, то на Маргариту Алигер. Особенно после того, как Хрущев заявил во всеуслышание, что «беспартийный Леонид Соболев нам ближе, чем партийная Алигер...» Как тут в самом деле не рвануться?!

Истинно русского Федора Белкина приветила «дружинка хоробрая», помогавшая издавать его стихи, книгу за книгой, вне всякой очереди. Настолько он уверовал в то, что его время пришло, что, когда ему предложили выступить по телевизору, согласился, не задумавшись.

Один из телезрителей узнал его, и за Федором Белкиным немедля приехали из КГБ.

Оказывается, во время войны Федор Белкин был начальником окружной жандармерии, главарем полицейев, лично, из пистолета застрелившим сотни евреев и коммунистов.

Какое трогательное сращивание души гитлеровского жандарма с хрущевскими расовыми установками!

«Юде — Синагога!» «Синагога — Юде!»...

Расисты оставили позади себя горы трупов, и дальше они шли по трупам, даже тогда, когда вовсе не считали себя расистами, напротив, подлинными интернационалистами, и, Боже упаси! — не хотели убивать невинных.

В газетах писали о расстрелянных жуликах с еврейскими фамилиями. Естественно, их никто не жалел, жуликов, хотя все понимали нарочитость густоты газетного «шолом-алейхемовского» колорита. Научились понимать...

В эти дни Полину и меня пригласил ее дядя, единственный полинин «московский дядя», к которому она звонила, когда ей было невмоготу, хотя бы для того порой, чтобы услышать его голос, так похожий на мамин.

Мы общались с дядей редко. Но в тот вечер ему исполнилось шестьдесят.

Дядя работал под началом министров угля Засядько и Оника, работал ночами, сутками; был, что называется, ломовой лошадью, которую не выпрягли из управленческой упряжки даже в сорок девятом; так здорово тянула.

Шестьдесят лет — венец трудовой жизни. Юбилейный стол был накрыт с полудня... Заходи!

Ждали гостей, знакомых и малознакомых.

И они появились. Вовсе незнакомые, молодые, в одинаковых шляпах. Мы ждали, что скажут? От кого? Юбилейный адрес принесли?

— Тащите их за стол! — весело крикнул торжественный, в белой накрахмаленной сорочке, дядя, выглянув в коридор. — Потом разберемся...

— Здесь живет Грановский? — вежливо спросили новые гости, все еще топчась у входа.

— Тут! — радостно воскликнула Полина. — Да заходите, заходите!...

Они как-то застенчиво предъявили ордер на обыск.
И началась работа.

Лишь под утро закончили обыск квартиры. Профессиональный. Тщательный. С обстукиванием стен, поисками тайников и пр.

К изумлению искавших, на сберкнижках Грановского лежало всего лишь восемьсот рублей.

«И это все?! — с недоверием спросил руководивший обыском. — На пенсию уходит и... всего...»

Стали искать снова. Ничего не нашли. Ни золотых слитков. Ни драгоценностей. Все золото — обручальное кольцо жены. Позднее объяснили причину обыска. «Давно лежала анонимка». А тут юбилей... Подумали, может, сигнал правильный... Раз столько лет на хозяйственной работе, большими миллионами воровчал, мог ли удержаться от соблазна?

Руководивший обыском произнес скороговоркой: «Извините!», словно в трамвае на ногу наступил.

И все. Тихо потянулись к выходу, нахлобучив на взмокшие лбы свои одинаковые шляпы.

На лицах районных пинкертонов не было раскаяния. Еще чего! Центральные газеты по-прежнему долбят и долбят: евреи — жулики. Экономическое вредительство. Никита Сергеевич закону вывернул руки, чтоб расстрелять валютчиков. Закон, что дышло...

Почему, в таком случае, не пошарить еще у одного из ихних. На всякий случай. Может, тоже жулик...

А человек, достойный, самоотверженный человек, труженик, не перенес оскорбления, которым увенчали его жизнь. Тяжко заболел и умер.

И, естественно, никто не понес за это наказание. Только руководивший обыском, когда дело закрывал, вздохнул и головой покачал: «Какая сволочь, этот анонимщик. Ай-ай-ай!»

Первый раз, как известно, взламывали полы в хате

полининных родных еще при гетмане Скоропадском и атамане Зеленом. «Искали золотишко. Трясли жидков.»

Затем при Сталине, в голодный тридцать четвертый. То же «трясли жидков», — в те дни погибла, рухнув замертво не перенеся ареста сыновей, их мать, полинина бабушка.

Изо всей большой дружной деревенской семьи оставались в живых лишь дядя Витя да Полина, случайно избежавшие разрывной пули полицаев.

Дядю настигли при Хрущеве...

Неужели я, писатель, не смогу рассказать людям хотя бы об одном «тихом», районного масштаба, злодеянии? Не смогу поднять голоса протеста? Против убийства...

Редакторы всплескивали руками: «Какой ужас!» и просили меня сделать, вместо этого, зарисовку о социалистическом соревновании коммунистических бригад.

Всюду, — в «Правде» и «Комсомольской правде», в «Известиях» и «Литературке», — за вежливо ускользающими фразами звучало явственное: *«не смейте писать об убитых, это беспокоит убийц!»*

Как замаскированные «ежи» на дорогах, как спирали противопехотной проволоки под ногами, как лагерная «сколочка», этот незримый приказ опутал все места, где можно было во всеуслышанье сказать о преступлении...

Оставалось, как всегда, одно. Послать письмо в ЦК. Я обращался туда вот уже десять лет подряд. Почти что после каждой поездки по Кавказу, Прибалтике или Средней Азии. Металлический сейф в кабинете заведующего отделом культуры ЦК Поликарпова стал высокой усыпальницей, саркофагом моего гнева, моих недоумений, моего раздумья. Сюда прикочевали, в конце концов, и моя статья «Вагон молчал», и письмо о талантливых выпускниках Среднеазиатского университета, русских девчонках, коренных жительницах Ташкента, которых не взяли в аспирантуру, как население *некоренное*, хотя аспирантские места остались вакантными...

Туда же прибились и задержанные цензурой гранки о неслыханном и запечатленном в камне идиотизме одесских

градона начальников, которые боролись с низкопоклонством перед Западом тем, что торопливо переименовывали улицы имени выдающихся революционеров — Жанны Лябурб, Вацлава Воровского, а также, само собой, Шолом-Алейхема и Менделе Мойхер Сфорима...

Чтобы нерусских фамилий и духу не было!...

Ни одно мое исследование, ни один мой очерк, пусть самые острые, не остались лежать в столах. Увидела свет даже статья о том, как отучают думать на университетской кафедре марксизма.

Но стоило мне хоть чуть-чуть приоткрыть завесу над закоренелым националистическим изуверством, хоть слово обронить в защиту оскорбленных, это слово немедля, как злейший нарушитель спокойствия, оказывалось в железной усыпальнице Поликарпова.

Но вот мне позвонили от Поликарпова. Назначили день приема.

Когда я явился, передо мной извинились: Поликарпов занят. Он просил передать, что материал об убийстве Грановского прочитал. Весьма прискорбный случай. Но... отдел культуры не занимается этим. Это же не вопросы литературы...

Помочь опубликовать статью? Но... он же не может диктовать главным редакторам, что печатать, а что не печатать... Подписать пропуск на выход? Пожалуйста...

Лил холодный дождь. Среди людей, хоронившихся от дождя, маялся в стеклянном подъезде ЦК какой-то очень знакомый сухонький человек в поношенной шинели с голубыми петлицами, обмякший, понурый, мокрый. Я подошел к нему с одной стороны, с другой.

Сомнений не оставалось. Это был майор Владимир Маркович Шней, бывший наш начальник штаба, которого я считал погибшим. Человек песенной храбрости.

Шней узнал меня, сказал горестно, что он в беде. Выгнали из партии, из армии, отовсюду... Почему?

Он поднял на меня глаза. Глаза Скнарева. Глаза штрафника.

— Одну мою фразу из лекции вывернули наизнанку. Еще в 49 году... Вы не поверите, Гриша, что такое возможно...

Поверю, Владимир Маркович, поверю...

Глаза его налились слезами. Счастье, что за стеклами подъезда лило, он тут же выскочил на дождь, чтобы никто не заметил, что он, старый летчик, летавший еще на деревянных «Фарманах», уж не так крепок, как в июле 41 года, когда улетал на смерть.

Мы шли к метро под припустившим дождем, горбясь и поддерживая друг друга. Лужи звенели, пузырились. Мы не обходили их.

Осатанелый ветер и зашуршавший в водопроводных трубах брызгавший поток пытались разметать нас в разные стороны, — мы все теснее и теснее прижимались друг к другу.

Стоявшие в подъездах люди глядели нам вслед: у нас был такой вид, словно мы возвращались с похорон.

ГЛАВА 3.

Пожалуй, Шней и натолкнул меня на мысль написать о Яше Гильберге, летчике, занявшем впоследствии скромное место в моем новом романе «Государственный экзамен». Однако не только Шней, человек физически здоровый. Но и потерявший на войне руку студент-философ, который стал лучшим волейболистом Университета, капитаном победоносной команды. И тихий немногословный аспирант Ц.

Ц. воевал сапером. Взрывом мины ему выжгло глаза. Однако он с блеском окончил Университет и стал ученым-физиком.

Как-то слыша его выступление, я не сразу понял, что он слеп. Нервные губы Ц. были столь подвижны, слова яркие и глубоки, а добрая улыбка так оживляла лицо, что создавалось полнейшее ощущение доброго, с хитринкой, зрячего лица. Лишь когда Ц. умолк, на лице его оставалась странная печально-виноватая улыбка, словно он извинялся за то, что слеп...

Ц. работал где-то за Уралом, я давно потерял его из виду, но помню всю жизнь.

Были в Университете фронтовики и с более тяжкими травмами; люди поразительной силы, вызывавшие изумление и гордость за них; я не знаю, какой они национальности, кого это тогда, кроме кадровиков, интересовало?...

Среди них учился и мой друг, бывший штурман бомбардировщика, которого я назвал в романе Яшей Гильбергом.

Яша выпрыгнул с парашютом из кабины горевшего самолета. Это было в Норвегии, над ледяным незамерзающим Тана-фиордом. У пилота, который выбросился из самолета вслед за Яшей, сорвались с ног унты и упали в ледяной парящий фиорд. Яша отрезал от своего мехового комбинезона рукава и натянул пилоту на ноги вместо унтов. Спас его...

Однако сам остался безруким: к своим летчики пробирались несколько суток, Яша руки отморозил.

Затем он учится в Московском университете, а позднее Яшу отправляют в дальнюю деревню, учительствовать, хотя профессор пытается оставить его в университете...

Об этом глава. О моем фронтовом друге.

Меня попросила срочно прийти главный редактор издательства «Советский писатель» Валентина Михайловна Карпова, женщина моложавая, с тугими щеками, воспитанная, говорящая с авторами тоном порой материнским.

А говорила она вот что:

— Зачем вам это, Григорий Цезаревич?

И открыла главу о Яше. Она подождала терпеливо, пока я возьму в толк, над чем именно навис редакторский карандаш. Наконец, произнесла осторожно: — Та-ак... Вы что все-таки имели тут в виду?... Героизм человека еврейской национальности? Значит, он на войне руки потерял, а его в дальнюю деревню. Гм-м-м... Но ведь у нас в стране нет антисемитизма.

— А здесь об этом ни слова...

— Я бы, знаете, сняла...

— Евреи — Ляндеры не оскорбляют интернациональных чувств наших издательств, а евреи — Гильберги, значит, оскорбляют?...

Карпова вздохнула трудно и отложила карандаш в сторону.

В ее круглых, мягко настойчивых глазах читалось все

то же хорошо знакомое: *«не смей писать о жертвах, это беспокоит палачей.»*

Ослушаешься — будешь висеть на колючей проволоке издательского произвола. Будешь висеть, пока не смиришься с судьбой, или... подохнешь с голоду.

— Я бы сняла, Григорий Цезаревич! Зачем бередить раны...

Тогда-то я решил, наконец, попасть к заведующему отделом культуры ЦК партии т. Поликарпову, хотя старики-писатели охлаждали меня: «что Карповы, что Поликарповы... тот же хрущевский заградотряд.»

Тучнеющий, воспитанный и, казалось, доброжелательный, «зав. культурой», как называли его писатели, ободрял меня кивками крупной лобастой головы: я рассказывал ему о Герое Советского Союза летчике-североморце Илье Борисовиче Катунине, которому даже после его смерти не было позволено предстать на страницах газет евреем, и о том, что подобное повторяется теперь во всех газетных и литературных жанрах, стоит, впрочем, Поликарпову обратиться к своему «саркофагу», чтобы убедиться в этом.

... — Ни в одном жанре нельзя защитить национальное меньшинство от поношения и дискриминации, — с гневом говорил я. — Защитить от поругания Советскую Конституцию, декларировавшую равноправие рас и наций... Нельзя даже здесь... вот в моем задержанном романе об ученых, которых уволили или пересажали в 49 году, хотя я об этом и не пишу...

Поликарпов вдруг оживился, перебил:

— Позвольте, разве в 49 году кого-нибудь сажали?

Я напомнил, он протянул басовито, словно зевоту подавил:

— А-ах, евреев... — Голос у него сразу стал незаинтересованным, погасшим: «Ах, евреев, не нас»... — Такое в нем зазвучало откровенное бесчувствие, что я поднялся.

Он взглянул на меня добродушно-отечески, отнюдь не сановито, простился спокойным уютным голосом человека, который, если и собирается что-либо менять, так только

свое положение в кресле: ноги затекли. Он пожал мне руку, запросто пожал, по-дружески крепко — не чинясь, в его пожатии чувствовалось все то же недвусмысленное: «Не смей писать об убитых, это беспокоит...»

Кого-то это беспокоит? Всегда беспокоит...

То был день открытий! Вечером мне позвонили из редакции журнала «Дружба народов» и сказали, что главным редактором назначен Василий Смирнов.

У меня едва трубка из рук не выпала. Старый, вечно раздраженный, желчно-скрипучий Василий Смирнов оставался ныне, пожалуй, единственным членом Союза писателей СССР, который никогда и нигде не скрывал своих погромных взглядов. Он был самым известным, оголтелым и злобным шовинистом и антисемитом. Антисемитом номер один; по этой причине в Союзе писателей его даже окрестили, как Бисмарка, железным канцлером...

Такого откровенного глумления над писателями еще не было. С таким успехом руководство советским журналом с названием «Дружба народов» можно было поручить... Пуришкевичу.

Поликарпов в одно и то же время утверждал Пуришкевича и... улыбался мне...

Придя в журнал, Василий Смирнов, естественно, прежде всего потребовал, «чтоб жидами тут не пахло».

Мне позвонили из отдела прозы журнала, чтоб я быстро, не мешкая, забрал свой роман «Ленинский проспект» и катился на все четыре стороны.

— Сам знаешь почему, — объяснил мне сотрудник редакции. — Но роман был редакцией одобрен, автору выплачен гонорар...

— Деньги-то не его, государственные, — успокоил сотрудник редакции и, раздосадованный моими недоуменными вопросами, прокричал в трубку :— Разве антисемиты когда-либо приносили государству доход?... Начхать им на народные деньги!...

Я отправил несколько протестов против выдвижения юдофоба секретарям ЦК КПСС П. Ильичеву, А. Суслову,

наконец, Никите Хрущеву. Прекратил это бессмысленное занятие, узнав, что из речей В. И. Ленина, записанных на грампластинку, при их переиздании, Хрущев исключил речь Ленина против антисемитизма, которая называется «погромной травле евреев»...

Этак взял и выкинул речь вождя и учителя. Запросто. Чего стесняться в своем отечестве...

Член КПСС с июля 1917 года Г. Механик на совещании пропагандистов 20 января 1965 г. спросил о причине этого первого секретаря Бауманского РК партии тов. Воронину.

— Речь Ленина не вошла по техническим причинам, — был ответ. И добавила торопливо: — Я не имею возможности дольше останавливаться на этом вопросе...

Как-то я слушал, как Никита Хрущев, подняв ленинским жестом руку, поучал зарубежных гостей, среди них Владислава Гомулку, интернационализму. С жаром поучал. Противно. Микрофон потрескивал, и в треске этом отчетливо звучал в моих ушах воинственный клич откровенного хрущевского интернационализма, возникшего еще до нашей эры и известного на многих языках.

«Юде!», «Жиды», «Некоренное население!»

А чтобы всем было непререкаемо ясно, что он, Никита Хрущев, ведет страну по ленинскому пути, чтоб это *зарубили себе на носу* и старая крестьянка, которая таскает и таскает из города на спине, сгибаясь в три погибели, мешки с буханками черного хлеба, и заплаканная Полина, проводившая дядю в последний путь, на самых оживленных перекрестках наших городов прибили огромные фанерные щиты, на которых крупными буквами было начертано, под большим портретом Владимира Ильича в рабочей кепке.

«Правильной дорогой идете, товарищи!»

Теперь уж ни у кого не оставалось ни малейших сомнений.

И только с редчайшей теперь пластинки все еще пробивался к нам порой, точно сквозь треск радиоглушителей, напористый гневный голос Ленина, запрещенного Хрущевым.

— Не каждый подлец — антисемит; но каждый антисемит — подлец.

Укоротили язык вождю и учителю. Не предвидел ли он и этого в Горках, разбитый параличом?... Когда в его глазах, запечатленных на века кремлевским фотографом, был ужас...

ГЛАВА 4.

«Здесь видны гитлеровские методы. Когда не хватает хлеба, поджигают несколько синагог. И народ убеждается, что его хлеб поедают евреи».

Антисемиты, даже, если они существуют на разных континентах и в разных эпохах, схожи друг с другом, как ржавые, брошенные на дорогах кастеты.

Совсем о другом, не о Хрущеве, по-видимому, сказал Жан-Поль Сартр, а я вздрогнул, — как это он точно о Хрущеве!...

Порывисто протянул жене газету. Таким жестом показывают лишь касающееся кровно.

Полина засомневалась, можно ли это отнести к Хрущеву, который, как вздремнувшие в троллейбусе выпивохи, наверное, сам не знает, куда едет. Заметила краем губ, с превосходством деятеля точных наук, что я, как всегда, впадаю в ошибку: ищу в поведении государственных мужей логику.

Помолчала, листая «Правду», которая в последние годы все чаще походила на театральный прожектор, наведенный на Премьера — куда герой, туда и луч: с кукурузного поля в зал заседаний ООН, где Хрущев стучал ботинком по пюпитру, оттуда в Каир, где он самолично, без обременительных формальностей, вроде Указа Президиума Верховного Совета, присвоил Гамаль Абдель Насеру звание Героя

Советского Союза. Указ можно, в конце концов, и затребовать... Полина опустила на колени газету. Произнесла задумчиво:

— Как быстро протухает самовластие.

И закручинилась (питала она к Хрущеву слабость); сказала печально:

— Боюсь, от него, начавшего так многообещающе-гуманно, останется только мода у государственных мужей целоваться вчасос...

Что же делать?

Во все века, во все эпохи были свои, не дающие покоя «Что делать?»

Что, в самом деле, делать?!...

Махнуть рукой на все? Выдергивать штепсель радио, когда диктор с заученной значительностью читает ежедневные рацеи Премьера, от которых постепенно даже кукуруза перестает расти, торчит на северных полях жалким сорняком...

Идти с протестом в свою партийную организацию.

Хрущев разогнал ее. Недавно. Писатели-коммунисты, даже самые тихие, самые угодливые, проголосовали против роспуска организации. Единодушно...

А результат? Вот уже целую неделю секретарь разогнанного парткома Елизар Мальцев, взмокший, бледный, как полотно, выдает коммунистам открепительные талоны. Ступайте, куда хотите...

У Маргариты Алигер, помню, было лицо ушибленного ребенка. Она повторяла растерянно:

— Что же происходит? Как они могут?

Константин Паустовский, услышав о разгоне партийной организации, сказал с горестною усмешкой, непонятной тогда многим:

— За чем пойдешь, то и найдешь.

Бывает, людей объединяет радость, надежды. В тот час писателей Москвы объединило оскорбление.

«Что же делать?»

А... если прибегнуть к закону? К советскому закону.

Наши органы общественного порядка — милиция, суды, прокуратура оберегают... нет, не от Хрущева, конечно, ему я выдан с головой, хотя бы от распоясавшихся пьяных селявок?

Я почти не сомневался, оберегают. Напрасно никогда не доводил дело до закона. Уличный глум — не погром в науке, не избиение ученых. Тут все ясно любому постовому милиционеру. С рядовыми правонарушителями, по обыновению, не церемонятся.

Если из закона даже, что называется, дух вон, остается буква закона...

— Полина, в следующий раз, хоть за руки меня держи, оттащу очередного горлопана в милицию.

Ждать пришлось недолго.

Началось, по обыновению, с вагона.

В вагон вошли башкиры. Приезжие. Человек пятнадцать. Кто в пальто, кто в дубленых полушубках. Судя по лицам, рабочие, возможно, нефтяники. Столпились на площадке, весело переговариваются по-башкирски. Глаза живые. Беседа дружная. Приятно на них смотреть.

Сзади меня кто-то жарко дышит. Женский голос говорит желчно:

— Русский, небось, знают, а лопочут по-своему.

Башкиры сошли, а на площадку протолкались трое кавказцев, по-видимому, азербайджанцы. И заспорили о чем-то. Громко. Темпераментно. По-азербайджански.

Сидевшая сзади тетка уже не говорила, а шипела, как гюрза, готовая к атаке. Хриплый мужской голос поддакивал.

Я думал, сколько тысяч световых лет от этой тетки, с ее атавистическим, пещерно-племенным мышлением, которое Полине открылось, в свое время, на Ингулецком карьере, до лозунгов на красных полотнищах, которых она, наверное, давно уж не замечает...

Сойдя у метро, я забыл о ней, и вдруг в вагоне метро слышу тот же голос. Бранчливый. Наглый. Знакомая тетка в пуховом платке поносит испуганную старуху — цыганку, с огромными серьгами в ушах, которая укачивает ребенка.

Ребенок проснулся, заплакал, старуха сказала что-то гор-
танным голосом, и тогда вдруг раскричался пьяница в
забрызганном ватнике, который поддакивал в трамвае.

Этот уж отборным зерном сеял.

— Гитлер вас недорезал! Уезжайте в свой Израиль!

Как однообразна ненависть! Только зачем цыганке в
Израиль?

Писать мне еще одну статью «Вагон молчал»? И
обивать пороги редакционных кабинетов?...

Ну, нет!... Существует 74 статья Уголовного кодекса
РСФСР. Разжигание национальной вражды. Закон, черт
возьми! — не может быть с кляпом во рту...

К сожалению, пьянчуга успел съездить мне по скуле,
когда я его высаживал и передавал милиционеру. Служи-
тель закона этого не заметил, чему я обрадовался. Мой
синяк затмил бы все национальные проблемы...

Скандалистка в пуховом платке, бросив своего пьяного
попутчика или мужа, исчезла, видать, неприязнь к милиции
была у нее в крови. Пропала, как только раскрылись авто-
матические двери, и цыганка с ребенком.

И правый и виноватый бегут от закона?

Мы деликатно, под руки, доставили матерящегося раси-
ста в милицейскую комнату станции метро «Курский вок-
зал», и я рассказал дежурному, старшему лейтенанту, в чем
дело.

— Этот гражданин все путает! — прозвучал из-за моей
спины сильный, льющийся, хорошо поставленный голос,
голос университетского лектора или диктора. Я обернулся.
Оказывается, следом за нами в милицейскую комнату вошел
еще один пассажир метро. Сидящий человек, в габар-
диновом пальто. Из-под полей велюровой шляпы недобро
блеснули маленькие острые глаза. — Путает он все! —
повторил тот непререкаемо. — Видно, мания у него такая...
путать. Клеветать на рабочего человека!...

Но небритый пьяница не мог так быстро перестроиться.
Да, видно, и не хотел. Стуча кулаком по деревянной стойке,
он сызнова повторил свою программу.

— ... Недорезал! — коснеющим языком заключил он и поглядел на меня выпученными рыжими глазами, мол, ну и что? Накося — выкуси.

Лжесвидетель повернулся по-военному четко «кругом» и вышел молча. Неторопливо. Под ритмичные удары остервенелого кулака по стойке, как в там-там. Сохраняя высокое достоинство и в низости...¹

— Ну и нажрался... — удивленно протянул старший лейтенант, оглянувшись на громыхавший кулак. Затянутый портупеей, спортивного склада, похожий на комсомольского работника, юноша-дежурный был лапидарен и деловит. — Документы!...

Составив протокол, он попросил меня выйти с ним за дверь.

В фойе хлестал, как вода в половодье, людской поток. Старший лейтенант оттянул меня в сторонку, спросил шепотом:

— Как запишем?

— То есть как это? — не понял я. — Запишем, как есть...

— Нет, — он качнул головой. — Запишем «приставал» или «дебоширил»... Как хотите?

— Так, как было на самом деле!

Старший лейтенант взглянул на меня как на несмышлениша. Глаза его округлились. В них светилось, казалось, просто-таки высокое государственное понимание проблемы.

— У нас этого нет... Ну, этого самого... — И развел руками возмущенно: — Вы хотите, чтобы хулиган остался безнаказанным? От суда ушел?... Нет? Тогда почему вы мешаете привлечь его к ответу?

¹ Позднее я столкнулся с ним на парадной лестнице академического института.

Никаких сомнений, это был он. Малюсенькие глазки. Лицо лакея.

Я заинтересовался, кто таков «мой» лжесвидетель? Ответили: крупный специалист по новой истории. Мне ничего не оставалось, как подтвердить.

— Кру-упный специалист!...

— Я?!

— Конечно!... Упорствуете! Поверьте моему опыту!... Он уйдет от ответа... Так как все же запишем?

Я не поверил тому, что обрисуй мы «все, как есть», погромщик избежал бы наказания. Тут что-то не то...

На другой день отправился в народный суд, выбрал толкового судью, аспиранта юридического института. Выслушав меня и внимательно изучив мой красный, почти пунцовый билет члена Союза писателей СССР, тот взглянул на меня с любопытством. Лицо у судьи открытое, честное. В глазах — неловкость, словно я уличил его в чем-то...

Судья поправил машинальным движением галстук, усмехнулся. Переспросил, чтоб ответить не сразу, подумать.

— Как мы решаем такие дела? Словами не объяснишь. Приходите завтра. Как раз будет подобное дело... Следите за авторучкой секретаря суда. Он у нас дока. Все знает...

«Дока» оказалась немолодой женщиной. Судья спрашивал у дворника — татарина, какими словами его обзывала жиличка, он перечислил:

— Сволочью...

«Дока» записала.

— Грязной харей...

«Дока» снова чиркнула по листочку.

— ... Свиным ухом... — Авторучка секретаря осталась недвижимой.

— ... Все татары — спекулянты...

Ручка по-прежнему покоилась в приподнятой кисти секретаря, как нацеленный, но не брошенный дротик...

— ... Криворотым шакалом...

Перо тут же заскрипело.

Механика лжи оказалась проще пареной репы. Поставлено сито, сквозь которое проходит лишь брань, так сказать, в чистом виде, без привкуса националистической травли...

Сталинский интернационализм! Разливанное море интернационализма.

Исследован весь путь. Рассмотрен собственными глазами. Ощупан собственными ладонями.

Не к кому больше писать. Не к кому обращаться.

И все же я снова и снова прохожу с воловьим упорством весь путь заново, обиваю пороги, кажется, всех чиновников от литературы и прокуратуры, которые слушают меня, глядя куда-то в окно, пытаюсь протестовать, взывать к рассудку, к сердцу, к совести, к остаткам идейности...

Интернационализм! Разливанное море интернационализма...

Происходит нечто вроде игры в «жучка». Дадут отвернувшемуся еврею по уху, со всего размаха, а затем к нему протягиваются руки, как бы для помощи, с торчащими кверху большими пальцами. Угадай, кто так здорово врезал? Лица у всех каменные, непроницаемые. Не угадаешь, поворачивайся затылком, еще вклеим...

Наконец, мне это надоело. Года два я жил тугоухим. Придуриваясь заодно дальтоником, который не отличает красного от зеленого...

Сытно жил. Почти спокойно. Мне сказали «жид» всего два или три, да и то какие-то неавторитетные граждане. Мимоходом.

Еще немного, и я, пожалуй бы, привык. Говаривал бы, как заведено на Руси: «Хоть горшком назови, только в печь не ставь»,

Увы, когда долго называют «горшком», недалеко и до печи. Порой кремационной...

Неожиданно пришла весть о слепом ученом — физике Ц., который работал где-то за Уралом, в «почтовом ящике».

Страшная весть.

Пятнадцать лет я не знал о том, что в стены его дома заложена «адская машина». Пятый пункт: еврей... Когда пришло время, машина сработала...

У Ц. родился сын, тихий, одаренный, в отца, мальчик. На всех физических и математических олимпиадах он

завоевывал первые места. Его называли в школе «нашим Ломоносовым».

Он был глазами слепого отца, его счастьем, его надеждой.

Сын сдал экзамены в Московский университет. Сдал блестяще, хотя на одном из экзаменов его мытарили более трех часов.

Он получил проходной балл и... был отброшен: с того времени в Московском Университете, на физическом факультете, начали особенно рьяно, как мне объяснили, «укреплять социальный и национальный состав студентов»...

Талантливый мальчик не знал, что «укреплять», значит, убивать его.

Он не был нравственно подготовлен к этому. Возможно, он и не слышал об «укреплении», живя в своем высоком мире научных проблем. «Укрепление» обрушилось на него лавиной, смяло, задавило его. От нервного потрясения он заболел, попал в больницу и спустя месяц умер...

У меня самого растет сын, и мои чувства нетрудно понять человеку, у которого есть сердце.

Что я скажу ему? Как объясню то, что происходит? Имею ли право разрушить его мир, его представления о справедливости, за которые уже сейчас он платится своими боками, порой ходит в синяках.

Но, судите сами, нужно ли вмешиваться хотя бы вот в это...

В классе, в который недавно перевели сына, учится огромный неповоротливый мальчик. Сильный, с большими руками. Из семьи донских казаков. Однако его бьют все, кому не лень, на каждой перемене. Катаются на нем верхом, и даже, по сему случаю, окрестили «лошадью».

Сын был поражен тем, что рослый и сильный мальчик покорно терпит издевательства. А потом вдруг узнал, что мальчик вырос в Магадане, в семье репрессированных родителей; страх родился, что называется, раньше него... И он боится кого-либо ударить, боится протестовать, боит-

ся жаловаться... Он всего боится, этот огромный сильный травмированный временем мальчик.

И сын сказал во всеуслышанье, что он никому не позволит бить «лошадь»... Тот, кто ударит, ударит, тем самым, и его, Фиму.

Теперь сыну достается в три раза больше, чем в том случае, если бы он стоял в стороне или, как прочие, катался верхом на затравленном покорном мальчике, превращенном в «лошадь».

... У сына свое хозяйство. Маленький галчонок «кар-карыч», который вывалился в лесу из гнезда и живет у него, пока не научится летать. «Кар-карыч» подымает нас в пять утра. Его остервенелое карканье возобновляется каждый час, он надрывается, пока не получит своего червяка или творог, непременно жирный; однако, когда я осторожно намекнул на то, что хорошо бы галчонка кому-либо подарить, сын взглянул на меня внимательно и спросил: «Неужели у тебя подымется рука на сироту?...»

Кроме «кар-карыча», у сына живет синичка-гаечка, неугомонная щебетунья, и морская свинка по имени Мишка.

Она называлась Мишкой до той поры, пока одноклассница сына не принесла другую красноглазую свинку, по имени Машка, и двух красноглазок заперли в клетке, чтоб из этого что-нибудь, да вышло.

Но свинки... начали в ярости царапать друг друга. Тогда явился ученый сосед, исследовал их и, покачав головой, сказал: — Позвольте! Они обе женщины.

— Да? — упавшим голосом переспросил сын, однако нежность его к свинке не уменьшилась. Только зовет он ее иначе:

— Иди сюда, моя глупая женщина!

Или «Кусей».

Самое ласковое слово у него: «кусенька».

Позднее стряется беда, в райкоме станут разбирать прав я или виноват. Когда я вернусь домой, сын неуверенно, искоса, посмотрит на меня, словно его неосторожный взгляд может поранить и — не спросит, выдохнет: «Ну как?»

И порывисто потянется ко мне и, обняв худющими руками, скажет с нежностью, на которую только способен: — Кусенька ты моя!...

Растет сын. «Фима начал чистить ботинки. Без напоминаний, — сказала вчера Полина. — Подозреваю, что у него появилась девочка.»

«Но шею он еще не моет, — обнадеженно заметил я. — Из этого можно заключить, что их отношения не зашли далеко...»

Только что мы ездили с сыном в Ленинград, на святые места...

Мы ходили с ним по Сенатской площади, где грозили престолу декабристы, и я рассказывал, где кто стоял и откуда стреляли пушки; трепетно осмотрели пушкинские места.

Мне пришла мысль: вот я привез сына к своим святым местам.

А о восстании еврейского героя Бар-Кохбы, или, к примеру, о венгерском Кошуте он узнает гораздо позже, и это естественно — то для него святые места других народов...

Вместе с тем, он уже видит, что отцу почему-то трудно, порой невыносимо тяжело работать. Перед поездкой в Ленинград, разглядывая карту города, он прочитал на ней: «Река Волковка», «Литературные мостки», и спросил деловито, будничным тоном:

— С них литераторов бросали?...

Но он еще не знает, мальчонка, что объявились «прогрессисты», которые не раз бросят ему в лицо, что святые места России — не его места, пусть он убирается... Он еще и представить себе не может, что такое мыслимо, хотя национальные проблемы начали уже подступать к нему вплотную, как паводок, который растет не по дням, а по часам.

Почти все наши университетские друзья вступили в смешанные браки. Только что мы вернулись с сыном из одной такой семьи, где у меня выпрашивали, как записать подросших мальчиков. Русскими или евреями?

Мы обменивались репликами вполголоса, чтобы наши дети в соседней комнате не слышали родительских терзаний...

Большинство склонилось к тому, что — русскими. Хватит и того, что родители намаялись. Отец, теперь ученый-физик, три года подряд сдавал экзамены в аспирантуру. Срезали на основах марксизма, хотя для этого бились не «одну годину»...

Но тут отец-физик вспомнил, как в Университете, на их курсе, принимали в комсомол паренька. Зачитали анкету: «Гильман Яков Абрамович, русский»...

Грохнул тогда от хохота зал. Развеселились студенты. А парнишка топтался у трибуны, ни жив ни мертв...

— Зачем же калечить детей? — воскликнул физик. — Обречь на приспособленчество, на уязвимость, на чувство неполноценности? На то, что каждая скотина может плюнуть в душу?

— Лучше обречь на жестокую бесчувственную дискриминацию? — возразила мать.

Отец побагровел, продолжил неуступчиво, почти яростно: — В начале века дочь губернатора, дворянка, ушла в революцию. И записалась еврейкой. Принципиально. Чтоб быть с теми, кому хуже всех... Нагляделась на то, как отец расправлялся с евреями, выселял стариков, детей из города в черту оседлости, как казаки насиловали женщин, и сказала себе: «Я с теми, над кем глумятся»... Это стало ее верой. Ее нравственным катехизисом.

Стать плечом к плечу с самыми униженными, с самыми обездоленными!... А мы! Будем приучать детей жить, как полегче? Ловчить? Человеку шестнадцать. Первый самостоятельный шаг делает... Начнет выбирать дороги полегче, куда по этим «легким» дорожкам докатится? Не станет молчуном? Лизоблюдом? Подлипалой — чего изволите? А то и наушником? Евреем-антисемитом? Стукачом? Таким, слышал, легче...

— Ты хочешь, чтобы ребенок не попал в институт, — заплакала мать.

... Спорят родители. Зовут друзей, чтобы посоветоваться.

И все встревожено, в тоске думают о том, как подготовить детей к подлой правде, которая вдруг откроется им и может убить, как убила талантливого математика — сына фронтовика, который в боях за Родину потерял глаза.

Как спасти детей? Охранить их от горечи, от придушенности, от дискриминации, как это сделать?!

Подумать только, мой дед-шорник и отец-слесарь были возведены в ранг полноправных граждан 1917 годом. Смогли уехать из черты оседлости в Прибалтике, где пухли с голоду. Обрести равноправие и человеческое достоинство.

Меня, сына и внука рабочего, неутомимые борцы за интернационализм превратили в гражданина *второго* сорта. «Некоренное население»! Еврей!

А мой сын, сын писателя, и в то же время, еврей, он уже будет гражданином *третьего* сорта.

Поэты!...

Если так пойдет дальше, то какого сорта будут мои внуки? Внуки моих внуков?!

Досих пор никак не решусь открыть Фиме, что не только пятилетний сын дворника может сказать ему презрительно: «Ты не русский, ты татар!»), не только пьяный на улице может безнаказанно обозвать жидом, что то же самое полагает ныне и вполне трезвое государство. И, если он будет жаловаться, никакие законы его не защитят. Они блокированы пламенным «интернационализмом». Мертвы...

Я не знаю, когда я решусь сказать ему об этом...

Он, здоровый мальчик, к счастью, быстро забывает о своих душевных ссадинах, неутомимо возится с птицами и морской свинкой, ходит в походы с биологами, ночует в лесу, в спальном мешке, заводит гербарии речных трав, завоевывает призовые места на городских биологических олимпиадах, мечтает об учебе, о науке, а у меня... ком в горле.

Что ждет тебя, мальчонка? Что ждет твоих друзей,

которые еще не знают, что их давно поделили на «коренных» и «некоренных»... И, пройдет время, возможно стравят, как стравливают собак. Как пытались стравить нас.

Не начнешь ли и ты получать угрожающие письма, как твой сосед, сын зверски растерзанного еврейского поэта Переца Маркиша? Не ждут ли и тебя мордобой и тюрьма, — бросили же в тюрьму девятилетнюю Марину — внучку расстрелянного писателя Давида Бергельсона!

Хрущевский корабль идет с креном, на палубе порой трудно устоять, сносит к правому борту.

И я невольно задаю себе вопрос: если когда-либо не устоит мой сын, потеряет равновесие или расисты попытаются сбросить его за борт, как бросили уже многих, кто-либо поддержит его? Придет ему на помощь?... Ненависть, увы, активнее доброжелательства...

Я пишу эти строки, а за стеной сын и его друзья-школьники крутят магнитофон. Высоцкий покориł мальчишек. У них, знаю, серьезные лица, когда они слышат мужиковатосиплый и сильный голос певца: «Вы этот лес рубите на гробы: в прорыв идут штрафные батальоны...»

Счастливое поколение, которое даже представить себе не может, как было на самом деле! Даже вообразить не смеет!

Какие там гробы!...

Зимние леса, к примеру, подмосковья сорок второго года были полны «подснежников»... Так назывались трупы солдат, заметенные снегом.

Они чернели из-под талого снега, скрюченные, страшные. Саперы толком взрывали в мерзлой земле огромные воронки. И похоронные команды, старики с обледенелыми усами, мальчишки — выздоравливающие из госпиталей, подтягивали трупы к воронкам и — за ноги — за руки — сбрасывали вниз. Около сотни стриженных ребят в одной воронке, до весны открытой...

Обобранные немцами до нитки, замерзающие деревни ночами доставали себе из этих воронок одежду, и по утрам

можно было видеть прислоненных к земляным стенам убитых солдат, с которых были торопливо стянуты, вместе с кальсонами, ватные брюки; над воронкой торчали лишь голые посинелые ноги.

А на окоченелых «фрицах» мальчишки катались с гор, как на санках.

Жестокое поле 1942 года.

И я не раз сносил к его краям оледенелые «подснежники», так же, как похоронные команды, — за ноги, за руки — сотни «подснежников», чтобы наши самолеты могли сесть. Не скапотировать на пробеге.

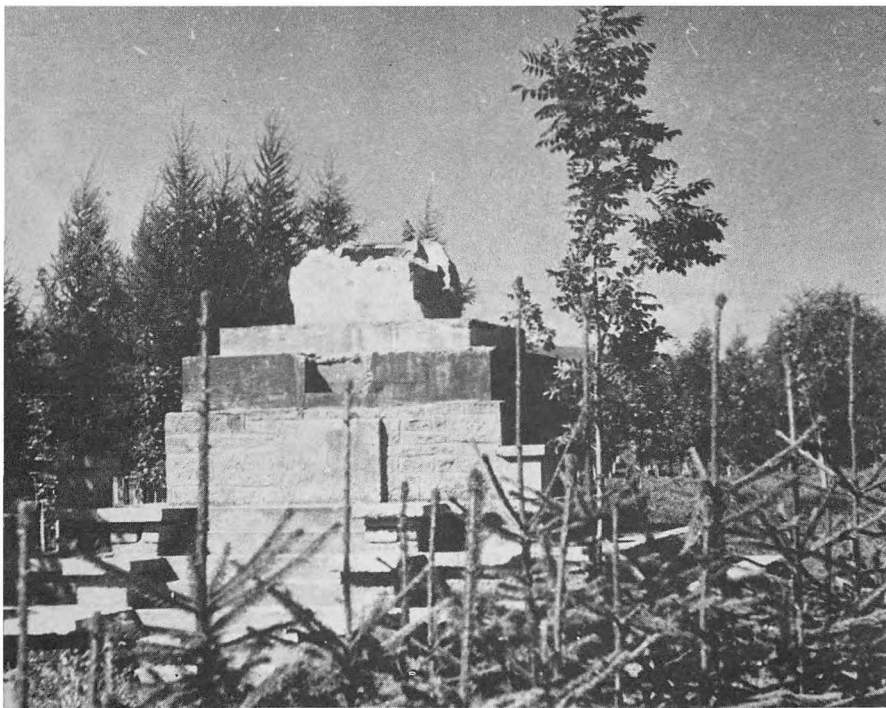
А потом и сам валился в этот снег, под свист фугасок и тяжелых снарядов, которые вдруг обрушивались на глухие лесные поляны или «аэродромы подскока», как назывались они в штабных бумагах.

Отлежавшись в снегу, бежал к самолету, чтобы мой сын никогда не встретился с фашизмом...

... Пройти все это, и увидеть, что у расизма, как у многоголовой гидры, снова отрастают головы?

Да могу ли я не думать об этом?

Моего сына зовут Фимой, в честь такого же мальчика Фимы, преданного его учительницей, в честь Фимы, убитого разрывной пулей полицая... Неужели и моему Фиме придется жить с ощущением гонимого, у которого прикреплено к сердцу, как в нацистском лагере уничтожения, яблочко мишени: «пятый пункт». Стреляй, кто хочет!



«ОТТЕПЕЛЬ...»

Такие картины можно было наблюдать в 1956 году на всех площадях и улицах городов СССР; видно, они и вызвали «поэтический» стон черносотенного поэта Феликса Чуева, достойной смены Сергея Васильева:

*... — Верните Сталина на пьедестал.
Нам, молодежи, нужен идеал...*

ГЛАВА 5.

«Антисемитизм, как древние памятники, охраняется государством». Я приколотил бы такую табличку у входа во все государственные учреждения, которые Хрущев в эти годы то сливал, то разливал.

Это было бы честнее.

Она, впрочем, давно уже прибита, такая табличка, пусть незримо, ко всем государственным зданиям, несмотря на то, что Хрущев каждый раз заслонял ее своей спиной, особенно решительно после погромов, вроде малаховского...

Как многорукий бог Шива, Хрущев успевал «давать отпор» всем, кто был встревожен затянувшимся глумлением над русскими евреями, даже мужественному и благородному лорду Расселу, даже великому Полю Робсону, посмевающим задавать «сомнительные» вопросы.

Он разъярялся, гневался, твердил вновь и вновь «У нас этого нет!» с такой наглостью и болезненно-изощренной хитростью, с какой нищий, у которого хотят отобрать выручку, прячет за щеку последний золотой. Пусть даже фальшивый.

Проглотит, но не отдаст...

Доколе молчать об этом позоре? Всю жизнь?...

Кто найдет в себе силы подняться на трибуну и, вопреки всему, бросить в лицо тупорылому «интернационализму»: — Довольно паясничать!

Конечно, лучше, если б гневное «хватит!» бросил человек, на груди которого нет незримой и унижающей желтой звезды «пятого пункта». Русский из русских.

Об этом вопиют, вот уже сколько лет! — могильные холмы, карьеры и шахтные шурфы, куда гитлеровцы сбрасывали евреев и партизан.

Этого требуют Щедрин и Герцен, Толстой и Короленко. Высокий гуманизм России...

Как-то с трибуны писательского собрания осудил «доморощенных» погромщиков писатель Бляхин, автор известнейшего в свое время фильма «Красные дьяволята»... За ним поднялся профессор Литературного института Шукин, осмелившийся, подумать только! — в связи с антисемитизмом процитировать Маркса: «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы!» (К судьбе Шукина мы еще вернемся). Наконец, Константин Паустовский на обсуждении романа Дудинцева в 1956 году всердцах окрестил неких своих высоких попутчиков по круизу маклаками и антисемитами.

Но слов этих точно не расслышали, тем более, что, когда Хрущев вошел в силу, их больше не повторяли.

И попыток не было...

Я надеялся, что старых писателей поддержат, может быть, руководители Союза; что первым шагнет навстречу им Секретарь Союза Алексей Сурков, которому черносотенцы ненавистны¹. Сурков молчал.

Я ждал, поднимет голос протеста Александр Твардовский. Антисемитизм всегда был открытой раной русской интеллигенции.

У Твардовского были свои заботы. Свои горести.

Я убеждал выступить многих старых европейски знаменитых писателей. Одни — словно не слышали меня, неизлечимо скрюченные страхом — нервным газом XX века.

¹ А. Сурков в 1949 г. был единственным Секретарем Союза писателей СССР, который нашел в себе мужество демонстративно и безрелигиозно отстраниться от «космополитической кампании».

Быстро переводили разговор. Другие хлопали по плечу и говорили весело: «Попроси о чем-нибудь попроще». Знать истину и жить ею, увы, разные вещи...

На морщинистых дряблых лицах третьих улавливал порой что-то от выражения Поликарпова, который в разговоре со мной с трудом удержался от зевка: «Ах, евреев...»

А один из писателей-стариков и в самом деле зевнул. Широко зевнул, прикрыв рот склеротической рукой.

«Зевать да продавать, некуда б деньги девать», — говорила мне бабка в сибирском колхозе, рассказывая, как они прозевывают для сева лучшие сроки...

Как-то, на новый год, который мы встречали в незнакомой компании, сын за столом ссутулился. Я бросил ему обычное: «Выпрямись, горбуном будешь!» Увидел, как страдальчески вздрогнули зрачки у низкорослого паренька, сидевшего напротив. Он встал, вышел из-за стола, и я увидел, что он горбун.

У меня похолодела спина.

Вот уже год прошел, я помню об этом и не могу себе простить, хотя, видит Бог, никого не хотел обидеть.

А мои престарелые друзья по писательскому цеху... Они прекрасно знают, что их товарища зачислили в горбуны и, как «горбуна», в частности, не подпускают к порогу издательства «Московский рабочий» и нескольких других издательств, по поводу которых сами же старики меня предупреждали, чтоб я туда и не ходил, не терял времени...

Они видят, слышат, что мне то и дело кричат: «горбун», в неистовом убеждении, что если человека всю жизнь бранить «горбуном», то у него и впрямь горб вырастет.

И... не шелохнутся?

Что же произошло с людьми?...

«Вагон», за редким исключением, молчит, оказывается, и в той его головной части, где пристально глядят из окон на мир прямые наследники русских писателей, бросивших миру свое: «Не могу молчать!»

Лишь через несколько лет, в шестьдесят втором году, я познакомился и близко сошелся с поразительным челове-

ком, потомком старинной дворянской семьи, ушедшей в революцию, а затем в русские тюрьмы, человеком, который встал со мной, плечом к плечу, и который в моих глазах спас честь русской творческой интеллигенции хрущевского безвременья.

Степан Злобин.

Степан Злобин был писателем и ученым. Это известно всем. Но многие ли знают о том, что значил для окружающих этот светлоглазый, с тонким лицом, интеллигент, высокий и угловатый, как Жак Паганель или Дон Кихот? Чем был для нас Степан Злобин?

Степан (так мы называли его), автор «Салавата Юлаева» и других исторических повестей, ушел в 41 году в ополчение и попал в окружение; за колючей проволокой гитлеровского лагеря он, беспартийный человек, стал руководителем партийного подполья: человека здесь характеризовали не бумажки...

Когда гитлеровцы, отступая, собирались уничтожить лагерь, заключенные, возглавляемые Степаном, захватили охрану и всех предателей. И продержались трое суток до подхода американских танков...

Здесь, в лагере, и отыскал его кто-то из писателей, кажется, Борис Горбатов, оборванного, устрашающе худого, обутого в деревянные колодки.

Когда Степан вернулся домой, один из английских солдат, услышавший, что советских военнопленных отправляют в Сибирь, прислал в Москву, в ЦК партии, письмо, где рассказал, кем был для них, заключенных-антифашистов, Степан Злобин.

Это письмо стало документом № 1 в толстущем деле «об английском шпионе Степане Злобине».

Бериевцы арестовали нескольких бывших заключенных фашистского лагеря, чтоб они оговорили Злобина.

Но ни один бывший лагерник-подпольщик, как его ни били, не дал показаний против Степана Злобина. Не солгал.

Однако «расследование» было прекращено лишь после того, как Сталину попался на глаза роман «Степан Разин»,

и Степану Злобину неожиданно для всех, вручили медаль лауреата Сталинской премии 1 степени.

Произошло это так. Александр Фадеев и другие члены Комитета по Сталинским премиям, отобрав кандидатов на звание Лауреата 1951 г., были приняты в Кремле Сталиным. Сталин проглядел подготовленные документы и спросил вкрадчиво-спокойно, почему никто не представлен на звание «лауреата первой степени».

— Лауреат Сталинской премии второй степени, видите ли, нашелся, третьей тоже... А — первой... Пожалели?...

Александр Фадеев, смешавшись, побледнев, как полотно, объяснил торопливо:

— Такой, Иосиф Виссарионович, неурожайный год. В литературе это бывает. Нет выдающихся произведений.

Сталин пыхнул трубкой, сказал с едва уловимым сарказмом:

— Как нет?... А вот я недавно прочитал исторический роман «Степан Разин». Два тома. По-моему, выдающееся произведение...

... Как боялась Злобина литературная шпана! Пятнадцать лет подряд подымался он на трибуну писательских собраний и тогда, когда никто не решался на это, — только он один, и слова его вызывали чувство гордости за него.

Ни на съездах, ни на собраниях ему уж говорить не давали. Всполошенно кричали «подвести черту», когда следующим собирался идти на трибуну Злобин. Он успевал бросить своим недругам то, что думал о них, и за те минуты, когда выходил отводить из выборных списков недостойный людей. Как-то он шагнул к микрофону и, сказав, что хотел, бросил в заключение президиуму, где находились Константин Федин, Леонид Соболев и другие писатели, только что пришедшие со встречи с Хрущевым и восхвалявшие его:

— А вы, жадною толпой стоящие у трона, — все равно какого!...

Естественно, на Степана выливались такие критические ушаты, что многим казалось, ну, теперь-то уж Степан

Злобин успокоится. Здоровья нет у человека,... надо бы и себя побережь.

Но проходили полгода-год, и на очередном писательском собрании Степан снова вызывал огонь на себя, протестуя против закоснелой «обоймы» перегенерализвавшихся генералов от литературы, против преступной вакханалии переизданий, против лжи, против гнили и закоренелого плутоватого кликушества, выдаваемого за верность идеям.

«Русский интеллигент революционен до 30 лет», говорил А. П. Чехов. Степан Злобин был живым опровержением пессимистического взгляда на русскую интеллигенцию.

Однажды я услышал, как дежурный по Дому литераторов вызывал санитарную машину. Спросил, что случилось? Тот ответил: — Степану Злобину плохо. Сердце. Предполагают инфаркт...

Я вбежал в комнату, где происходило заседание Секретариата Московского отделения Союза писателей.

В накуренной комнате, на полу, лежал Степан Злобин, ждущий врача. Возле него сгрудились «руководящие писатели». Они как-то непонятно вели себя возле больного. Возбужденные чем-то, они размахивали руками, говорили громко. Степан Павлович, лежа на спине, с каким-то ожесточением встряхивал головой, отвечая им.

Оказывается, они доругивались...

Когда Степану Злобину стало совсем невмоготу, он попросил, чтобы у его постели подежурил один из его старых друзей.

«Почему посторонний, не из родственников?» — удивился врач.

«Эти мальчишки были со мной в плену, они мои сыновья», — ответил Степан Злобин.

И нас он тоже называл сыновьями.

Мы втайне гордились этим, хотя и понимали, что пока еще ничем не заслужили такого расположения к нам.

«Сыновья» толпились в его доме непрестанно. Степан решительно требовал, чтобы «сыновья» перестали называть себя молодыми писателями.

— У нас писателей крестят молодыми лет до 50. Это не что иное, как тактика отбрасывания молодежи. Подлая тактика. Коль молодой, значит, незрелый.

Писателям — «сыновьям» было тогда около сорока, младшему — за тридцать, все мы были авторами нескольких книг. Понимая, что и в самом деле засиделись в «молодых», мы считали все же это почти естественным, «литературной нормой»...

— ... Вы, похоже, дали убедить себя в том, что неполноценны?! — негодовал Степан Павлович. — Ненавижу инфантилизм тридцатилетних «лбов»! Неужели не видите, что это — некая разновидность мещанства... Пусть, де, нас считают неполноценными! Пусть другие себе голову расширяют! А нас пусть воспитывают...

Этаким «лбам» другого и не надо, как слыть незрелыми. Уютненько! Безответственно!

«Сыновья» Степана Злобина читали помногу. Плеханова, Кропоткина. Несведущий для Степана Злобина — не оппонент. Один раз ткнет тебя носом в нужную строку, другой, а на третий... не желаешь читать, иди своей дорогой...

Он часто доставал с полки статьи Максима Горького о мещанстве.

«Стремление во что бы то ни стало к самоуспокоенности, тишине и благополучию, — читал он нам, — является *основной нотой* мещанства... Всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх перед всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой...»

С антисемитами Степан воевал всю жизнь. И в гитлеровском плену, где выпускал листовки¹, и после плена, когда

¹ В Минском музее Отечественной войны хранится рукописная «Пленная Правда», написанная в гитлеровском концлагере рукой Степана от первой до последней строчки. Здесь, среди заметок «наша правда», «хроника», есть и статья «Что такое антисемитство?», начинающаяся словами: «Звериный средневековый пережиток, принадлежность самых реакционных слоев общества...»

приходилось защищать чудом выживших в лагере евреев — гитлеровских заключенных. Хотя это удавалось не всегда. «Раз еврей и — жив, — стояли на своем проверяющие, — значит предавал».

Лежа на носилках, на которых его выносили из Клуба писателей, Степан сказал мне, взмахнув худой рукой Паганеля:

— Вынесли... «Там, где говорят еврей, а подразумевают «жид», там мне, собрату Генриха Гейне, не место...» Ай да Цветаева! Не устарела...

... Когда носилки поставили в санитарную машину, он подозвал меня жестом, попросил съездить к нему домой, успокоить семью. — ... И носи все свои материалы: какие есть. В палату. История антисемитизма. Генезис и прочее... Молчать уж невмочь! Как встану на ноги, так...

Машина уехала.

Я отправился к нему домой, вернулся, сел за сценарий о моих товарищах-летчиках Северного флота, а сам все время возвращался мысленно к просьбе Степана.

«Материалы!»! Никаких материалов у меня, строго говоря, не было. Я вовсе не жил расовыми проблемами дено и ночью, как может показаться читателю. Совсем другое волновало меня в эти годы. О другом спорили в нашем доме до хрипоты...

Я только вернулся со строительства Братской ГЭС, где встретил старых знакомых; среди них — известного крановщика, работающего, небритого, чем-то подавленного. В давнюю нашу встречу, еще на Кольском полуострове, он был рабкором, горячо втолковывал мне, отчего у них простои. «Дороги корытом, делают без ума. Их заливают... Да ты, записывай, записывай»...

А теперь крановщик, дыша на меня водочным перегазом, только посмеивался уныло, глядя сверху на утопавшие в бурой воде неподвижные самосвалы.

«... А нам что? Начальство газеты читает, радио слушает. Пускай-от оно и суетится»... «Наше дело телячье»...

Взглянув на меня, он покраснел и сказал, яростно сплюнув вниз:

— Говори — не говори, один черт! Без внимания... Федьку помнишь? Бригадира бетонщиков, который героя получил. Бился-бился. И что? Нажил городскую болезнь. Хипертония называется... А самосвалы, как простаивали, так и простаивают. Дороги-от корытом... И ты, знаешь, не терзай себя понапрасну. Плетью обуха не перешибешь...

Сколько раз я слышал подобное! Видел похожее! Молчащие собрания. Остервенелые плевки: мол, ваши заботы нам до лампочки... В Ангарске, в Иркутске, на стройках Москвы. Но эта встреча на высокой бетонной плотине Братской ГЭС, на ударной стройке, ежедневно восславляемой газетными фанфарами, как передний край борьбы за коммунизм, душу мне перевернула.

Отзвуки древней темы России: «Народ безмолвствует» ошеломили меня, поглотили все мое внимание, вытеснили все остальное, чтобы позднее излиться, в своем противоборстве, в романе «Ленинский проспект», за который я, вернувшись в Москву, и засел...

Что же касается юдофобства... Нет, наше расейское юдофобство никогда не поглощало всех моих дум, не было моим делом. Оно было моей болью, моей то заживающей, то вновь кровоточащей раной.

«Материалы... Гenezис...» Это уже серьезно.

Я отправился в Ленинскую библиотеку и начал исследование примерно с той же точки, на которой остановился пятнадцать лет назад. С последних номеров погромного «Русского знамени».

Библия русских черносотенцев — не устарела ли она, наконец, в наши шестидесятые годы?

Поначалу думал — устарела. Слишком многое отпало. Не попользуешься.

Две тысячи лет евреев убивали за то, что они Христа распяли. Теперь-то уж, думаю, это не пройдет.

И, в самом деле, облетело черносотенное дерево. Почти все листья ободрало историческими ветрами, смело в мусор.

Лучшие идеи — на помойке.

«Христа распяли». (Даже католический Вселенский Собор принял решение — на помойку.)

«Кровь невинных младенцев проливают!»

«Жидаы — ростовщики. Наживаются на христианах.»

«Евреи — отравители».

Полным полна помойка...

Что же пока живет? Профессор Гудзий говорил «ищите, да обряцете!»

Да, вот этот лист, пожалуй, не облетел. Держится веками, обновленный, в частности, и императорским Указом 1914 года.

«Все лица иудейского вероисповедания выселяются из прифронтовой полосы, как нелояльные граждане, которые могут вступить в контакт с неприятелем».

«Могут!...»

Мой прадед, дед Гирш, в честь которого мне дали имя, был николаевским солдатом. Служил царю и отечеству 25 лет. Его ранили еще во время первой обороны Севастополя. И вышвырнули из родного дома под Вильно, вместе с сыновьями и внуками, — «На основании Указа», — никакие заслуги перед царем и отечеством не помогли.

Вывезли на телегах — несчастных, плачущих, под конвоем казаков...

«Могут вступить в контакт...»

Сменились эпохи, режимы, знамена, — мне и моим товарищам-евреям, чудом вернувшимся после жестокой войны, снова пришлось, как и прадеду Гиршу, убедиться в своей «второсортности».

«Могут...»

Но, ведь, прошло сто лет.

Взлетели на своей «этажерке» братья Райт...

Медики покончили с эпидемией чумы...

Народы покончили с царями...

Закружили над землей спутники связи.

Готовится экспедиция на Луну.

Радио вещает о победе коммунизма с утра до ночи... Так что же? Появились новые теории? Идеи? Разработки? Какое! Мелькает лишь, как огни бегущей световой рекламы, площадная брань.

Антипатриоты!
Безродные космополиты!
Ученый кагал!
Агенты «Джойнта»!
Разбойники пера!
Наемники империализма!
Беспачпортные бродяги!
Враги народа!
Пятая колонна!
Сионистствующие!
Идейно чуждые!
Нелояльные!
Словом, «могут...»

Естественно, все статьи, брошюры, фельетоны об иудейской религии воспринимаются, в мелькании этих «огней», уж не иначе, как выступление против евреев.

Они! Они! Они!!!

Если требуется еще «научнее», на табло вспыхивает:
«Коренное население...» «некоренное население...»

В самые последние дни промелькнули новые слова. Только для посвященных:

Не выдвигать представителей народа, имеющего свою государственность за границей.

То есть, скажем, англичан, немцев и... евреев...

Не было Израиля — бей!

Появился Израиль — бей!

То-то пьянчуги осмелели, моей матери сосед, как напьется, так кричит истошно: — Израиль!

Раньше кричал обычное, неоригинальное. А теперь перестроился. Израиль, и дело с концом. Понятно, что из души рвется, и... не придерешься.

Как-то, совсем недавно, влиятельный писатель «из настоящих русских», как величают себя погромщики, снизошел до теоретического спора со мной. Об этом. Мы встретились неожиданно на научной конференции, и в перерыве он попросил, чтоб я посидел с ним за одним столом («если не брезгуешь», — сказал он настороженно-шутливо), налил себе стакан столичной и сказал конфиденциально, шепотом, что лично он меня любит, есть во мне что-то широкое раздольно-русское. Этакое — пропадай моя телега! Все четыре колеса...

— Лю-ублю!...

Затем он развил свою неумирающую идею о чужеродности секции переводчиков в Союзе писателей. («Много там ваших...»). Обтер сальные губы и сказал вдруг громко, так, по обыкновению, запевают в сильном подпитии любимую песню:

«... Ка-ак ты не крути, а Израилю *они* симпатизируют! А мы Израиль били, бьем и бить будем. Такова историческая реальность...»

Насчет реальности мне давно уж все известно.

Не было Израиля — бей.

Появился Израиль...

Я сказал с усмешкой, что компартией принята специальная резолюция по еврейскому вопросу. Она отвечает, в частности, на все вопросы наших доморощенных расистов.

Мой собеседник вдруг посерел, отчего широкий, словно приплюснутый ударом, кончик носа его заалел катастрофически. На лбу выступила испарина.

Передо мной было лицо банкрота. Человека, который потерял все свое состояние.

Оттянув от горла тугой крахмальный воротничок, он переспросил напряженным шепотом:

— Партийный документ? Ставит по-новому... о евреях?
— Острый кадык у него заходил вверх-вниз.

Я достал из бокового кармана брошюру, на которой было написано: «Political affairs, august 1966.»

— А-а, так это для заграницы... — протянул он понимающе, успокоенно.

И уж вовсе повеселел, задвигался на стуле освобожденно, когда узнал, что это резолюция по еврейскому вопросу XVIII съезда Американской коммунистической партии.

... В Атлантическом океане густые туманы. Как известно, сквозь густой туман трудно разобрать, что там, у них, русских происходит. И стоны наши не доносятся. Далеко... Так что американским коммунистам, вот уже сколько лет, приходится чаще всего утверждать, что русским евреям недостает, главным образом, молитвенников...

А все остальные сведения о русском расизме — это, конечно, пропаганда «желтой прессы»...

... «Истинно-русский» собеседник выносил мое чтение только до слов о том, что русский антисемитизм помог зачинщикам холодной войны добиться успеха...

Тут он поднялся и, нервно постучав пальцами по столу, сказал непререкаемо, что американская компартия нам не указ. «Пусть она занимается своими черножопыми». У нас свои дела! И свои формулировки.

И верно. Свои... Самое широкое распространение, как известно, получила исконно русская формулировка «коренное население». Сейчас это ... термин государственной и партийной практики. Разменная монета чиновничества.

Она, пожалуй, более всего оскорбила меня, когда я вернулся с войны.

Откуда он появился, этот глубоко внедрившийся термин? Кем разработан? Кто его автор?

Может быть, действительно, классики марксизма? Маркс? Энгельс?... Ленин?

Я отыскал его, наконец, в Указе... Александра III.

«... евреи-ремесленники своим существованием мешают развитию ремесленного труда среди *коренного населения*...»

Евреям, тем самым, отлучались указом его императорского величества от звания коренного населения, даже если они жили в России тысячу лет...

Отлучались, тем самым, от равноправия во всех сферах. Но нельзя же советскому правительству, думал я, хорошиться... за царское отлучение.

Ведь это же не шутка, когда на народы вешаются бирки, как на скот: «коренные»... «некоренные»...

Не может быть, чтобы не появилась какая-то научная подоплека... За восемьдесят лет могли, в конце концов, что-либо придумать?...

Сколько лет, допустим, тот или иной народ должен прожить на земле, чтобы «пустить корни», получить охранную грамоту — коренной!

Есть ли критерии? Судите сами...

Указом Президиума Верховного Совета от 20 августа 1964 года сняты все тяжкие обвинения с немцев Поволжья... Но они на родные места не возвращены. Почему? «...Укоренились на новых местах».

5 сентября 67 года Указ Президиума Верховного Совета снял обвинение с крымско-татарского народа.

Но, поскольку о восстановлении Крымско-Татарской АССР речи нет, то в Указе утверждается: «... татары, ранее проживавшие в Крыму, укоренились на территории Узбекистана и других союзных республик...»

Какая диалектика!...

Укоренились на новой земле татары (за двадцать два года).

Укоренились немцы Поволжья (за двадцать три года).

Первые еврейские поселения на территории нынешнего Советского Союза относят, по историческим памятникам, к первому веку нашей эры. В Киеве, при Владимире Мономахе, существовала даже еврейская улица.

Две тысячи лет живут евреи на земле России и — не укоренились.

Не укоренились, и все тут!...

Когда я пришел к Степану Злобину в Боткинскую больницу, он порылся в книжной стопе, которая громоздилась подле кровати на стуле, и протянул мне потрепанную, с пожелтевшими страницами книгу, написанную писателем

Амфитеатровым в 1905 году, после одного из самых кровавых погромов. Отчеркнул своим длинным ногтем абзац. Я прочитал и... машинальным жестом нащупал табуретку, чтобы присесть.

«Сейчас русские антисемиты утверждают, что русскую революцию делают евреи. Пройдет двадцать лет и русские антисемиты будут утверждать, что евреи к русской революции никакого отношения не имеют...»

ГЛАВА 6.

«Хрущ провалился в подпол» — радостно сообщила проводница скорого поезда, и весь вагон, казалось, сразу зашатался и застучал на стыках сильнее. В узком коридоре вагона чокались друг с другом, начисто расплескивая вино, знакомые и незнакомые; обнимались тучный багроволицый полковник из МГБ, похоже, отставник, и изможденная, с дрожащими руками, старая большевичка, которая полвека провела в царских и сталинских тюрьмах: Хрущев успел восстановить против себя как тех, так и других.

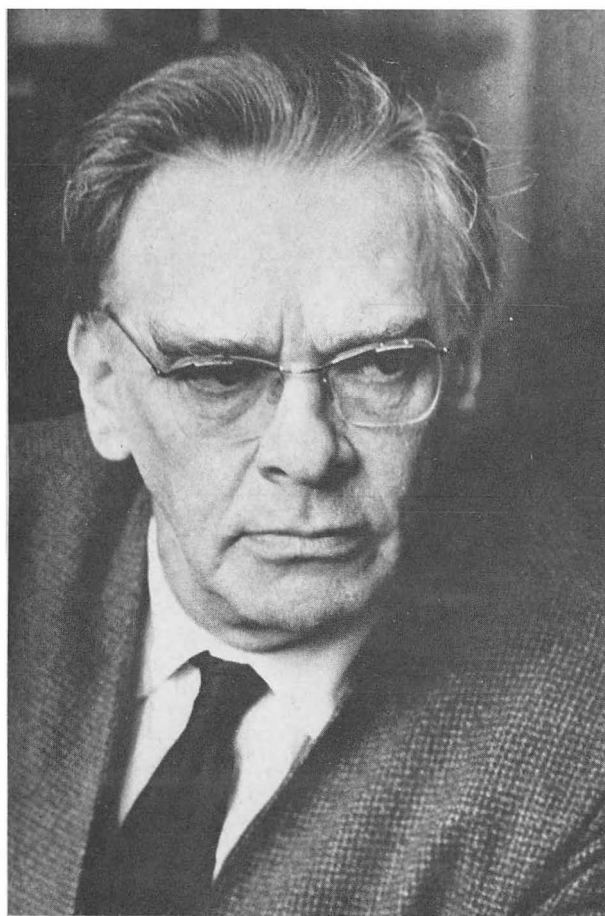
Написал я об этом и отложил перо...

Да права ли была она, освобожденная Хрущевым измученная старая большевичка, которая даже обнялась со своим тюремщиком? Или ближе к правде те мои друзья и знакомые, которые, как и Полина, узнали о крушении Хрущева без радости?...

Хрущев на XX съезде говорил, как известно, о трагедии Сталина.

Но ведь сталинские расстрелы и погромы — трагедия народа. И только народа. А не трагедия убийцы... Это противно человеческой совести твердить о трагедии убийцы миллионов людей!

Но вправе ли историки умолчать о трагедии самого Хрущева? Он первым, с мужицким упорством, стал рвать



СТЕПАН ПАВЛОВИЧ ЗЛОБИН

сталинские тенеты лжи, опутавшие страну. Возможно, сам того не сознавая до конца, он пробудил от летаргии целые поколения, «пустил нам ежа под череп», как говаривала мне Полина.

Из тюрем вышли тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей, среди них, Александр Солженицын и Евгения Гинзбург, и теперь уж стало гораздо труднее заваливать хламом исторические дороги России. Страна начала осознавать самое себя, как ни тормозили этот целительный процесс перепуганные насмерть сталинские выученики и, среди них, сам Хрущев, яростный враг Сталина в плотных сталинских шорах...

Вы видели когда-нибудь шахтерского коня, который всю жизнь ходил в недрах земли, по кругу, а когда его подняли наверх, к солнцу и прямым дорогам, уж не смог сойти с затверженной привычной колеи, вернулся на темные круги своя...

Это подлинная трагедия — начать столь храбро и энергично, взорвать сталинские тюрьмы, возвести жилища, а кончить капризным самовластным болтуном, путаником, «Хрущев», иначе его уж и не называли.

Весть «о Хрущеве» ненадолго опередила другую. Умер Степан Злобин.

Вылетев ночью в Москву, я успел на похороны, чтобы сказать у горестной стены Новодевичьего монастыря, кем был для меня и моих товарищей Степан.

Он был ведущим; таким как флаг-штурман Скарнев и летчик Сыромятников, которые сгорели над Баренцовым.

Все море было тогда черным от дыма, который тянулся за обреченной машиной, и, хотя Сыромятникову и Скарневу оставалось жить минуты, командир вел юнцов в атаку на фашистский конвой, как отец переводит малышей через опасную улицу — Не отставай, Валя!... А ну, ножками-ножками... Давай!

Когда торпеда была сброшена, и Скарнев, которого, видно, обжег на крутом вираже черный огонь, выругался

в отчаянии, Сыромятников произнес хрипло и наставительно, налегая, подобно своему земляку и учителю Валерию Чкалову, по-волжски на «о»:

— Спокойно, Саша, спокойно! Спо...

И — все! Взрыв разметал самолет с красными звездами на крыльях.

А молодые летчики вернулись. Невредимыми...

Таким, как мои командиры, пожалуй, был лишь Степан Злобин.

Есть у каждого святыя места. Своя Мекка.

Когда становится невмоготу, я прихожу на могилу Степана. Она с самого края Новодевичьего, где ветер сильнее и где грохочут над головой колеса тяжелых товарных составов: покоя нет даже здесь... Рядом с крутым, необузданным, как сама стихия, обломком скалы на могиле Степана — его товарищ Всеволод Иванов, под огромным, сглаженным разве что древним ледником, валуном. Могучий Всеволод, пустивший некогда впереди себя «Бронепоезд 14-69» и потому, может быть, под охраной «Бронепоезда» сохранивший себя, как писатель...

Подле — гранитный колосс с надписью Nasim (Назым) и с незримой заповедью нам, оставшимся на земле, — развеять мрак.

За ним — озаренная словно бы внутренней усмешкой, круглая, как земной шар, гудзиевская голова. Из серого, твердой породы камня, — камень такой крепости идет на причалы.

Неискоренимый индивидуалист Илья Эренбург и тут чуть поодаль.

Лжи о нем наворочено, со всех сторон, лопатой не разгребешь.

Сколько смелости, нет, подлинного героизма «смертника» Сыромятникова потребовалось ему, чтобы одному, одному изо всех, демонстративно выйти в 1953 году из конференц-зала в «Правде», где по приказу Сталина, собрали «государственных евреев» — одобрять выселение еврейского народа...

Когда-нибудь я расскажу об этом подробно.
... Степан. Всеволод. Илья Эренбург. Гудзий.

Если бы при жизни сходились так коротко, как после смерти!...

Если бы все вместе, плечо к плечу, отбрасывали, хоть пинками, ползучих тварей, которые шли в рост, достигали «степеней известных», порой лишь за то, что кусали их или хотя бы шипели на них.

Вместе с бесстрашным Степаном я похоронил надежду на то, что на доморощенных российских черносотенцев подымет меч, на глазах у всех, кто-либо из старых и любимых всеми писателей. Русский из русских...

Отыщись он, я привез бы ему самосвал документов. Притащил бы ему их — хоть босой по стеклу. Даже ценой гибели своей.

Горько писать об этом, — такой не отыскался...

Меж тем, близилось открытое и общемосковское — в кои-то веки! — собрание советских писателей; и чем меньше оставалось до него дней, тем яснее становилось, что оно пройдет мимо, может быть, самого главного, что так тревожит людей, не потерявших стыда.

Конечно, клокочущее предвыборное собрание — не место, где можно спокойно развернуть аргументацию; прервут, заорут хриплыми голосами бывшие хрущевские «автоматчики», которые ныне лихорадочно ищут, к кому бы пойти в наймы; «прислониться», как они говорят.

Но хотя бы просто врезать в зубы этой черносотенной мафии, уверенной — все дозволено! — вытащить, пусть одного из этих гадов, — за ушко, да на солнышко. Чтоб хоть иногда озирались, да вспоминали, что за окном — не гитлеровский рейх...

Утром я тщательно побрился, надел накрахмаленную праздничную сорочку, и... сказал о своем решении Полинке. Ее серые глаза округлились. В них мелькнуло что-то от той краснощеклой деревенской девчушки, которая лишь вчера приехала в Москву и готова поверить в кристальную доброту мира, стоит только нам пойти навстречу ему. А

припухлые маленькие губы поджались как всегда, когда ей становилось страшно за сына...

Она положила свою обветренную, обожженную реактивами руку химика на мое плечо, и мы так стояли недвижимо, щекой к щеке. Это был, пожалуй, самый длинный и молчаливый монолог в ее жизни.

«Ты не забыл, конечно, Любку Мухину? Она стала убийцей, а ведь росли вместе. Лазили по деревьям, играли в лапту. Она казалась своей.

А чиновных собак из Министерства? Отборной породы... Эти стреляли бесшумно, с улыбкой, — ведь убийство из бесшумного пистолета — не убийство. Кто слышал? Свидетели есть?

Те, кто будут слушать тебя... на многих из них тоже — печать времени. Достучишься ты до них?...

Ты помнишь, как уличили в предательстве университетского профессора Эльсберга, специалиста по Щедрину и Достоевскому?

Он гневно протестовал, палач, отправлявший в застенки невиновных: «вы меня осуждаете по нынешним моральным нормам! Это неморально...»

А издателя Николая Лесючевского? Который был «экспертом» по делу поэта Бориса Корнилова, и поэта расстреляли, а потом Лесючевский оправдывался точь-в-точь, как прощелыга Генрих в пьесе Шварца:

— «Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то лично я ни в чем не виноват. Меня так учили...»

И никто ведь не бросил ему в лицо, как Ланцелот Генриху:

«Всех учили, но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая!»

Наивные вопросы задавали герои Достоевского: Может ли человек на пути к светлому будущему переступить через кровь хотя бы одного младенца?...

Достучишься ты до них, специалистов по Достоевскому?

«... Когда мы познакомились с тобой в Университете,

слово «гуманизм» употреблялось чаще всего с эпитетом «ложный». И звучало как брань. Как обвинение.

Понятие нравственности, доброты, совести — бралось в кавычки. В конце концов, даже слова «общезитейская честность» закавычили, как будто может быть честным перед народом человек, который лжет жене, детям, соседям...

Сейчас кавычки убрали.

Но — не профессора Эльсберга, матерого предателя, который по-прежнему учит писателей нравственности.

Не издателя Лесючевского, который вершит судьбами многих советских писателей.

А Вас. Смирнов, напротив, поднялся повыше. Чтоб его было отовсюду видно...

Незаменимы, видно, кадры... гуманистов.

До кого же ты достучишься, горячая голова?

А твои маститые «прогрессисты»? Твоя надежда? С устойчивой репутацией людей со стерильными руками. Это же те, кто отрещивались от тебя своими стерильными руками, как от черта. И закрывали своими стерильными ручками глаза на наши беды. На расстрелы. На шельмования... На высокоидейные кампании, низменность мотивов которых потрясет потомков.

Они давным-давно убедили себя, что молчат не из трусости и своекорыстия, а потому что... смешон голос вопиющего в пустыне. Глупо биться головой о стенку. И прочее, и тому подобное...

Им хорошо, удобно сидится, литературным Наполеонам, на пьедесталах из... самоуважения. Некоторые и так в страхе за свои подержанные, в трещинах, пьедесталы, а ты вдруг еще потрясешь...

Уж тем, что осмелишься сказать (за них сказать!) — потрясешь. Поколеблешь покой их.

Как же они тебя возненавидят!

На кого ж ты надеешься? На таких, как ты? Попавших в облаву... На тех, кого никогда не подпустят к трибуне? На честных горемык, скрипящих зубами под подушкой? Чтоб соседи не услышали...»

Тревога сгушалась в округленных серых полинкиных глазах. Поблекшие щеки порозовели.

И я понял, она именно это хотела мне сказать, трезвый и осмотрительный человек, взглянувший на мир с высоты ингулецкого карьера.

Но — не сказала...

Губы ее вздрогнули, и она заметила задумчиво, с улыбкой, что всегда, когда она, Поинка, была на краю гибели, находился потрясающе хороший человек, который приходил на помощь. Не вывелись же хорошие люди!...

— Конечно! — не преминул весело подтвердить я: так нетерпелось уйти от мрачных предчувствий. — Логическим завершением в цепи твоих хороших людей являюсь я... — Но мои слова были встречены таким нервным и саркастическим смешком, что более не настаивал.

Она дотронулась до моего локтя, и мы присели, как перед дорогой...

Ночь она пролежала с открытыми глазами, а перед уходом на работу сказала:

— Сходи к Гудзию. Плох он.

Гудзий был, действительно, очень плох; лежал сероватобелый, высохший, изможденные руки поверх одеяла. Узнав о моей затее, поглядел на меня так, словно врачи не его, а меня приговорили к смерти. Он хотел что-то заметить, но ему трудно было говорить, и он показал жестом на книжную полку, где обычно стояли древнерусские летописи.

Летописей не видно: полки заставлены теперь картинами на исторические сюжеты. Не в силах читать, неугомонный старик, лежа, разглядывал картины...

Я достал из-за картины, на которой бились фрегаты, пыльный фолиант. Гудзий вяло полистал пожелтевшие страницы, и, сказав: «Это запомни!», — ткнул пальцем в строки.

«Боярин был прав, и обидчиков наказали. А боярина убили позже и за другую вину».

Меня, как ударило чем. Умирает самый крупный знаток

Киевской Руси, академик. Благороднейший человек. Любимец студенчества. С чем уходит он?..

Вечером, как на грех, заглянула в гости старушка — переводчица. Она знала меня с войны, на которой славилась храбростью.

Она заламывала тонкие руки и требовала от Полины, чтоб та заперла своего мужа дома. Его схватят, едва он отойдет от трибуны.

Приняв валидол, цитировала на память Щедрина: «Не вор, не убийца, а вольнодумец есть злодей настоящий и нераскаянный...»

— Ограбь лучше банк, — требовала она мерцающим голосом. — Организуй бордель. Не доплати партвзносы... Все простят... Но швырнуть им в морды, что строительство коммунизма и юдофобство несовместимы? Забьют до смерти! Да они это и без тебя знают... Черт с тобой, гордец, пропадай, но пожалей Полинку, сына! Им еще жить...

Господи, что сделало ты, время, с хорошими, с прекрасными людьми.

«Дырявые души, безрукие души, раздавленные души»...

Полина проводила меня до метро. Ткнулась теплыми губами в щеку. А губы поджаты...

Шепнула весело, мол, это, конечно, шутка:

— Не трусь!...

В Союзе писателей с минуты на минуту ждали самого высокого гостя, который только мог прибыть, — секретаря ЦК КПСС товарища Демичева. Несколько сутулых и тучных, в вечерних костюмах, писателей стояли полукругом у входных дверей, подобно колонии пингвинов, с удивлением взиравшей на первооткрывателей Антарктиды. Вытянутые по «швам» руки встречавших, которыми те быстро отмахивались от просителей и знакомых, не понимавших важности момента, вздрагивали, как черные недоразвитые крылышки.

Бог весть почему нервничали встречавшие. Порядок перевыборного собрания был расписан с жесткостью праз-

дничного парада. Список ораторов составлен неделю назад и «провентилирован».

И вообще уж давным-давно известно, кому из писателей можно дать слово, и даже, пока они говорят, уши заткнуть: все будет в норме! А кого нельзя к трибуне подпускать и на пушечный выстрел.

Однако встречавшие нервничали...

Парторг Московского горкома в Союзе писателей Виктор Тельпугов, узкоплечий, застенчиво-тихий, писатель-природед, «певец весны», как называли его друзья, занес меня в свой блокнот — четвертым, и даже листик показал, где был набросан список ораторов, не веришь? Вот, четвертый...

Но вот уже и четвертый оратор выступил, и шестой. Я понял, ко мне применяется все та же тактика «бесстыжих скачек» или «не торопись, милейший», когда председательствующий, как плутоватый жокей, регулирует поводами, какому коню вырваться вперед, а какому — с круга долой.

Так много лет подряд, я не раз это видел, отбрасывали с «круга долой» разгневанных Степана Злобина и Константина Паустовского. Конечно, лестно попасть в хорошую компанию.

Но все же... Сейчас объявят нового оратора, а потом скажут: следующим выступает секретарь ЦК КПСС товарищ Демичев. И — все! Тактика отработанная.

С круга долой...

Пришлось идти на прорыв. Если один писатель здесь ничего не значит, может быть, посчитаются с волей тысячи двухсот. Минут десять в зале стоял вокзальный грохот. Одни кричали: «Пускай!», другие: «Нечего!». Вырывался лишь пронзительный, на самых верхних нотах, голос главного редактора писательского издательства Карповой, которая подбежала к высокой сцене, где сидел Демичев, и кричала у ног Демичева, что это безобразие требовать слова, когда писатели пришли слушать речь секретаря ЦК КПСС товарища Демичева.

Здорово испугалась, сердечная!

Голосовали в шуме. И первые слова мои тонули в шуме, а потом ничего, успокоился народ. Благо писателей было в тот раз больше, чем тревожно озиравшихся по сторонам литчиновников.

Первую половину речи я написал заранее! Если кто-либо попытается сбить, начнет улюлюкать, хулиганить, продолжу с той самой запятой, на которой остановился. Вторую часть — не к чему было записывать. Там уж меня не оставишь...

Я позволю привести официальную стенограмму своего выступления на открытом партийном собрании писателей города Москвы, созванном 27 октября 1965 года. И назвать документом № 1.

Ибо это, увы, не конец повествования. А лишь начало конца...

Пусть читатель судит обо всем сам.

Итак, документ № 1.

«На всех собраниях, на которых я присутствовал в этом зале, руководители обычно начинали и кончали свой доклад словами — «писатели не знают жизни». Это лейтмотив многих руководящих выступлений. В этой связи мне всегда вспоминаются слова мудрого, ныне покойного писателя, который, выйдя после очередного заседания, сказал, обращаясь к самому себе: «Изучайте, изучайте жизнь! Господи, если б можно было хотя бы половину пережитого забыть!»

Мне кажется, словесная формула «незнания жизни» вызвана к жизни, прежде всего, тем, что писатели ставили и ставят самые острые, самые беспокоящие инертных руководителей вопросы современности... что они вплотную подходят к так называемым «запретным темам», «нежелательным» темам, а это, с точки зрения чиновников, действительно вопиющее незнание жизни...

Запретные темы у нас нечто вроде задних комнат. В них царит мерзость запустения, и в них не пускают гостей. Но писатели — не гости.

Итак, о двух запретных темах.

Первая, много лет «закрытая» тема... Тема воспитания общественного государственного мышления рядового чело-

века. Это прямой и честный вопрос, как привлечь массы к управлению производством, привлечь молчаливых, которые сидят в выборных органах «вместо мебели». И тех, кто вообще чурается всяких общественных забот. Как перейти от политической формулы к непосредственным шагам...

В поездках по стране непрерывно сталкиваешься с распространёнными фактами общественной пассивности рабочего человека. То и дело слышишь: «говори, не говори — один черт». «Наше дело десятое», «начальство — оно газеты читает, радио слушает — пусть оно и заботится». Равнодушие к общественным делам толкает к пьянству. 92 % зарплаты уходит на водку в леспромхозе, где я побывал. А домино! Люди буквально сжигают свое свободное время, «убивая» время за домино. Да и футбол имеет свое значение. Англичане говорят «когда смотрят футбол — не думают о политике...»

Но самое главное, что пожилые рабочие приучают к водке массу молодежи, которую не приобщают к общественной жизни, за редким исключением, плохо, формально работающие комсомольские организации. Когда я был на Братской ГЭС и видел, как пьяные ребята, носясь по таежным дорогам на мотоциклах, как цирковые акробаты, срывались с обрыва, я спросил, почему их не привлекают в общественной работе? Мне ответили, что в клубе 300 мест, а строителей 30 тысяч.

Крайне важная задача — практически привлечь рабочих к управлению, перейти от словесных формул к практическим шагам. Этому, по сути, посвящена и вся моя работа. Все мои статьи и книги. Но именно потому, что они посвящены идеологическим проблемам, я мытарюсь с ними, «пробиваю» их — от двух до двенадцати лет.

Статью «Как воспитывается бездумье» окрестили, в некоторых редакциях, антипартийной, затем она, после двухлетних мытарств, была опубликована в журнале «Партийная жизнь».

Роман «Ленинский проспект», который пресса после выхода в свет назвала актуальным и партийным, начал свое хождение по редакциям с того, что автора отдали под суд за то, что он написал, де, клеветнический, антипартийный роман.

И так каждая книга, каждая статья. Пока нет постановления ЦК по какой-нибудь проблеме, для редакторов нет самой проблемы.

Занимаясь идеологическими вопросами, я живу с ощущением

некрасовского крестьянина, который стоит у парадного подъезда и ждет, когда разрешат подать челобитную.

В чем дело? Во многом — в кадрах редакторов-перестраховщиков, которые травмированы сталинскими временами, травмированы тем, что за каждую ошибку голову снимают; поэтому, естественно, лучше не напечатать, чем напечатать, тем более, что материала в избытке; издательств у нас мало.

Многие редакторы не замечают болезненных явлений нашей жизни, пока они не разрастутся в государственную опасность и не будут осуждены постановлением ЦК. Такие редакторы обрекают и очерки и романы на иллюстративность, жвачку, на повторение того, что уже сказано.

Я считаю, что редакторы-перестраховщики не субъективно, а объективно — главная антипартийная сила в наших идеологических учреждениях...

(Аплодисменты. Возгласы с мест: «Правильно!»)

... ибо они отбрасывают все самое смелое, самое актуальное. Все эти материалы лежат годами. Книги моих товарищей выходят после 8-10-12 лет ожидания...

(С места: «И в издательствах такие сидят, в частности, в Воениздат!») (Смех в зале)

Нужны люди смелые, которые бы не боялись ставить острые и больные вопросы, чтобы не загонять наши болезни внутрь, а изживать их. Нужны редакторы идейные, иначе у нас не будет хороших результатов.

Я недавно взял верстку нескольких книг, вышедших за последнее время, о которых пресса единодушно сказала доброе слово, — это книги моих товарищей, — и проследил: что же перед самым выпуском книги вычеркивается, выбрасывается из нее. Я ужаснулся, потому что эти изъятия и вычерки имеют антипартийную, антисъездовскую направленность. То, что поддерживает идеи XX и XXII съездов партии, то, что говорит о них прямо и непосредственно, — подвергается изъятию.

Проблема смелых и идейных редакторов для организации литературного дела, по-видимому, проблема номер один.

Я хочу спросить: товарищ Демичев, почему всю эту массу коммунистов-писателей, которая сидит здесь в зале, отбрасывают от решения важнейшей проблемы подбора редакторских

кадров?! Сейчас подбирается редактор «Литературной газеты». А почему бы не спросить всех сидящих здесь, как относятся масса писателей к тому или иному кандидату ... (Аплодисменты. Возгласы с мест: «Правильно!»). Почему коммунисты отстранены от этого важнейшего для них вопроса? Почему их не спросят — пользуется ли данный кандидат авторитетом или нет? А получается так, что попал тот или иной человек на номенклатурный эскалатор, и его переводят с этажа на этаж.

Укреплять партийную демократию, боеспособность организации — так укреплять. Если нас собрали для того, чтобы мы посидели, выслушали речи и потом разошлись, — никакого укрепления наших сил, нашей боеспособности не будет.

Большая масса редакторов, которых я лично знаю — люди честные. Они бьются за те книги, которые им нравятся, но они принижены, обезличены сейчас, как никогда, цензурой, получившей беспрецедентные, антиконституционные права.

Цензуру называют ныне *особым совещанием в литературе*, и по праву. Дело Главлита охранять военную и государственную тайну, а не руководить литературным процессом, не вмешиваться в литературную ткань произведения... (Аплодисменты. Возгласы с мест: «Верно... Правильно...»).

Это вмешательство достигло ныне геркулесовых столпов глупости.

Любопытно, когда цензура получила право творить произвол. Тогда, когда готовилось празднование великого хрущевского десятилетия. Нужна была ложь, и — была разогнана московская партийная писательская организация — по домоуправлениям и другим учреждениям, чтобы мы там изучали жизнь. (Аплодисменты). И — цензура получила право танцевать на писательских душах.

Сказав «а», надо сказать и «б». Время великого потопа прошло, пусть цензура вернется в свои исконные берега, и редактор станет редактором. Как говорится, редактору редакторство, главлиту — главлитово.

Мы преодолели культ личности. Пора кончать и с культом некомпетентности. (Аплодисменты).

... Пока аплодировали, кричали что-то одобрительно, я оглянулся: за спиной словно крутилась все время патефон-

ная пластинка, у которой заело иголку; она мешала мне, твердя одно и то же, негромко, назойливо:

— ... Я бы так не сказал!...

За спиной сидел, оказывается, один из самых подвижных и нервных секретарей Союза писателей СССР Александр Чаковский.

Он подался узкими плечами вперед, губы его непрерывно шевелились:

— Я бы так не сказал!... Я бы так не сказал!...

Чего это он? Сбить меня хотел, по своей охотничьей привычке — налету? Как крякву. Одернуть вовремя, мол, опомнись? Или просто повторял нервно и машинально, не замечая, что говорит вслух?

Я обернулся к президиуму, где взмокший залоснившийся Виктор Тельпугов показывал мне и собранию ручные часы, мол, регламент, оборачиваясь к руководителям Союза писателей Федину и Симонову, сидевшим рядом, и, одновременно, косясь на Демичева...

Я задержал взгляд на Константине Симонове. На Константине Федине.

«Достучусь до них или нет?... Осталось в них что-либо живое?»

В желтоватых, цвета пламени, глазах Константина Симонова горел неистребимый интерес ученого, разглядевшего в микроскоп особь, которая ведет себя как-то не по описанию.

Светлейшие глаза Константина Федина, высохшего, сгорбленного, казалось, оледенели. В них застыл ужас...

— П-пожалуйста, — наконец, выдал из себя Виктор Тельпугов, утихомиривая собрание и нервно поводя плечами.

«... Вторая 'закрытая тема'». Если по первой теме выходили все же статьи, романы, то вторая тема, закрыта напроочь.

... Как-то шли по Осетии с группой альпинистов и туристов. В одном из селений подошел к нам старик и сказал: мы приглашаем вас на свадьбу. Вся деревня будет гулять; а ты, — показал

он на меня, — не приходи. И вот я остался сторожить вещи группы. Сажу, читаю книжку, и вдруг вижу, улица селения в пыли, словно конница Буденного мчится, меня хватают и тащат. Жених и невеста кричат: «Извини, дорогой!», меня притаскивают на свадьбу, наливают осетинскую водку арака в огромный рог и вливают в меня. Я спрашиваю моего друга, что произошло? Почему они меня раньше не пригласили, а сейчас потчуют, как самого дорогого гостя? Оказывается, мой друг спросил несколько ранее старика, и тот объяснил гордо: «Мы грузинов не приглашаем!». Мой друг сказал, что я не грузин. Тогда старик закричал, что только что кровно оскорбил человека, и он, этот человек, будет мстить. И вот вся свадьба, чтобы не было мести, сорвалась и — за мной... На другой день старик приходил узнать, простил ли я ему то, что он принял меня за грузина...

Когда кончился маршрут, мы спустились в Тбилиси. Вечером вышли гулять. Подходят два подвыпивших гражданина и что-то говорят по-грузински. Я не понимаю. Тогда один размахивается и бьет меня в ухо. Я падаю. Кто-то в подъезде гостиницы кричит: «Наших бьют», альпинисты выскакивают из гостиницы и начинается потасовка.

И вот мы в милиции. Идет разговор по-грузински. И вдруг бывший меня кидается к моему паспорту, лежащему на столе, изучает его и идет ко мне, говоря: «Извини меня, мы думали, что ты армяшка, из Еревана. Идем, будем гулять.» Я едва от них отбилсЯ.

В нашей группе альпинистов половина была из Прибалтики. Они прекрасные спортсмены. После того, как все это произошло, мы сблизились. Но когда они о чем-то говорили, и мы подходили — они замолкали, а когда я спросил, в чем дело? Мне ответили: «ты же русский».

Когда я приехал в Москву, узнал, что меня не утвердили в должности члена редколлегии литературного журнала, потому что я еврей...

Так в мою жизнь входила тема борьбы с шовинизмом. Я пытался заняться ею. Но — пришел к убеждению, — что у нас нет *действенной* борьбы против великодержавного шовинизма. Более того, существует непонятное потакание великорусскому шовинизму. Например, обратимся к такой личности, как Василий Смирнов.

Как вода — сырая, как снег — белый, так Василий Смирнов — великодержавный шовинист. Василий Смирнов, пожалуй, единственный шовинист, который не скрывает своих взглядов. Он до того себя скомпрометировал, что его даже вынуждены были вывести из Секретариата. Но через полгода он был назначен главным редактором журнала «Дружба народов». (Смех)

Товарищи, мы же знаем, что не он один исповедует такие взгляды. У нас в Союзе писателей есть черная... нет не сотня, конечно, но — *черная десятка*, и безнаказанность ее паразительна. Безнаказанность выпустивших погромное произведение Ивана Шевцова «Тля». Безнаказанность некоторых украинских деятелей... Я был в Киеве и просто поразился тому, как там распоясались. Быстрее, быстрее домой, подумал я, к своим родным погромщикам!

Полная безнаказанность, повторяю, выпустивших такое произведение, как «Тля», и безнаказанность, к примеру, не выпустивших талантливое произведение И. Константиновского «Срок давности». Это антифашистское произведение было названо в отделе прозы издательства «Советский писатель» националистическим. В стенной газете издательства было даже написано, что проявлена бдительность в борьбе с сионизмом... Сейчас это произведение напечатано во многих странах и получило великолепный отзыв общественности.

Нужно наказывать не только за выпуск плохих и вредных произведений, но и за то, что годами затаптываются хорошие произведения!

В 1953 году я написал небольшую статью, которая называется «Вагон молчал». Пьяный дурак разлагольствовал, а вагон — молчал... Меня интересует не дурак-расист, а молчавший вагон: почему люди молчали? Я попытался сделать анализ этого. Но вот уже двенадцатый год не могу опубликовать эту статью.

Я думаю, что этот факт, сам по себе, также свидетельствует о неблагоприятии в этом вопросе.

... Когда с трибуны писательских собраний звучит критика в адрес руководства, безответственные личности (а в Союзе писателей есть безответственные личности, которые всегда готовы на чужой спине, на чужом промахе лезть в рай)... безответственные личности говорят, что писатели не хотят партийного руководства... Мы все, вот уж какой год питаемся

слухами, ибо они для наших редакторов — руководящие указания. Мы слышим: «Егорычев сказал то-то, Демичев сказал то-то, Павлов шумел так-то. Это что — партийное руководство?! Мы устали от дерганья и шараханья... (Аплодисменты)».

Я спустился вниз, в ревуший зал, который аплодировал мне дольше, чем я того заслужил. Демонстративно.

Аплодировали, строго говоря, не мне. Выздоровлению от немоты. От подлого страха. «Умирают в России страхи», — пророчествовал Евтушенко.

Увы, медленно. Ох, медленно.

Я приткнулся тут же, у сцены, сбоку, на откидном стуле. Рядом со мной оказался Николай Корнеевич Чуковский, благородный человек, талантливый переводчик и прозаик, сын Корнея Чуковского, который сумел даже в самые страшные годы, подобно Шварцу, сказать людям правду... Сползая на самый край сиденья и загораживая меня так, чтоб из-за стола президиума не могли увидеть, Николай Чуковский трогательно, по-отечески гладил и гладил мою руку, лежавшую на подлокотнике, и повторял почти беззвучно.

— Что теперь Демичев скажет? Что теперь Демичев скажет? Что теперь Демичев скажет?

А лицо его, обращенное к столу президиума, оставалось каменно-невозмутимым; от меня, соседа его, отрешенным.

Наконец, поднялся со своего места Секретарь ЦК Демичев, гладколицый, малоподвижный, подтянутый, как офицер. Средних лет, такого возраста, обычно, секретари университетского парткома. «Инженер-химик» — сказала Полина, это почему-то меня обнадежило.

Он сказал, что мы, коммунисты, и в самом деле рано прекратили борьбу с антисемитизмом. Антисемитизм еще гнездится...

— За юдофобство надо исключать из партии! — вскричал, стуча клюкой, старый большевик Ляндрес, издатель, некогда помощник Серго Орджоникидзе, сидевший, наверное, во всех российских тюрьмах.

— Правильно! — подтвердил секретарь ЦК партии, ответственный за идеологию Советской страны. — За антисемитизм надо исключать из партии...

Хотя я пишу эти слова по памяти, но они точны: их слышали, к тому же, тысяча двести писателей Москвы, писатели всех поколений, трагики и юмористы, комедиографы и куплетисты, несколько прозаиков из Ленинграда и других городов, прилетевшие на собрание...

Секретарь ЦК говорил о необходимости борьбы с антисемитизмом долго и страстно.

Спустя неделю Демичев повторил это перед учеными и студентами Московского Университета, затем еще в одном учреждении, и тогда разом прекратились пересуды наших доморощенных черносотенцев о том, де, что он «вынужден был это сказать»...

За сценой стоял телефон. Едва Демичев кончил, я позвонил Полине, которая ждала моего звонка ни жива — ни мертва.

— Все в порядке! — шептал я, прикрывая трубку рукой и принимая поздравления подходивших к телефону куда-то звонить инструкторов ЦК партии, корреспондентов «Правды»... — Все в порядке!...

Прошла неделя объятий и поздравлений. Старушка-переводчица рыдала у нас дома, говоря, что Демичев меня спас. А не то бы...

Стояла поздняя осень. А солнце сияло так, что казалось, впереди не зима с русскими воющими метелями, а теплынь, время отпусков...

— Господи, — шептала Полинка, — неужели сына избавят от желтой звезды — «пятого пункта».

Я верил — да! Наступает новая эра...

ГЛАВА 7.

Неделю спустя меня вызвали в Московский горком КПСС.

Навстречу мне поднялась заведующая отделом культуры Соловьева, коренастая, круглолицая, с кудряшками, уютной домашней приветливости женщина. Улыбнулась, как дорогому гостю, поправила свой белый, из тонкого кружева воротничок. Сказала с улыбкой, мягко, как предлагают отведать пирог.

— Признайтесь, что вы погорячились.

— Что?

— Ну... что ваша речь... Об антисемитизме... О Василии Смирнове... Все это... вы просто погорячились. А теперь одумались... Так и напишите: «погорячился»...

Лицо ее чем-то напоминало лицо Карповой, позднее понял — мягкой округлостью и вымуштрованной улыбчивостью чиновницы, которая каждый день вынуждена общаться с деятелями культуры, а их, пропади они пропадом, лучше не сердить. Круглое, с ядреным румянцем лицо источало радушие и готовность, в конце концов, простить: кто же не ошибался!

Мужчина с непроницаемыми угольными глазами, молчавший в своем углу, сказал жестко, что у меня не было никаких оснований обвинять кого бы то ни было в антисемитизме, которого, как известно, у нас нет. Тем более русского писателя Василия Смирнова, который вот уже пять

лет руководит интернациональным общесоюзным журналом «Дружба народов»...

— Что же получается, по-вашему? Кто у нас руководит?

Добродушное лицо Соловьевой еще более подобрело; вот видите, говорило оно, что вы наделали, а мы от вас требуем всего только сказать: «помилосердствуйте, братцы, погорячился...»

Доброе мягкое лицо Соловьевой вдруг вызвало в памяти самое жесткое каменное лицо, которое я когда-либо видел. Горьковская Васса Железнова сует мужу зелье и требует;

— Прими порошок. Прими порошок. У тебя дочери невесты. Не доводи до суда. Прими порошок...

Мужчина с непроницаемыми глазами сказал резко, что я произнес неправильную речь. Никому она не нужна. Более того, вредную речь. Она льет воду на мельницу... — чью мельницу, он не сказал; но всегда, когда говорят про мельницу, дело плохо. Сейчас начнут кричать. После мельницы всегда кричат... И я обратил свой взор к единственному человеку в этой комнате, которого я знал хорошо, К. Виктору Тельпугову.

Тельпугов относился ко мне с приятнью и как-то даже признался (ох, эти застольные признания), что он меня любит. Мы, и в самом деле, подружились после туристской поездки в Скандинавские страны, где я, по его выражению, спас честь русских писателей.

Произошло это вначале в Осло, на встрече с норвежскими литераторами, которых наши штатные ораторы привели своим пустословием в полное изнеможение, и мне пришлось встать и, нарушив программу, подойти к карте и рассказать, где и как погибли мои друзья-летчики, освобождавшие Норвегию от фашизма.

И вторично — в Хельсинки, где мы собрались в соседнем с отелем леске поговорить с профсоюзной прямотой о своих делах. Так сказать, на маевку. И вдруг на нас выскочил из зарослей смертельно пьяный финн. Огромный, руки до коленей, на одной руке не хватает нескольких пальцев; видно, полный воспоминаний о русско-финской войне...

С той поры Тельпугов называл меня своим другом, а однажды, когда горьком долго раздумывал, пускать ли Свирского на встречу с престарелым каноником Киrom, горячо сказал, что вполне можно пустить.

И меня пустили. И я даже с Киrom обнимался. И даже смог убедиться в том, что геройский мэр Дижона, несмотря на свои 94 года, абсолютно в здравом уме. Обнимался он со мной, а поцеловал молоденькую переводчицу Интуриста...

Словом, поверил я, что Тельпугов, если не мой друг, так верный товарищ, и потому сейчас, в тесной комнатке Соловьевой, где для встречи со мной собралось зачем-то столько народу, глядел на него выжидательно.

Но Тельпугов молчал; молчал, отведя от меня глаза, и тогда, когда заговорили, повышая тон, «про мельницу».

Я принялся рассказывать о Полине, о себе, о Фиме... Но вскоре замолк, заметив на круглом и улыбочивом лице Соловьевой так хорошо знакомую мне напряженную, сводящую скулы, стыдливую зевоту Поликарпова: «Ах, евреев...»

К тому же Соловьева куда-то заторопилась, шутка сказать, она ведь руководила всей культурной жизнью Москвы.

Мы вышли с Тельпуговым на улицу, я спросил недоуменно, что произошло? Секретарь ЦК партии Демичев, подумать только! — секретарь ЦК КПСС по идеологии, сказал одно, а улыбочивая чиновница Соловьева, которая находится на иерархической лестнице целым небоскребом ниже, совсем другое. Прямо противоположное. Дисциплинированная осторожная чиновница, и... жаждет лавров гоголевской унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла?

Что стряслось?

Тельпугов долго пробовал ладонью, не накапывает ли дождь, надел плащ, круглую шапочку, похожую на пасторскую, наконец ответил вяло, что опасаются пролить воду на мельницу...

— На чью мельницу, черт возьми! — вскричал я так, что корректный милиционер, прохаживающийся возле горкома, кинул на меня изучающий взгляд.

— ... На мельницу этих ... — сказал Тельпугов, останавливая жестом такси, — сионистских элементов.

И доверительно приблизив ко мне лицо:

— Есть сигналы. Некоторые евреи хотят уехать... в... Израиль. Будто им тут плохо. Потом молодежь. Танцует у синагоги. Демонстративно. Языки распускают, мол, их не берут... туда — сюда... Горком в опаске: твоя речь — вода на мельницу... — И, хлопнув дверью такси, сделал ладонью за стеклом круговой жест мельничного колеса.

... Каждого своего знакомого я просил теперь об одолжении: найти мне мельника, т.е. сиониста. Или просто еврейского националиста; пусть даже без всяких философских «измов». Хоть малограмотного. Но чтоб мечтал уехать в Израиль...

Я хочу понять, кого это в горкоме так боятся? Двухсотдвадцатимиллионный советский народ держат в напряжении. Может быть, в самом деле, появилась какая-то серьезная опасность?...

Недавно я говорил с одной учительницей младших классов, которая иступленно доказывала, что даже в идейном грехопадении Луначарского виноваты евреи. Оно началось тогда, когда он женился на еврейке Розанель.

Я записал для себя ее портрет, ее манеру говорить: давно не встречал зоологических антисемитов в химически чистом виде.

Но ведь возможны антиподы? Нет, надо, в конце концов, самому руками пощупать. Что это за люди?

Наконец, один из моих знакомых примчался радостный.

— Есть! Настоящий!... Александр Вайнер. 29 лет. Техник по наружному освещению города. Разговаривал о нем с землеробами, которые ставят мачты. Считают его чудачком. Не пьет, говорят. Не курит. Когда о бабах разговор, краснеет. Прораб сказал: «Какой он еврей? Еврей — это либо деляга, либо ученый, мудрец. А это что? Техник. Пла-

щик выцветший. «На лапу» не берет. День-деньской на морозе. Таких евреев не бывает»...

Но — неправда. Дома библиотека о евреях. Все мысли — о еврействе. Словом, националист по всей форме. Не пустят в Израиль, говорит, уйду через границу... Звать?

У двери обернулся и, потоптавшись неловко, сказал:

— Одно условие у него. Он будет предельно откровенен. Но чтоб никакой пропаганды. Перевоспитывать, уламывать, — чтоб этого не было...

Появился парень, казалось, совсем юный, худющий, представился тихо: — Саша. Снял обвисавший на нем, как на вешалке, длинный плащ. Взглянул под ноги, на коврик, попросил тряпку.

Тщательно вытер о сырую тряпку ботинки.

Ботинки на нем серьезные, из грубой кожи, на толстой подошве из пластика, неизносимые, ботинки прораба, геолога, землепроходца, которому шагать и шагать.

Неслышно прошел в комнату, сел на краешке стула, застенчивый, не знает, куда руки деть, то на колени положит, то локти ладонями обхватит, словно холодно ему; кисти рук узкие, пальцы узловатые, с обкусанными ногтями.

Знакомый, который привел Сашу, сказал, уходя, что Саша с моим выступлением знаком. Потому и явился...

— Да, знаком, — подтвердил Саша; голос у него тоже тихий, чуть вибрирующий, как у юнца. — И — простите за то, что я так... возмущен вашей речью. Вы поступили... сгоряча. Дали волю чувствам. Никому это не нужно.

Я как раскрыл рот от изумления, так и остался сидеть с раскрытым ртом.

Вот тебе и ария мельника!...

... «сгоряча»... Возмущен. Он что, у Соловьевой работает? На полставки. Или... противоположности сходятся?...

— Ч-черт возьми! — наконец, я обрел дар речи. — Почему не одобряете? Вы, убежденный националист, каким вас представили. Можете сказать честно, открыто.

Саша подобрал ноги под стул, побагровел, видно,

деликатный человек, не собирался меня корить, избличать. Но так уж пошел разговор...

— Сеете иллюзии, — помолчав, ответил он. — Даете людям надежду. Еще речь. Еще раз. Напряжемся. Эй, ухнем!... И сошла Россия с мели юдофобства.

Зачем сеять иллюзии? Люди верят. Так хочется верить. А — надежд нет. Дорог нет! Допустим, даже с одной мели стащите, тут же на другую сядем. Пути обмелели. Россию не стронешь. Сидит прочно...

Я взглянул на его иступленное лицо. Черные курчавые волосы мелкими, почти негритянскими колечками спускались к подбородку редким кустистым «пейсообразием».

Сейчас в городе немало бородатых юнцов. Борода на двадцатилетнем всегда кажется нарочитой. Порой противоестественной. А здесь она была, видно, принципиальной.

«Я — еврей! — словно бы кричал он. — Не нравится? И прекрасно.»

И слова были иступленно упрямые, негодующие.

— Куда зовете?... Зачем?... Только себе вред. Вам сейчас так дадут, что вы будете всю жизнь раны зализывать.

— Почему?!

— История... — Он снова усмехнулся, и печаль проглянула в его жгуче черных глазах, потерявших вдруг острый юношеский блеск, а ставших глубокими и тускловатыми; поистине вековой печалью затуманились.

— История вопроса. Хотя бы самого позднего времени... Я изучал ее. Крещеный еврей Григорий Перец (тоже, как видите, Григорий) обсуждал с декабристом Пестелем план разрешения еврейского вопроса. И был немедля сослан в Сибирь. В рудники.

За то, что обсуждал. Другой вины ему не вменяли...

Еврей, и обсуждал — этого достаточно...

А если бы победил Пестель?... Гуманист, он бы не ссылал евреев в Сибирь. Он бы их вышвырнул за пределы Российской империи. Вон! Таковы были его планы...

Но, как известно, победил не гуманист...

Николай I, сослав Григория Переца, тут же и решил еврейский вопрос. По-царски. Он «забрил лоб» евреям... равноправно, по 25 лет на брата; впрочем, у евреев, по сравнению с русскими, появились еще и преимущества: служба в малолетстве. Кантонистами... Ваш прадед был кантонистом?... Вот видите. Помните, у Герцена... Жиденят ведут!... Восьми-девяти лет от роду... Этапный офицер жалуется: «треть их осталась по дороге, половина не дойдет до назначения... мрут, как мухи; чахлые, тщедушные, по десять часов принуждены месить грязь, да есть сухари»...

Герцен на что не нагляделся, а тут чуть в обморок не упал. «Ни одна черная кисть, говорит, не вызовет такого ужаса на холсте; мне хотелось рыдать; я чувствовал — не удержусь...»

А дальше. Что ни год, то жидам подарок.

1876 год. Студенту Саше Биберталю дают пятнадцать лет каторжных работ. За что? Стоял у Казанского собора, внутри которого шла панихида. На вопрос председателя суда — «как же это вас без всякого повода взяли?» Саша ответил: «Видите ли, у меня пальто потертое, и я с виду смахиваю на студента...»

Еврею можно дать, ни за что ни про что, и пятнадцать лет каторги. Не стой у собора.

В Киеве, в 1879 году, по настоянию военного прокурора Стрельникова, казнили несовершеннолетнего студента Розовского. За что? Читал прокламацию и, подумать только! — не сказал, кто ему дал.

Еврея можно и застрелить. Запросто. Даже мальчика. И лишь за то, что не наябедничал. Не продал.

А еще не было даже специальных законов о евреях. Пока что чиста самодеятельность чиновников.

А вот когда явился Александр III — благодетель...

Я засмеялся, поблагодарил Сашу, сказал, что про Александра слышан.

Саша мрачно разглядывал свои ботинки. Сказал тихо, без улыбки.

— Зачем же, спрошу еще и еще! — обманываете людей?

Сеете надежду?... Преодолеем... «Прорвемся, озарим кострами святую Русь...» Это все равно, что голодной собаке на улице посвистеть, она пойдет за тобой, а потом перед ее носом дверь захлопнуть... Куда вы зовете? Находить общий язык с этими сытыми жлобами? Сталинистами? Уголовниками? Христопродавцами?... Чего ждать?

Лицо его стало жестким, я поверил вдруг тому, что он пойдет через границу, на верную смерть, да он и сам заговорил об этом, видно, только тем и жил, может быть, лишь потому и пришел ко мне с тайной надеждой:

— Как выбраться отсюда? Я бы в Израиле навоз убирал. Болота осушал. Но — равноправным. А?...

Я молчал, и он обмяк, прикусив нервно кустистую бородку.

— Конечно, пришел не по адресу. — И вдруг вырвалось у него каким-то свистящим шепотом. — Но адреса-то нет!... Нет! Блукаешь по городу, как письмо без адреса. Пока в мусор не кинут...

Я спросил о его семье.

Отец был большевик, забрали в сталинские лагеря, Саша жил в нищете, с больной матерью, которая билась, как рыба об лед. Мечтал стать юристом, готовился понять, почему при разработанной системе соцзаконности возможно полное и глухое беззаконие. Увы!...

— И теперь я — еврей и только еврей.

Так мне кричал когда-то мечтавший об академии летчик, которого, с оторванной рукой, увозили в госпиталь: — Скажи ребятам, а теперь я — раненый, раненый!...

Саша усмехнулся желчно: — Равноправие...

Представьте себе соревнование пловцов — на равной основе. Что бы вы сказали про такое равноправие? Одни плывут налегке, другим привязывают к ноге гирю, от двух килограмм до пуда, если они евреи, и вот заплыв.

На равной основе. Осуществляют права, предоставленные сталинской конституцией.

И жаловаться не велят. Жалобы, говорят, не принимают...

Нет уж! С волками жить — по-волчьи выть...

Я торопливо искал на полке Золя, нашел нужное место, прочитал, что осознавать себя только евреем, только немцем, только французом, только русским ... это возвращение в леса... Атавизм. Недостойная XX века игра на первобытных страхах, мифологии, расовом чванстве...

— ... Это... рефлекторный уровень, Саша; жить лишь оскорблениями. От оскорбления до оскорбления. От столба до столба, в который ты, как начинающий велосипедист, врезаешься со всего размаха.

Мир тогда неизбежно сужается, заслоненный столбами виселиц и газовыми печами, и ты сам не замечаешь, как оказываешься в глубоком колодце. Откуда и небо с овчинку...

Об этом вся история кричит. Если уж изучать ее, так изучать.

А вот... о твоих личных врагах, Саша! «Использовать народное негодование... натравливать обездоленных на евреев, как на представителей капитала, могут только лицемеры и лжецы, выдающие себя за социалистов, их надо изобличать и заклеить позором...» Твой национализм, Саша, — это не мысль, не мировоззрение. Это — синяк. Остается после сильного удара.

— Простите, и это — Золя? — спросил он с едва уловимой и недоброй усмешкой, мол, еще один теоретик на мою голову!...

Я отложил книгу, рассказал о своем дяде.

Мой дядя работал с Орджоникидзе. Когда Орджоникидзе застрелился, дядю арестовали, и Каганович объявил в Наркомтяжпроме: «Свирский — международный шпион. Он расстрелян.»

И вот в 1954 году дядя вернулся. Худ, в чем душа держится. В кургузом пиджаке. С «конским» паспортом в кармане, в котором сказано, куда можно ступить, куда нельзя. Сели мы с ним за стол. Вдвоем. По родственному. На столе бутылка водки. Спрашиваю, что было самым трудным.

Главное, не озлобиться, сказал. Не потерять себя. С

одной стороны, конвой огреет прикладом, с другой — уголовники глумятся: «Эй, советский! Тебе, как советскому, приклад выбрали полегче?..»

Не озлобиться.

Тем только и жили...

Товарищ его по тюремному вагону, отец поэта Карпеко, кинул под колеса вагона, во время посадки, записку на папиросной коробке. Что написал жене? Какая была кровная забота? Может, в последние дни жизни...

«Молю, чтоб дети не выросли в злобе.»

— ... Прости, Саша, что я говорю тебе «ты». Отец твой, видно, был из той же породы революционеров. А ты? Кем ты стал?

Мне вспомнился вдруг участковый на улице Энгельса, который заглядывал к нам в окно: «Евреев бьют чем ни попадя. Должны же они что-нибудь предпринять. Люди, не железо.»

И вот... полное осуществление программы. Парень готов рвануться на колючую проволоку, на выстрел...

— Отцы, это другой век, — тихо возразил Саша.

Я достал из стола фотографию Полины, какой она была лет десять назад. Красные деревенские щеки. Стрельчатые брови. На фотографии она моложе Саши. Показал ему фотографию...

... — У этой женщины — она почти твоего поколения ... гитлеровцы убили всю семью. Отца, мать, брата. Стариков. Всех. Затем ее не брали в аспирантуру Московского Университета, а потом на работу, здесь в Москве... по той же самой причине, по которой гитлеровцы убили всю ее семью...

— А она? — не спросил, скорее, выдохнул Саша, подавшись всем телом вперед и широко раскинув ноги в своих прорабских ботинках, словно готовясь на поиски ее.

— ... Она сделала после этого для своей страны семнадцать открытий; работала для ее обороны в жутких условиях, порой в противогазе, хотя ее никто не заставлял...

— Ну, и что? Поздравьте ее, — сказал он таким голосом,

что у меня появилось желание оборвать его, проститься сухо... Посидел молча, успокаиваясь. Его уже все оттолкнули от себя. Не хватает, чтоб еще и я...

Кто-то из моих знакомых рассказывал недавно о том, что более всего национальные чувства развиваются в концлагере. Становятся там болезненно-обостренными.

Однажды в лагере абхазец-заключенный сказал моему знакомому: «брат твой приехал». Тот ответил, что у него нет братьев.

— Как нет? — удивился абхазец. — Ты — еврей. И он еврей... Все абхазцы для меня братья. — И он взглянул на моего знакомого с презрением. «От братьев отказываешься?»

Увы, по-видимому, можно вывести закономерность: максимальный взрыв национальных чувств там, где максимальное угнетение.

— Знаете, сколько у нас якутов? — порывисто спросил Саша, — 240 тысяч. У них 28 газет. Марийцев — 500 тысяч. У них — 17 газет. Евреев около трех миллионов — на всех один листик в Биробиджане.

А еврейский театр?!

— Допустим, Саша, его завтра откроют. Что было бы справедливым... Но ты туда не пойдешь. Ты не знаешь еврейского языка.

— Изучу! А не пойму, все равно, буду на каждом спектакле сидеть. Принципиально! У меня отняли Родину. Вместо Родины мне подсунули мачеху, которая годы рвала мне уши, наконец, полуха оторвала... А теперь злобно указывает на меня пальцем — «Смотрите, он корноухий! Корноухий...»

Скоты!... Уйду я! Хоть босой по снегу, а уйду...

... Возмущаться? Требовать?... — Саша взглянул на меня, как на несмышленыша. — У кого требовать? Чем возмущаться? В Тулузе до 1018 года господствовал обычай: в Пасху какой-либо еврей обязательно должен был получить публично пощечину... Потом это отменили. В XI веке. А в России? Отменили?... Россия — страна не упорядочен-

ная, здесь бьют не по датам, в этом вся разница... А уважение к человеку? Правосознание? Мы отстали, знаете, на сколько? Лет на триста... Допустим даже невозможное: вы добьетесь равноправия, такого, как в конституции, парламента, как в конституции. А я договорюсь, и его, парламент этот, за поллитра сожгут...

Подходить к России с европейскими нормами — это, знаете, какой-то писательский сон. «На западе — закон, в России — благодать»... Кто у нас уважает закон? Покажите мне хоть одного человека, который уважает закон? Я — техник, прораб, я стою на земле, и не видел за свою жизнь ни одного человека, который бы уважал закон.

Так с кем же спорить?... Может, с нашими громилами? Громила-шовинист — это всегда задница, которая сидит на твоей голове, — резко и как-то заученно-быстро возразил он. Видно, не раз о том с кем-то спорил... — Задницу можно лизать, либо кусать. С задницей нельзя полемизировать.

— Но Россия, извини, не задница. Не будь Сталинграда, Роммель быстро бы проутюжил Ближний Восток танковыми гусеницами. И расстреливать-то было б некого... Говорят, в Израиле были общины, которые закупали уж цианистый калий...

Я продолжаю горячо убеждать его и вдруг ловлю себя на том, что черпаю аргументы лишь из прошлого. Из того, что было...

Но для Саши даже военные годы столь же давняя история, как, скажем, времена персидского царя Кира, когда, если верить историкам, к евреям относились, как к людям. Евреи были равноправными. Сто пятьдесят лет подряд...

Да мало ли что было когда-то — в двадцатые годы. В десятилетие зыбкого равноправия. Он-то сам не ощутил этого!

Я ищу аргументы вокруг себя. Сегодняшние. Увы!

И, как человек, которому не уйти от ударов, закрываю голову руками: упрекаю его, по сути, в том, что он молод; даже понятия не имеет о том, что такое — равноправие. Я стыжусь его напористо, гневно. Но в словах моих нет силы.

Необоримой силы фактов. Мне нечего сказать пареньку, который до боли близок мне. И своей гордостью, и своим гневом.

Я хочу только одного. Чтоб он не погиб. Не бросился на пограничную «колючку», как бросались отчаявшиеся евреи на колючую проволоку Освенцима.

Я-то ведь знаю, что такое, скажем, граница возле Батуми, «фальш-граница», в восемнадцати километрах от настоящей.

Сколько таких саш взяли там, когда они думали, что спасены...

Саша слушал, покусывая ногти, затем резко поднялся, застегнул молнию на куртке, давая понять, что визит окончен. Сказал с иронической издевкой:

— Ну, что ж, клеймите, избобличайте! Вместе с Золя. Им нужен такой человек. Во имя будущего. А я живу во имя настоящего. Ибо после газовых печей нет будущего. Есть только пепел. Золя отравили угарным газом. И никто не был виноват... С вами покончат иначе. Вот и вся разница...

Я вскочил на ноги, намереваясь на прощанье изругать его, как мальчишку, который отчаялся раньше, чем сделал первый шаг. Самого себя предал, сопляк! «Надежды нет! Путь нет!» Я сказал жестко:

— Значит, все?! Конец?! «Мне на плечи бросается век волкодав...»

Он поднял глаза, и мне показалось, что я увидел в них какое-то движение, возможность доверия, разговора. Он спросил почему-то удивленно:

— Вы любите Мандельштама?...

— Да. А вы?

Он засветился весь, стал похож на мальчугана, который удрал от взрослых на лесную опушку, закружился на солнце. Прорекламировал весело, разведя руками:

— Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова?

Как ее не вывертывай
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного.
И потому эта улица
Или, верней, эта яма —
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Мы оба засмеялись. И почувствовали, наконец, сблизилась. Нашли общий язык. Теперь важно не потерять его...

Мы наперебой декламировали Мандельштама. Но, отметил я про себя, разное декламировали.

Я басил:

... — Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам, себе свернете шею!»

Он тихо читал, глядя на свои прорабские ботинки:

... — Все перепуталось и некому сказать,
Что постепенно холодея,
Все перепуталось и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея...

Я перестал его перебивать и то, что он читал, и его односложные замечания, сказали мне о нем больше, чем все другое...

— Много ли он требовал от жизни, Мандельштам?...
Не больше, чем я...

— «Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла
Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота
И спичка серная меня б согреть могла.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому
 Как яблоня зимой, в рогоже голодать,
 Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому
 И шарить в пустоте, и терпеливо ждать...

Саша помолчал, взглянул на меня.

— Он не был так зол, как я. Предсмертные стихи его — это же просьбы, мольбы. Да он был готов все стерпеть, святой человек... — Саша закрыл глаза, прочитал:

— «Сохрани мою речь навсегда за привкус
 несчастья и дыма,
 За смолу кругового терпенья, за совестный
 деготь труда,
 Так вода в новгородских колодцах должна
 быть черна и сладима,
 Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью
 плавниками вода.
 И за это, отец мой, мой друг и помощник, мой
 грубый,
 Я — непризнанный брат, отщепенец в народ-
 ной семье,
 Обещаю построить такие дремучие срубы,
 Чтобы в них татарва опускала князей на
 бадье.
 Лишь бы только любили меня эти древние
 плахи»...

Он махнул рукой, на глаза навернулись слезы.

... Долго молчал, отвернувшись; а когда снова взглянул на меня, глаза его были сухи и горестны.

— А чем все кончилось?... — шепотом спросил он. — Пи-сате-ли... В еврейской истории были такие ученые — просвещенцы. Уповавшие на благородных правителей. Жили мечтой. Стихами — надеждами. Речами — иллюзиями. Кричали: — Не хотим!... А тут, кричи — не кричи, достают из голенища сапожный ножик...

И все!... «... Воронеж — ворон — нож...»

А ведь Мандельштам был для русской поэзии, может быть, больше, чем Левитан для русской живописи... И что?... — Он сжал руку в кулак, шершавый прорабский кулак. — Анна Ахматова, помните, писала о воронежских ночах Мандельштама: «А в комнате опального поэта дежурят страх и муза в свой черед...»

И, ударив кулаком по колену:

— А теперь где его книги? Что изменилось? Убили великого поэта, а потом живут в страхе перед ним всю жизнь. Уж почти все забыли об этом, а сами-то они помнят...

Саша поднялся, видно, на этот раз уж окончательно. Спешил на работу.

— Хотите знать мое мнение? Никогда еще за все время существования России евреи не были так угнетены, как сейчас. Никогда! Даже при Александре III. Раньше можно было от отчаяния креститься. Сейчас — дудки. То есть, пожалуйста, но отец Паисий паспортами не ведает... Как в стихотворении «Еврей-священник»... «Там царь преследовал за веру, а здесь биологически — за кровь...» Учет жесткий, как в гестапо. Отдельно евреи. Отдельно — не-евреи...

Между прочим, система новых паспортов с его пунктами очень помогла гитлеровцам отсортировать евреев. Знаете это? Она способствовала тому, что евреи погибли все. Кого не выдали соседи, того выдавали паспорта.

Но... креститься, Бог с ним! Я не верующий. Танцевал-то у синагоги «фрейлехс» только, чтобы позлить чинуш...

Нельзя ассимилироваться!

— Но вы уже ассимилировались! — вырвалось у меня. ... Вы живете в русской культуре. Пушкин, Блок, Мандельштам. Здесь ваше сердце.

— Нельзя ассимилироваться! — жестко повторял он. — Я могу бредить Блоком, Пушкиным. Могу даже знаясь с Лениным и свято поверить, что выход в ассимиляции. А меня палкой по ногам: «Жид! Жид!» Чтоб далеко не топал... по шляху ассимиляции... Какой уж раз меня отбра-

сывают как чужеродное тело. Создают несовместимость тканей... При царе хоть была процентная норма. Евреи точно знали, сколько человек примут. А теперь мы полностью отданы на произвол местных антисемитов. Злобных тварей, которые как хотят, так и молотят. Не согласны?... Ах, в этом согласны.

Наконец, нельзя иметь своей культуры... Нет, нельзя. Не возражайте. Те крохи, то книжное убожество, которое время от времени желтеет, говорят, вверх ногами, в наших киосках, это не культура. Она никого не объединяет. Даже театра создать не решаются. Даже памятника в Бабьем Яру! Как бы памятник не объединил случайно уцелевших. Плачущих.

И — венец полицейского творенья. Апофеоз. Всех под замок. Уехать, уйти от поруганья — ни-ни... А я хочу уехать! — вскричал он, воздев руки, как в молитве. — Зачем меня держат? Чтобы продолжать издевательства? Чтоб не было им конца?

— Вы просили разрешения на выезд?

— Нет! Хлопотали два моих товарища. Их тут же вышвырнули с работы. А на моих плечах мама. Большой несчастный человек, без средств к существованию... Себя бы я обрек на голод, но маму?!

И вот... вопреки всем конвенциям, вопреки здравому смыслу, сиди, связанный, не смей плюнуть в лицо тому, кто тебя истязает.

Мышеловка!

Но все равно. Найду выход. Я буду либо ходить по земле. Либо лежать в земле. Ползать по земле я не буду.

Он помолчал, резко повел плечами, словно ему заламывали руки, а он вырывался.

— ... Извините, что я так прямо... Но от ваших речей, пусть благородных, пусть искренних, ... вред.

Оживляете надежды. «Ленин сказал»... Да плевать им на то, что Ленин сказал. С высоты Спасской башни. Вы что, сами этого не видите?! Что? Не всем плевать?... Да вы, простите, вреднее самого заскорузлого раввина-орто-

докса, который закликает ждать Мессию. И не двигаться... Вы закликаете ждать не Мессию. Равноправия. Ждать сколько тысяч лет?! Когда спасение вот оно... Три часа полета, и тебе никто никогда не скажет «жидовская морда». Не крикнет: «убирайся в свой Израиль!» Ты уже, слава Богу, убрался... Впрочем, может быть, вы правы, когда-то будет судебный процесс эпохи, и на нем будут судить тех, кто превратил идеи интернационализма в писсуар, на который мочатся политические деятели, философы, писатели, газетчики, все, кому не лень...

На этом процессе станут по всей справедливости судить Сталина, Хрущева. И всех прочих Горкиных-Егоркиных... Или... как их там? Егорычевых?...

Но когда это будет?! XX век — так сложилось — век национализма. В огне — весь мир. Азия... даже смотреть страшно... вся кровью залита. Африка в корчах. Всякие чомбе рвут друг у друга власть, продаются ради этого, кому угодно... Арабы стремятся заполнить Африку анти-семитской литературой, чтобы натравить на евреев еще и мир черных. Россия тут, кстати, ни при чем?...

Немцев — уважают. Считаются с ними. Когда они — нация... А когда они — немцы Поволжья?!... Национальное меньшинство... Пинком на баржу, да вниз по матушке — по Волге...

Украинцам вольготно. Бендеровцами их не попрекают, и справедливо. Нация!... Нация — не какие-то отщепенцы.

А калмыки? Чеченцы? Ингуши? Обрусевшие греки и турки? Крымские татары? Курды? Национальные меньшинства... Потому, пожалуйста, в вагон. И — адью!...

Мне смертельно надоело быть меньшим братом, у которого нос как раз на уровне локтей. Кто ни двинет локтем, у меня нос в крови. Я хочу быть национальным большинством. Всего только! В век национализма — я хочу быть национальным большинством.

Он сунул мне руку, жесткую руку рабочего, и ушел быстро, не оглядываясь...

Я долго сидел один, недвижимый, в густеющем сумраке вечера, угнетенный этой встречей.

Пришла Полина; чуть приоткрыв дверь, удивилась тому, что накурено, застучала на кухне дверцами шкафов. Почему не вошла, как обычно, не рассказала о своих опытах над митурином? Меня, занятого своими мыслями, это, увы, не насторожило. Не обеспокоило...

Я не шелохнулся. Всю жизнь я писал о молодежи. Думал о молодежи... И вот жизнь столкнула лицом к лицу с молодежью, которая в страшной беде. В отчаянии...

Что смогу сделать? Смогу ли кого спасти? Хотя бы Сашу?

А ведь болезнь зашла далеко... Как у печеночника, бывает во рту горьковатый привкус, как у язвенника, случается, металлический, как у сердечника вдруг отдает в лопатку, так и у человека, которого усиленно «заталкивают» в нацмены, оскорбляют, как нацмена, порой лишают куска хлеба, как нацмена, появляются свои симптомы, свой болезненный «глаз» на окружающих.

— Не татарин? Не украинец? Не еврей? Не узбек? Но из наших?

Был у нашего поколения такой взгляд? Хоть когда-либо?...

... Я учился на самой окраине Москвы, где только что возвели Шарикоподшипник. Моими школьными товарищами были дети станочниц и уборщиков — вдохновленная учебой голытьба, — да мы просто не знали, кто какой национальности!... Лишь после войны, когда мне рассказывали о трагической судьбе одноклассников, я с удивлением узнавал, что один из них был, оказывается, наполовину немцем, другой — поляком. Пожалуй, только о сумрачном Мише Ермишеве никто не забывал, что он не русский: у него были бицепсы борца и кавказский темперамент; как что, Мишка мог темпераментно съездить по скуле...

И ныне, когда я пишу эту книгу и мне надо сообщить для полноты картины, например, что — такой-то русский,

а такой-то армянин или еврей, я каждый раз делаю усилие над собой, специально вспоминаю, кто по национальности мой друг или недруг: в нашей жизни водоразделом могли служить человеческие качества, политические взгляды, позиция в том или ином деле, что угодно, только не национальность.

И так по сей день, даже после всего, что стряслось в нашей жизни; война с гитлеризмом и... довоенное ребячье братство выработали стойкий иммунитет; мы глотнули в юности воздуха равноправия, и тем крепки...

А, оказывается, может быть иначе. Совсем иначе.

Что делают с еврейской молодежью?! По крайней мере, со многими из ребят? С тем же Сашей Вайнером!

Да почему, в самом деле, еврейской?

А какой еще? Какой, если не еврейской? Еврейско-русской? Промежуточной? Межеумочной? Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан?

Западные ученые, исследуя подобные вопросы, ввели в свой обиход термин (*marginal man*) маргинальная личность. Личность на грани различных национальных культур.

У «маргиналов» свои сложности. Свои причины, свои предрассудки; вместе с тем, знание не только лишь одной национальной культуры, как легко понять, не обедняет человека, а обогащает...

Тут другой случай. Саша никакая не маргинальная личность. Большевицские призывы к ассимиляции в его семье, казалось бы, осуществились. И давно.

То были споры дедов и прадедов. Ленина и Бундовцев. Бунда и Жаботинского. А. Луначарского и Х. Н. Бялика.

А не Саши.

Саша не говорит по-еврейски. И о еврейской культуре он слышал, главным образом, лишь то, что ее стирали с лица земли.

Он — человек русской культуры. Влюбленный в русскую культуру; более того, знающий ее, наверняка, лучше наших литературных русопятов, как правило, невежд...

Он, как и я, скорее всего, еврей не по национальности.

Он, как и я, еврей по социальному положению.

Пока что...

Какие же удары надо принять на себя, сколько незримых кровоподтеков приобрести, в какую ярость прийти, чтобы повернуться лицом к незнакомому языку, незнакомой культуре, далекому и раскаленному небу...

«Зов крови», говорят в таких случаях националисты.

Да, крови, — если принять поправку гениального Юлиана Тувима: не той крови, которая течет в жилах, а *той, что течет из жил...*

Загонять молодежь, у которой родной язык — русский, русскую из русских по традициям, образованию, культуре, по духу самому, загонять в «бездуховное гетто» (бездуховное, ибо другого духовного мира, кроме русского, у большинства из них пока нет), гнать туда растлевающей души процентной нормой в ВУЗах, введенной Александром III, ограничениями по службе, тычками в печати, жестокими сталинского почерка расправами, бездушием, насмешкой, просто пренебрежением, загонять ее, как клейменный скот, в племенные загоны — это не ошибка, не чиновничья тупость или чиновничье рвение — это расизм.

Расизм не перестает быть расизмом и в красной облатке...

Впрочем, если еще есть на Руси молодежь, говорящая и думающая на «идиш», хотя я, житель центральной Руси, почти не встречал такой, если она есть, то по какому праву ее держать под прицелом в Советской стране, где вот уже полвека прокламируется культура «национальная по форме и социалистическая по содержанию»?

По какому праву и ее официально, отметкой в паспорте, загонять в племенные загоны?

Да разве — в загоны? Над загонами есть небо. Есть дали.

А тут...

Такого, действительно никогда не было. Никогда!

Сашу Вайнера и его товарищей, фигурально выражаясь, загнали в угол, как восставших матросов на броненосце «Потемкин», хотя ребята и не восставали вовсе, они только

хотят жить, как люди, — загнали в угол и, так же, как и матросов, накрыли брезентом, чтоб не видели неба, перспектив роста, будущего...

У царей и гитлеров здесь обычно следовало: — Пли!

А сейчас «Пли!» сказать не решаются (а как же марксизм-ленинизм, а международное рабочее движение), так и держат под темным и душным брезентом дискриминации и унижения, пока люди не задохнутся, не начнут от удушья бредить, кто бегством, кто петлей.

А кто и плюнет на все. На идеи, на людей. Встанет на четвереньки. Один раз живешь...

Тогда край брезента, пожалуй, приоткроют, покажут народу. Вот они какие. Эти Мойши Моисеевичи и Янкели Ароновичи. Обязательно так и напишут. Как никто и никогда их не зовет. Даже жены. Даже престарелые родители, окликающие своих детей на русский лад — Мишами и Яшами. Пропишут точно, как в метрике. Чтоб не было сомнения, о ком речь. А как же!

А одновременно (общественность обеспокоена!) растут, как грибы, негласные, облеченные доверием высокие комиссии, которые озабоченно прикладывают к брезенту уши: под брезентом, видите ли, иные зубрят чужой язык «иврит», а в праздник симхестойра, у синагог, танцуют фрейлехс, хотя девяносто девять из ста не знают ни что такое симхестойра, ни что такое фрейлехс...

Почему танцуют? А?

Озабочены власти. Ну, просто так озабочены.

Одновременно происходит и другое, до чего властям, естественно, нет дела.

По меткому выражению социолога Дороти Фишер, американское общество ставит юношу-негра в положение животного в психологической лаборатории, у которого хотят вызвать невроз: его воспитывают в духе верности непререкаемым национальным идеалам и не дают возможности жить, согласно им.

Мы удивляемся психическим травмам и ранним инфарктам наших знакомых с незримой желтой звездой на груди,

врачи покачивают головами, обнаруживая у них катастрофическую, не по возрасту, изношенность нервной системы и сосудов.

А ученые, исследующие опустошающее воздействие расизма на людей, уж давно ничему не удивляются. Они знают, что нередко категорический отказ приобщить к равноправию, откровенный расистский мордобой плантатора переносится человеком легче, чем половинчатое, полупрезрительное приобщение.

Оскорбительное существование на положении гражданина второго сорта, предохраняют ученые всех континентов, вызывает у человека постоянное внутреннее беспокойство, порой чувство оторванности от людей, отчужденности, тупика. «В своих крайних формах, — убеждает нас, в частности, крупнейший социолог Стоунквист, — это ведет к душевному расстройству и самоубийству.»

Но кто в высоких комиссиях слышал про Стоунквиста и других серьезных социологов? Да и нужно ли их знать? Не евреи ли они?

Да и когда это было, чтоб, постреливая в людей, думали об их здоровье?

Это было бы противоестественным...

Озабочены власти. Совсем иным озабочены. Морщат лбы члены комиссий.

Хотя, казалось, чего проще — той же державной рукой, которой был наброшен некогда на юность — именем Сталина — позорный брезент и, тем самым, постепенно выжигалось на душах тавро «пятого пункта», тавро второсортности, этой же самой державной рукой сорвать и отбросить прочь затмивший горизонты, вызывающий удушье брезент расизма.

И расправить свои высокие государственные лбы...

Нет, пузырится, «дышит» расистский, имени Сталина-Хрущева-Брежнева брезент, над «последними среди равных», как с горьким юмором называют себя молодые обладатели «пятого пункта».

И высокие комиссии по-прежнему толкутся подле, при-

кладывают снова и снова к брезенту уши, исследуют, как устранить следствия, не устраняя причин?... Ибо следствия болезненны, а причины, — какие тут могут быть сомнения! — здоровые...

Зазвенел телефон. Механически звучный, как колокол, голос объявил, что завтра, в десять ноль-ноль меня ждет партследователь.

Я положил трубку.

Озабочены власти. Так озабочены...

ГЛАВА 8.

Все эти годы я жил в тревоге за Полину. Не случайно же ее пропустил часовой с автоматом в недра неведомого военного института, в погромном пятьдесят первом, когда до этого ее отгоняли с бранью даже от бачка, в котором варилась вакса.

Гebbельс называл годы, когда евреев в Германии еще не расстреливали, а лишь бойкотировали, годами «холодного погрома».

На улице бушевал тогда холодный погром, вот-вот должен был начаться, снова начаться, «горячий», а Полину взяли: и — куда?!

Я места себе не находил, узнав, что достаточно проработать за дверями этого института немногим более пяти лет и пенсию станут выплачивать на десять лет раньше.

Трудовому человеку ничего не дают даром. На десять лет сокращается время до пенсии. А — на сколько сокращается жизнь?

У меня появилось почти физическое ощущение, что я проводил Полину в какой-то «холодный» Освенцим, где уничтожают не мгновенно действующим «циклоном-Б», а другими ядами, которые убивают постепенно.

— Ты можешь предложить иную работу? — деловито спросила Полина, когда я высказал свои опасения.

— Лучше мы будем голодать! — взорптал я.

Ответом меня не удостоили.

Однажды я нашел на полинном столе перевод статьи из швейцарского химического журнала. В статье приводились данные о новом полученном за границей веществе, четверти стакана которого достаточно, чтобы отравить целый океан.

За статьей приходил какой-то желтый, с запальными щеками, полковник. Он сказал мне, чтоб я берег жену; она сейчас представляет для обороны страны ценность, возможно большую, чем несколько танковых армий.

— Спасибо, — несколько ошарашенно ответил я. — Наконец, у меня будет стимул...

Проводив его, я долго стоял у двери, охваченный горечью. Возможно, именно в те самые дни, когда наши газеты вопили об евреях-отравителях, Полина вместе со своими товарищами, спасала свою родину от подлинных глобальных отравителей, готовивших химическую войну.

Спасала, не взирая на ежедневную дозу дополнительной отравы, выплескиваемую в лицо «Правдой», «Известиями» и другими газетами, которые она, бегло проглядев и сморщив свой маленький нос, как от вони, стелила в клетки подопытным морским свинкам, так любившим свежую прессу.

Мир — этот ослепленный и яростно топтавший ее Полифем, добивал Полину, как добил уже ее родных. Так врачи-психиатры, случается, лечат безумцев, которые бьют и кусают своих избавителей.

Она спасала отравленный ложью, спятивший мир, не щадя себя.

Мне позвонили, чтоб я приехал за женой. Немедля!... Нет-нет жива, но...

Я долго ждал у подъезда, где стоял часовой с автоматом. Часовой, деревенский парнишка, узнав, кто я, взглянул на меня сочувственно. И даже устав нарушил, вступил со мной в разговор, чтоб легче было ждать.

Полину вывели под руки. Лицо ее было раздуто, как шар, и покрыто у глаз и висков какой-то мелкой и черной,

точно угольной, пылью. Она походила на горняка, которого откопали после обвала в шахте и подняли на поверхность.

Чего больше всего страшился, произошло. Жестокое отравление. К счастью, сигнал тревоги был дан немедленно. Санитарная служба провела блестящую операцию по всем правилам спасения на войне.

Прошло время, и Полина выкарабкалась из беды. А мелкую, словно шахтерскую пыль, мы с сыном постепенно вышелушивали с ее поблекших щек и смывали каким-то раствором. Это была наша семейная воскресная операция; к ней допускались лишь те, к кому Полина была расположена больше всего. Мы добивались этой чести.

Наконец, щеки ее стали сияюще-атласными, как в день свадьбы. И даже чуть розовыми. Мы потащили ее по такому случаю в ресторан «Прага», хотя она, по неискоренимой деревенской привычке, ресторанов не любила, готовила и пекла пироги и пышные «наполеоны» сама, по домашним рецептам, хранившимся, как мамино завещание. Ей говорили, есть рецепты и лучше, но она делала по маминым. Только по маминым.

Из военной химии, естественно, ушла. Слава тебе, Господи!

Она получала теперь вещества с поэтичным названием «мочевина». Искала гербицид, убивающий сорняки на хлопковых полях. Тут все было открыто для непосвященного взора, и даже я, напрягшись, понял, что же она делает.

Я и до этого знал, что Полина человек, наукой пришибленный. Неизменно и желчно твердил ей это, когда она по вечерам, вместо того, чтобы идти в театр или в гости, садилась за рабочий стол. Однако, пока моя жена была от меня на девять десятых засекреченной, я и представить себе не мог степени этой пришибленности.

И вдруг открылось!

В первую же неделю работы с благоухающими мочевиной Полина выделила в чистом виде гербицид под названием «метурин», который выпалывал сорняки не только на

хлопковых, но и на картофельных полях, оставаясь для человека совершенно безвредным.

Директор института торжественно объявил, что появление одного «метурина» уже оправдывает их трехлетнее существование.

Почта, что ни год, стала приносить Полине глянцевитые, торжественные, как царские грамоты, авторские свидетельства Комитета по делам изобретений и открытий, с государственными сургучными печатями и цветными шелковыми ленточками.

Все южные республики наши, многие страны запросили «метурин». Для испытания. Канада прислала заявку — на миллион долларов. Узбекистан слал письмо за письмом. Для него эффективный и безвредный для людей препарат был делом жизни и смерти. Как известно, узбеки пьют воду из арыков. Что на полях, то и в желудках.

Однако «метурин», как все новорожденное, еще лежал в люльке; он не был включен в высокие планы и согласован. За него никого не премировали, никого не увольняли, никого не мордовали. Министерства отбивались от изготовления опытных партий с отвагою былинных богатырей.

Прибыль? Кому нужна прибыль *не запланированная!* Узбеки? Передайте им привет!

Дело откладывалось на годы... Тогда Полина надела свои резиновые ботинки и отправилась, в осеннюю распутицу, за город, на Щелковский химзавод, и там, договорившись с руководителем завода и с энтузиастами-рабочими, стала получать опытную партию метурина.

Она повезла свои инструменты, два пустых ведра и большую кухонную кастрюлю, переливать и сливать растворы, и в электричке колхозницы допытывались, что девка возит и почем продает.

Она ездила в Щелково со своими друзьями и помощниками полгода. Три часа на дорогу в набитой до отказа электричке. Затем восемь часов работы, то и дело в противогазе, так как один из компонентов метурина поначалу слезоточив. Битва с чиновниками, жаждущими провала,

словом все, о чем могут рассказать живущие не хлебом единым.

В Уфе, где на химзаводе первую опытную партию, по недосмотру мастера, сожгли, Полина чуть не убила главного инженера, обругала всех лежебоками и троглодитами, а потом села в сторонке и заплакала.

Так и прилетела в Москву зареванной.

Все началось снова. Кастрюли на матросском ремне. Набитая электричка в Щелково, противогаз, от которого горела раздраженная кожа лица.

Возвратясь домой, Полина падала на диван и тут же засыпала, а мы с сыном снимали с нее мокрые туфли.

Она все же успела получить свой метурин к ранней весне, хотя заболела и тяжело проболела все лето.

Опытные станции в республиках, страны СЭВа, Канада и другие страны, в которые был направлен метурин, прислали блестящие отзывы, и теперь, наконец, государственные мужи спохватились: строятся химические заводы, которые будут получать метурин...

А тревога за Полину по-прежнему не покидает меня.

То у них пожар в лаборатории, и она гасит его, опаяя руки. То взрыв.

Вот и сейчас, когда я вышел из комнаты, обнаружил Полину в ванной комнате, у зеркала, где она прижигает спиртом и чем-то затирает порезы на подбородке от разорвавшейся колбы.

Хотела, видно, успеть, чтоб я ничего не заметил. Потому и не заглянула.

Вчера пришла с работы, поведала, словно бы вскользь, что из райкома был звонок в институт, чтоб приглядывали за ней, Полиной: муж у нее писатель. Речи произносит. Об антисемитизме. Клеветнические, естественно: «у нас этого нет»,

Я собирался сказать ей, что о том же самом сообщили в школу, где учится наш маленький сын.

Не решился. Зачем отравлять ей вечер!...

— Получить бы гербицид на прополку земли от гадов,

— сказала вдруг Полина, вынув из подбородка маленький осколок стекла. — Остались бы на земле хорошие люди. — Вздохнула: — Боже мой, какой бред! Останутся сироты. Дети-то причем?! Тебе откуда звонили?

— От партследователя. На randеву зовут. Коль я не погорячился...

В глазах Полины проглянуло изумление. Когда свершается или готовится низость, она, прежде всего, изумляется. Все еще изумляется.

... Под дверью партследователя, на которой была прибита стеклянная табличка «Гореванова», я сидел долго, видно, попал в перерыв. Мимо несли какие-то аккуратные пакеты и свертки, из буфета.

Статная, казалось, армейской выправки женщина проследовала нагруженная апельсинами и еще чем-то по коридору и остановилась у двери, возле которой я сидел.

Бросив на меня внимательный взгляд, она отомкнула кабинет, скрылась за дверью, за которой долго шуршала пергаментная бумага, затем раздалось потрескивание телефонного диска, и сильный женский голос начал рассказывать о какой-то даче, о девочке, которой в этом году поступать и нужен хороший репетитор.

Прошло минут двадцать, снова и снова потрескивал диск, и тот же голос заговорил о билетах в театр.

Я постучал и, получив разрешение, вошел. Остановился у двери.

Разговор по телефону продолжался, как если бы меня не было. Положив, наконец, трубку, Гореванова спросила с утвердительной интонацией.

— Свирский?... Вам нужно написать объяснение по делу... в связи с вашим обвинением главного редактора журнала «Дружба народов» Василия Смирнова в антисемитизме... — Зазвонил телефон, партследователь Гореванова взяла трубку, и снова начался разговор о том, что без репетитора девочка не поступит...

«Наконец-то! — радостно думал я. — Вот что значит поддержка Секретаря ЦК партии... Механизм заработал.

В кои-то веки на Руси антисемит с партийным билетом будет наказан. Свершилось!»

Я написал на листочке фамилии свидетелей, которые могли подтвердить, что Василий Смирнов шовинист и антисемит... Свидетелей, которых я вспомнил тут же, набралось более тридцати. Слишком много!... Я оставил в списке всю редакцию журнала «Дружба народов» во главе с парторгом редакции Владимиром Александровым, заведующим отделом очерка и публицистики. Кто лучше знает своего шефа? Добавил нескольких писателей и поэтов, которым Василий Смирнов втолковывал свои идеи лично, — от поэтессы Юнны Мориц до поэта и прозаика Александра Яшина, автора гениального рассказа «Рычаги», на которого Василий Смирнов кричал, при всем честном народе, «жидам продался!»

Партследователь, наконец, положила трубку и уставилась на меня вопрошающе: кто, де, такой?

— Свирский я, — почти виновато вырвалось у меня; уж очень, видно, я был ей некстати...

Партследователь наклонилась вперед и, помедлив, вдруг что есть силы грохнула кулаком по столу.

— Что наплели?!

Я видел однажды, так пугали в милиции мальчишку-уголовника, пойманного на месте преступления. Чтоб понял, злодей-лиходея, — церемониться не будут.

Кулак у Горевановой стал красным, видно, отшибла, бедняжка.

— Сядьте, товарищ Гореванова, — сказал я устало и понимающе. — И подуйте на пальцы. Больно ведь...

Она взглянула на меня как-то диковато, почти в испуге, и опустилась на стул, неуверенно, боком, словно это она пришла на прием к партследователю...

И продолжала уже вполне интеллигентно:

— Напишите, пожалуйста, подробное объяснение... Как? Готово?

... И недели не прошло, как начался в моем доме телефонный трезвон. Звонили писатели, записанные мною в

свидетели. Предупреждали меня, тут что-то не чисто. Гореванова ведет себя для следователя не совсем обычно. Еще не начав разговора с вызванным ею свидетелем, она, прежде всего, сообщает ему: «Имейте в виду, я не на стороне Свирского!»

Объявлять — на чьей ты стороне, еще не начав следствия? Вот так следователь!...

Я немедленно позвонил в Горком и потребовал заменить партследователя, ведущего себя открыто пристрастно...

Разбирались долго, пришлось подавать несколько бумаг; протестовать по телеграфу.

Многочасовые «собеседования» продолжались шесть раз. Допрашивали теперь по двое. Один задавал вопросы, другой глядел в упор, прищурясь.

Наконец, Гореванову заменили другим следователем, пожилым, улыбочивым, осторожным. И... на другой день дома снова прозвенел тревожный звонок. Писатель, вызванный свидетелем, сообщил, что вначале его направили к Горевановой, которая хулиганит, как прежде, даже агрессивнее, а лишь затем допустили к новому следователю Иванову... «Твою Гореванову, как суженую, и на коне не объедешь...»

Пришлось отправить еще одну телеграмму.

Документ № 2

«11 марта 1966 года. 11⁰⁰, Москва ул. Куйбышева Горком партии. Председателю Партийной Комиссии МГК тов. Рыжухину.»

В заявлении на Ваше имя я отвел партследователя Гореванову, и парткомиссия удовлетворила просьбу. Между тем, стало известно, что вначале свидетели по-прежнему попадают к Горевановой и лишь после соответствующей беседы она ведет их к тов. Иванову. Протестую против продолжающегося давления на свидетелей со стороны Горевановой. Требую полнейшего отстранения от расследования.

Вызван ли свидетелем поэт Эдуард Межелайтис, по поводу которого направил вам телеграмму. Настаиваю на его вызове.

Григорий Свирский»

Катилось следствие поначалу медленно, со скрежетом, как застоявшийся вагон, который выводят из тупика, а потом, словно вагон толкнули под гору, покатилось быстрее и, наконец, докатилось.

Наступил «судный день». Меня и представителей Союза писателей вызвали на заседание парткомиссии.

И тут выяснилось, что не пришел ни один свидетель. Не только поэт Эдуард Межелайтис, который гостил в эти дни в Москве, а вообще-то житель Вильнюса, но даже москвичи.

Партследователь Иванов заявил сугубо официально, не повышая тона, что он звонил таким-то, отправил телеграмму такому-то. Никто не откликнулся.

Члены комиссии понимающе кивали головами. Это бывает. Еще у Ильфа и Петрова сказано: «Свидетели, записывайтесь!» «И перекресток обезлюдел»...

На нет и суда нет. Не тянуть же людей за уши.

Однако запущенный механизм дал осечку с первой же минуты. Открылась дверь и девушка-секретарь сообщила обеспокоенно, что снизу звонит постовой; там стоит битый час какая-то Мориц, уверяет, что она свидетель, а ее не вызывают и не пропускают.

Партследователь Иванов поглядел из-под кустистых бровей на партследователя Гореванову, которая тоже расположилась неподалеку. Как ни в чем не бывало.

Юнну Мориц вызвал я. Иванов сказал мне вчера, что, среди других писателей, он пригласил на заседание и поэтессу Юнну Мориц, и я, для верности, продублировал его вызов телеграммой. Увы, только ей сообщил...

Гореванова, услышав о некоей Мориц, привстала. Снова опустилась на стул. Лицо ее теперь то и дело менялось в окраске, словно она присела у жарко полыхавшего костра.

А ведь, похоже, и в самом деле, у костра.

Если не вызван, вопреки обещанию, ни один свидетель, значит никакого разбирательства и не предполагалось.

Просто разожгли жаркий огонь. Сжигать еретика.

Этакое уютное маленькое ауто да фе.

И вдруг это непредусмотренное грубое вмешательство постового!

Воцарилась мертвая тишина. Лишь стулья скрипели, словно трещали на огне сучья.

Кто-то заметил неуверенно, коли так, надо, по всей видимости, отложить. Все-таки опросить свидетелей. А то, ведь, что? Нарушение... А?...

Рыжухин поглядел куда-то поверх наших голов и, помедлив и сморщившись, не сказал, выдавил из себя, что заседание откладывается.

... Месяц прошел, может быть, более, и нас вызвали снова.

Начинался апрель. Казалось, все еще длится первое апреля. В таком случае, происходящее можно было бы объяснить первоапрельской шуткой.

— Вы по какому делу?... — спросила меня секретарь парткомиссии.

— По делу Василия Смирнова.

— Такое дело сегодня не рассматривается.

— То есть как? Меня же вызвали.

— Как ваша фамилия?... Так вас же по делу Свирского...

По делу Свирского?! Значит, даже официально, обвиняемый — я? В чем же меня обвиняют?

Оказалось, в клевете. В злостной клевете на русского писателя Василия Смирнова, в течение пяти лет руководившего всесоюзным журналом «Дружба народов»...

Все мы, представители Союза писателей, дружно при-свищнулись. Переглянулись...

Ну и ну! Не удалось сжечь сразу, на ауто де фе... Тогда выбран другой метод.

А все-таки времена стали помягче. При Сталине меня просто бы увезли ночью, как агента Михоэлса. Без шума. А потом объявили бы на собрании писателей, что, как стало официально известно, я не только агент Михоэлса, а еще и старый англо-японо-германо...

И с «клеветой» на истинно русских людей было бы

покончено, раз и навсегда. Не было антисемитизма. Нет. И быть не может, потому что не может быть никогда...

А сейчас приходится со мной возиться. Да еще в присутствии парткома Союза писателей.

— Слушайте, товарищ, — спросил я мужчину из парткомиссии, который прошел на заседание с папками в руках. — А как же презумпция невиновности?

— Что-о?...

Плакала презумпция невиновности!

За массивным столом человек пятнадцать. Среди них, трое представителей писательского парткома. По разным сторонам большого стола, как бы разведенные, на всякий случай, друг от друга подальше, я и мой оппонент Василий Смирнов, подтянутый, сухой, как косточка, бросающий на меня гневные взоры.

Тут же и Гореванова, которая, встретив меня в коридоре, бросила в сердцах, что она тут ни при чем... За сорок с лишним лет московского горкома таких дел не помнят. Никто. Чего же я от нее хочу?

Новый партследователь, тихогласый, солидно флегматичный, читал долго и монотонно. Это было его официальное заключение; копии на папиросной бумаге лежали перед каждым членом комиссии, которые внимали одновременно и глазом и ухом.

Но что же он читал, тихогласый солидный партследователь?

Из показания писателя Бориса Яковлева, литературоведа и специалиста по ленинскому творчеству (показания приведу затем полностью), взято лишь начало первой фразы:

«Со мной В. А. Смирнов *никогда* не вел антисемитских разговоров...»

А остальные свидетели словно бы опять не явились.

Не было более под рукой Иванова никаких показаний.

В таком случае, действительно, сам по себе напрашивался вывод, что руководителя «Дружбы народов» Василия Смирнова оболгали, оклеветали, ошельмовали...

У меня появилось в этот момент ощущение человека, попавшего в машину. Тащит железная цепь, кричи — не кричи... Что бы ты ни доказывал, это лишь вскрики человека, попавшего в машину.

Подумать только, тщательное расследование длилось *полгода*, была опрошена, по крайней мере, половина названных мною писателей и почти столько же не названных. Когда мне затем предоставили слово и я раскрыл свою папку с документами, одно перечисление фактов заняло *около двух часов*; а тут вдруг ни одного; словно вытекли они, как дождевая вода в уличные решетки. Сухо!

Но ведь, по крайней мере, на *тридцать* одном факте я остановился подробно.

Они прозвучали здесь, в этой комнате, и их слышали, как члены партийной комиссии, так и писатели. Поскольку речь моя была публичной, говорил я, решения партийной комиссии ждут многие, люди хотят в конце концов знать:

— *Наказуем ли великодержавный шовинизм в нашей многонациональной стране? Или можно безнаказанно оскорблять национальное достоинство советского человека?*

Никто и глазом не моргнул. Словно глухие сидели передо мной, со своими слуховыми аппаратами на шнурочке. Захотят — включатся. Не захотят — отключатся. И аппаратов своих не вынимали.

Казалось, у них даже выражения лиц не изменятся, если я вдруг перейду на балалаечные припевки: «Барыня-барыня, барыня-сударыня». И не заметят даже. Вот ежели отобью матросскую чечетку, эдак всей ладонью по подошвам, тогда, не исключено, оживятся. Какие аргументы!

Но ведь так можно затянуть в машину любого. И раздавить, как уж не раз бывало в сталинские годы.

Неужели даже гибель миллионов людей не станет уроком?

По-прежнему сидят глухарями, глаза бессмысленно-студенистые.

Есть факты? Тем хуже для фактов, говаривал, в таких случаях Сталин...

О трагедии Полины они узнали со столь же отсутствующим видом, как и обо всем прочем.

Чувствую, убеждать далее бессмысленно. Машина запрограммирована. Затянет и перемелет, что бы ни сказал.

Наскучил вам? Тогда пусть заговорят свидетели. Пятнадцать писателей-коммунистов, это не один еретик, который не желает самому себе добра, не хочет признать, дурак, что погорячился.

Я замолк на полуслове, и, дождавшись, когда все члены комиссии вернутся из своих мысленных странствий в комнату и «включатся», попросил зачитать хотя бы несколько писательских показаний.

И тут началась фантазмагория. Словно в комнате не было ни меня, ни представителей Союза писателей.

Председатель партийной комиссии Рыжухин, сухощавый, суровобровый человек с неподвижным и словно заспанным лицом, поднялся и сказал о всех показаниях писателей, вместе взятых (а среди писателей-свидетелей были коммунисты с 1918 года), сказал резко и категорично:

— *Не будем мы читать всякую галиматью!*

Полгода меня мытарили по следовательским кабинетам, я уже мыкал горе и с Горевановыми и с Ивановыми, и понимал, что в парткомиссии не одни святые люди. Но чтоб этак о всех писательских показаниях?! Публично? Это все равно, что отвесить оплеуху всему Союзу Советских писателей. Хорош!

А какая каменная убежденность в своей безнаказанности! И какого он мнения о писателях, которые, по его представлениям, утрутся и промолчат...

Хорош!

— Простите, — из последних сил миролюбиво спросил я, — что вы называете галиматьей?

Это сталкивало с заранее проложенных мостков, и Рыжухин не ответил, скорее, бросил в сердцах:

— Что сказал, то сказал!...

Рядом со мной сидел Виктор Тельпугов — «певец весны»,

человек, который может восторженно описать жизнь ромашки и трепет бабочки. Я толкнул его локтем.

— Слушай, что тут происходит?

Виктор поерзал на стуле, сполз на самый его край, словно хотел присесть. Только, вижу, побледнел.

Василию Смирнову, в отличие от меня, разрешили привести сколько угодно свидетелей. Он отыскал одного. Однорукого поэта без имени, которого незадолго до этого взял на работу к себе в «Дружбу народов».

Однорукому поэту дали знать, что его час пришел. Он поднялся и произнес, с небольшими вариациями, одну и ту же фразу: «Свирский мутит воду!».

На него поглядели с недоумением, с этим и явился? И больше ничего?

Недавно я был очевидцем такого случая. На первом этаже нашего дома, у лифта, нетерпеливо переминался с ноги на ногу тоненький мальчонка, лет пяти, и вопрошающе, с какой-то немой просьбой, глядел на взрослых, выходявших из лифта.

«Меня лифт не подымает! — горестно воскликнул он, едва я остановился возле него. — Я ... легкий!...»

Появились такие поэты — легковички. Критики — тяжелодумы. А чаще всего, вовсе и не поэты, и не критики. Малограмотные рифмоплеты. Дельцы! Очень им хочется на Парнас. А лифт не подымает. Весу нет. Они подсаживаются к грузным дядям, чтоб подняться вместе.

Они готовы на все, даже на стихи, воспевающие Сталина — лишь бы подняться...

Среди них нет ни одного таланта. Зачем таланту быть лжецом, зашателем, сталинистом?

Долгие годы таких «подымал», главным образом, мону-ментальный, еще более погрузневший после сорок девятого года редактор «Огонька» Анатолий Софронов.

Но, оказывается, для «подъема» гож и Василий Смирнов...

Я давно обратил внимание на двух старушек, по обе стороны от председателя. У одной сверкали огромные

передние зубы из нержавеющей стали. Точно зубы экскаватора. Вторая была чистенькой, благообразной, в заштопаной на локте кофточке; старая большевичка — подумал я. Узнать бы, кто это?

Я разглядывал ее миролюбиво, с симпатией, пока она не пришла в движение.

— Вы говорите, «русский писатель», а по паспорту еврей! — воскликнула она. — Как это может быть, чтоб русский писатель и — еврей?

Я повернулся к вобравшему голову в плечи певцу весны.

— Витенька, может, ты им хоть это объяснишь?

Виктор Тельпугов встал и, вздохнув, терпеливо разъяснил, что такое возможно. В истории русской культуры бывало много раз. И примеры привел, чтоб поверили.

Я глядел на благообразное старушечье личико и старался успокоиться. Чего так удивился? Старушка не облекает свои слова в гладкую «наукообразную» форму... Лупит, как на кухне.

А ведь тоже самое твердит денно и ночью и прозаик Василий Смирнов, член Союза советских писателей, крича, что русские евреи не имеют права быть советскими русскими писателями. Инженерами — пускай. Учеными — пускай...

Дальнейшее он доверяет истинно-русским инженерам и ученым. Каждый распорядится на своем участке.

А тут его участок.

И на нем, естественно, он не единоличник. Охотно и других пускает. Особенно, если кто пашет глубже, например, землепашцы из Министерства культуры во главе с Екатериной Фурцевой, которая недавно прошла по тому же участку, навалясь на чапыги всем своим номенклатурным телом. Не только вычеркнула с нажимом из репертуарного плана пьесу Бабеля «Закат», но еще и изволила выразить свое недоумение оторопелому режиссеру театра такими словами:

— Зачем вам эта местечковая драматургия?

Пьесы вроде «Горянки», о маленьком, затерянном в горах кавказском народе, или о ненцах, австралийцах, неграх, пусть даже из самых дальних мест, — конечно, не местечковая драматургия. Они идут во всех театрах, за что Министерству культуры низкий поклон. Такую широту проявляет. Такой интернационализм...

Но коль речь о евреях!... Когда, к тому же, не только автор-еврей (это порой приходится переносить!), но и героями протаскивает себе подобных, тут уж извините!

Из прозы «некоренных» героев давно попросили. Еще в сталинские годы, когда вдруг прекратили печатать в ленинградском журнале повесть Юрия Германа о враче-еврее. Полповести успели издать, написав, как водится, в журнальной книжке: «окончание в следующем номере...»

На том и кончилось...

«Православному Юрию Герману сделали обрезание», — горестно острила Москва.

Так что с прозой все в порядке.

А на сцене? Чтоб и духу их не было! Как и на экране...

Только что молодой режиссер Аскольдов снял поразительной силы фильм «Комиссар». Одним из главных героев — опять проглядели! — оказался пожилой еврей. И какой, главное! Добрый, человечный. Спасает от банд беременную женщину — комиссара.

И фильм «Комиссар», признанный талантливым самыми привередливыми московскими критиками, писателями, драматургами, не только запретили, но приказали даже немедля уничтожить — смуть ленту! (Такое и при Сталине не практиковалось).

Лишь вмешательство секретаря ЦК Суслова, к которому обратился измученный несчастный режиссер, спасло запрещенную ленту от немедленного уничтожения.

Но не спасли самого режиссера, которому во гневе запретили, раз и навсегда, снимать художественные фильмы. А некоторое время спустя его, потерявшего сознание на улице Горького, в подземном переходе, скорая помощь доставила в больницу. Выкарабкается, нет ли?

И — поделом!

Еврея вывел на советский экран. Доброго.

Что унесет из кинозала наш зритель? Что евреи тоже люди? И среди них есть даже прекрасные люди?

Антисоветчик! Форменный антисоветчик!

... Так что я зря возрился на старушек, как на привидения. Никакие они не привидения. Только они лупят этак по-простому, как в кастрюли бьют.

Старушка с зубами из нержавеющей стали вскинулась вдруг гневно:

— О каком антисемитизме у нас может идти речь, когда в Союзе писателей, наверное, 75 % евреев?

«А, синагога! — оживился я. — Хрущева нет, но идеи его живут.»

Тельпугов всполошенно разъяснил, что цифры...гм, преувеличены гигантски. Во много раз.

А то ведь, в самом деле, сложится мнение — синагога...

Я представил себе эту старушку в Союзе писателей, у мраморного стенда, на котором выбиты фамилии писателей — москвичей, погибших на фронтах Отечественной войны.

Скользнула бы старушка рассеянным взглядом по длинному списку, где рядом с Гайдаром, Афиногеновым,

Д. Алтаузен

Б. Багрицкий

М. Гершензон

А. Гурштейн

Е. Зозуля

Б. Ивантер

П. Коган

А. Копштейн

М. Розенфельд

А. Роскин

З. Хацревин

И. Уткин... И много — много других славных имен советской литературы. **Треть всех** московских писателей, не вернувшихся с войны — евреи.

Не вызвало бы это у нее недоумения? Внутреннего протеста.

Нет, просто отвернулась бы ... И засемила своей дорогой, тут же забыв о том, что не укладывается в ее представлении.

Умирать процентной нормы нет...

Это, как известно, сказал мне веселый генерал Кидалинский. А он свое дело знал...

Старушки снова рванулись в атаку, и я понял, что мы залетели на машине времени в сумеречный сорок девятый год.

Он распростер над нами свои совиные крыла; казалось, сейчас из-за старушечьих плеч вынырнет былинного сложения погромщик и начнет декламировать свое проникновенное «Без кого на Руси жить хорошо»...

«... И зачали, и почали
Чинить дела по-своему,
По-своему, по-вражьему,
Народу супротив.»

Это евреи — зачали. Иначе, космополиты.
А как же они зачали?

«... Один бежит за водкою,
Второй мчит за селедкой,
А третий, как ужаленный,
Летит за чесноком...»

Странно начали как-то. Если не считать чеснока, совершенно, как сам Сергей Васильев.

Но чего же они хотят, объединенные поллитром?

«... Подай нам Джойса, Киплинга.
Подай сюда Ахматову,
Подай Пастернака...»

Ишь, чего захотели!...

Надо подарить старушкам «Без кого на Руси жить хорошо». Для повышения идейного уровня...

Я слушаю и слушаю их пронзительные птичьи голоса (Рыжухин не перебивает) и становится мне не по себе, точно поволокли меня, связанного, в погреб.

Устав партии обязывает рассматривать «дело Свицкого», коль уж оно родилось, прежде всего, в низовой организации, где у нас, в частности — большинство коммунистов с сорокалетним партийным стажем.

Напоминаю об этом Рыжухину.

— Еще чего! — вырвалось у него.

Значит и Устав партии — в форточку?

Стоял, расставив ноги пошире, как на палубе, в шторм, побледневший от гнева и стыда за то, что такое возможно. А вокруг бесновались скандалистки и кричали, что они мне покажут, где раки зимуют.

А скандалистам-то износа нет — подумал я. — Вечный двигатель... Они бесновались у всех костров, на которых инквизиция сжигала еретиков. Кликушествовали подле Дрейфуса, когда солдаты спарывали с его мундира офицерские нашивки; шумно изъявляли верноподданнические чувства, когда жандармы ломали шпагу над голову Чернышевского; грозились немедля истребить всех жидов у входа в суд, где глумились над Бейлисом; точь в точь такие же кухонные скандалисты, купчихи, жены приказчиков, полторы извилины на троих и одна идея: «Ату!»...

Но обычно подобные скандалисты грозили зонтиками и плевались за кольцом солдатского оцепления.

А ныне?

Как они прорвали кольцо оцепления и оказались в кресах партийных судей? Сколько поколений революционеров надо было истребить или запугать, чтоб кликуши числились по штатным ведомостям в революционерах?...

Я подумал об отчаявшемся Саше Вайнере, и о том, о чем писал всеэти годы, и что беспокоило меня более всего — о товарищах Саши — молодых рабочих. Русских, татарах,

украинцах... Только что прошли страшные процессы. Судили бандитов, едва достигших совершеннолетия. Среди рассмотренных дел, убийство единственным и любимым сыном своих «предков» — отца и матери. Бытовой разговор восемнадцатилетних убийц запечатлел протокол:

«— С предками надо кончать,

— Чем?... Револьвером? С ума сошел. Шуму-то. Надо ножом.

— Ножом я не смогу.

— Ну, давай я...»

Насилия от скуки. От пьянства. Преступление ... без видимых причин.

«Среди нас ходят юнцы, загадочные не менее, чем 'снежный человек', — воскликнул об одном таком 'загадочном' процессе юрист.»

Я глядел на суровобрового председателя и думал, что ничего загадочного в страшных процессах нет. Они начались не там. А — здесь...

Что для Рыжухина честь человека? Честь коммуниста? Да грош цена!

Но ведь многие из тех, кто сидят здесь, сегодня же, за ужином, расскажут своим друзьям или женам, как, фигурально выражаясь, заламывали руки одному писателю. Из этих... евреев. Он, правда, пытался отбиваться. Но ему обломали рога.

Послезавтра об этом будут шептаться московские десятиклассники. На всех школьных дворах.

На роток не накинешь платок. Слыхали, как у нас дела делаются. И где?

А потом, когда кто-то из восемнадцатилетних берется за нож и вспарывает своих «предков», как перину, все в изумлении.

— Как так? Почему?... Нормальные дети? И как бандиты?!

«Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку», — говорили древние.

Быки живут «по Юпитеру». Во все века.

Так идет жизнь. Что позволяют себе оракулы, то позволяют ученики.

Хунвейбинов принес не аист в корзинке.

... Так бы и не позволил Рыжухин зачитать свидетельские показания писателей, так бы и затащило меня в визжащую, грохочущую машину, если б не поднялся вдруг сидевший напротив член писательского парткома Юрий Стрехнин, огромный, медлительный человек, бывший армейский полковник. Из тех спокойных, немногословных сибиряков, которых разве что оголтелая ложь приводит в ярость. Стрехнин накалялся медленно, как русская печь. Но уж, если накалялся!...

Он сказал, опустив до синевы багровое лицо, что партком Союза писателей ничего не знает о показаниях писателей и редакторов. Крик дело не прояснит! И он, член парткома, просит, чтоб документы были зачитаны.

Кто-то из сидевших поодаль заметил неуверенно: — Раз партийная организация просит...

— Нет! — отрезал Рыжухин. — Вопрос ясен...

Я поднялся на ноги.

— В таком случае, вынужден их зачитать сам. Мне предоставлено слово, я его еще не завершил.

Брови Рыжухина начали сходиться к переносице. И он, и старушки, сидевшие по обе стороны от него, оторопело уставились на бумаги, которые лежали передо мной. И вдруг поняли, что в моей папке находятся копии писательских показаний.

И тут словно взорвалось что.

— Отобрать у него бумаги! — вскричали нержавеющей зубы.

— Что такое?! — вскинулась благообразная. — Откуда у него наши документы?

В самом деле, предполагалось, что их не существует; нет и не было; они только в сейфе парткомиссии, значит, можно и концы в воду... Можно запросто объявить человека клеветником, еретиком, а может, даже психом, страдающим манией преследования...

Невообразимый шум продолжался долго, пока не прозвучал басовитый дрогнувший голос Юрия Стрехнина, в котором звучала с трудом преодолеваемая ярость.

— От имени партийной организации Союза писателей я требую, чтобы писательские показания были зачитаны! Что это такое, в конце концов?!

Ни один мускул не дрогнул на лице Рыжухина. Он обвел глазами присутствующих, и сказал напряженно, видно, больших усилий стоила ему эта фраза:

— Ну, раз партийная организация требует...

ГЛАВА 9.

Дисциплинированно, как по команде, поднялся старый партследователь и монотонным голосом принялся читать показания свидетелей. Оказывается, они находились тут же, под рукой, в его черной дермантиновой папке. Он прочитал два лежавших сверху документа.

Вот они. Я по-прежнему номерую их, чтоб у каждого выработалось собственное, неподвято-точное представление о происходившем *и по одним лишь официальным документам*, благо кому-то захочется писателю не поверить (предполагаю, найдутся и такие); мое строго документальное повествование, в таком случае, предлагаю лишь в качестве приложения к официальным, с печатями, подписями и входящими номерами, документам.

В КОМИССИЮ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРКОМА КПСС

От ВАЙСА Г.Л. члена КПСС с 1942 г.

По поводу обвинений, выдвинутых писателем-коммунистом Г. Свирским в адрес писателя-коммуниста В. Смирнова могу сообщить следующее:

1. Я знаю В. Смирнова с 1960 года по совместной работе в журнале «Дружба народов». До этого я его не знал, лично знаком не был, никаких симпатий или антипатий к нему не испытывал. Мои отношения с Г. Свирским также не выходили

за рамки шапочного знакомства. Следовательно все, что я считаю своим долгом заявить, лишено каких-либо предвзятостей, оно является всего лишь результатом горького пятилетнего опыта лично увиденного, услышанного и пережитого.

Начну, однако, по порядку.

2. Когда в 1960 году стало известно, что В. Смирнов назначается редактором журнала «Дружба народов», это вызвало не только недоумение в писательских кругах, но и повергло на моих глазах в уныние и страх всех работников журнала, так как за В. Смирновым шла упорная молва, распространялись слухи, как о человеке грубом, злобном, откровенном великодержавном шовинисте и антисемите, особенно проявившем эти свои качества на работе в Литературном институте, а затем и в секретариате Союза писателей СССР.

Вскоре слухи эти стали подтверждаться и в практике его работы в качестве редактора журнала. Началось в грубых окриках, оскорблений человеческого достоинства, административных перехлестов, и нежеланием прислушиваться к мнению коллектива, доверять ему. Это привело к тому, что уже на одном из первых открытых собраний я в своем выступлении должен был заявить: «Мы ходим, как по заминированному полю, не зная где и когда взорвется опять наш редактор и какими потерями мы отделаемся.» В результате созданной В. Смирновым атмосферы заминированного поля из журнала ушли прекрасные работники коммунисты тт. Лебедева, Кукинова, а также критик Е. Померанцева. Уходя, они открыто заявили, что не хотят работать со Смирновым.

Так подтвердилась первая часть слухов о В. Смирнове. Не замедлила сказаться и другая часть.

3. Одной из первых акций В. Смирнова при вступлении на пост редактора был единоличный и самоуправный отказ напечатать в журнале романы двух писателей, евреев по национальности, т.т. Зильбермана и Свирского. Эти романы были приняты и одобрены редколлегией, за них уже было выплачено авторам, причитавшиеся по договору 60 % гонорара, несмотря на все это Смирнов отказался печатать. Дело было передано в суд, который конечно же стал на сторону закона и присудил выплатить писателям причитавшиеся им суммы. Эта самовольная, самоуправная акция Смирнова, не пожелавшего считаться ни с решением редколлегии, ни с подписью его предшествен-

ника А. Суркова, обошлась в сотни тысяч рублей народных денег и начала подтверждать уже и самые худшие рассказы о нем и опасения коллектива.

На этом, однако, дело не ограничилось.

4. Я в то время заведовал отделом очерка и публицистики. И вот сразу же столкнулся с такого рода произволом. По распоряжению В. Смирнова, из текущего номера был изъят уже набранный очерк писателя Бориса Костюковского. Мне никаких причин указано не было. Однако, вскоре после этого мне было запрещено привлекать к работе в журнале работавших до этого много лет талантливых и известных очеркистов, покойных ныне А. Литвака и Илью Зверева, а также очень успешно и хорошо до сих пор работающих в литературе Марка Поповского и Льва Давыдова-Ломберга. На этот раз свое категорическое распоряжение В. Смирнов мотивировал так: — Это не наши авторы!

Между тем, эти авторы печатались повсюду, редакция журнала в прошлом была заинтересована в том, чтобы привлечь их к журналу. Чем же они не угодили В. Смирнову, по какому принципу он их объединил? Они люди разных поколений, разных масштабов и наклонностей, но единственно, что объединяло, это их еврейское происхождение, вот поэтому они и оказались для Смирнова «не нашими авторами» в журнале «Дружба народов».

Между тем, тот же В. Смирнов счел «своими авторами» очеркиста К. Буковского, который был исключен из Союза писателей за хулиганскую антисемитскую выходку. Несмотря на это, В. Смирнов, не испрашивая мнения отдела, немедленно послал К. Буковского в две — одна за другой — командировки длительные и дорогостоящие. Ни один автор до этого не пользовался у нас привилегией. Вряд ли Смирнов сделал это случайно, непродуманно, слишком явной была эта демонстрация солидарности!

5. Само собой разумеется, что В. Смирнов достаточно осмотрительный и осторожный, чтобы в моем присутствии допускать откровенные антисемитские высказывания. Однако, в течение пяти лет, он не раз терял бдительность и его прорывало. Таким образом, мне довелось стать невольным свидетелем откровенно антисемитских высказываний и выходок Смирнова. При-

веду только некоторые из них. Не заметив, что я стою у открытых дверей его кабинета, В. Смирнов сказал заменившему меня на должности заведующего отдела коммунисту В. Александрову: — Ты там следи, чтобы Вайс не превратил отдел в кормушку для евреев...

Я не поверил ушам своим, но это потом подтвердил сам В. Александров, который может рассказать об этом более обстоятельно.

Второй раз я был свидетелем того, как Смирнов в присутствии коммунистки З. Куторга грубо и бестактно поступил с Э. Маркиш, вдовой еврейского советского писателя-коммуниста Переца Маркиша, ставшего жертвой бериевского произвола. Когда она, сама отсидевшая несколько лет в лагерях, принесла в «Дружбу народов» рукопись антифашистского романа покойного мужа, Смирнов ей заявил:

— Несите его в свой журнал, мы печатать вас не будем...

Отсылая вдове советского писателя-коммуниста, известного своим незаурядным талантом, в еврейский журнал, В. Смирнов не мог объяснить, почему в журнале «Дружба народов», где печатаются произведения даже самых малочисленных народностей, нет места для романа, написанного на еврейском языке. Его последующие ссылки на то, что в журнале все же он напечатал еврейских авторов несостоятельны потому, что это делалось, во-первых, под нажимом и после указаний сверху, а, во-вторых, потому, что для опубликования отбирались не самые сильные и характерные для этой литературы произведения.

В другой раз, когда В. Александров обратился к В. Смирнову за разрешением послать в командировку сына Переца Маркиша в один из колхозов Дагестана, редактор «Дружбы народов» отказал, мотивируя это так: — Что там евреи понимают в сельском хозяйстве...

Этим фактам я сам был свидетелем, а вот факты, о которых мне рассказывали.

6. Когда коммуниста Ю. Полухина в первый раз не приняли в Союз писателей, временно отложив окончательное решение, В. Смирнов, встретив его после этого, сказал: — Это потому, что в приемной комиссии засели одни жиды.

Об этом Полухин тут же с возмущением рассказал в моем присутствии В. Александрову.

Особенно откровенными и частыми подобного рода высказывания В. Смирнова стали после известной мартовской встречи руководителей партии с писателями (после встречи с Хрущевым — Г.С.). В. Смирнов, видимо, решив, что ему теперь все дозволено, стал все сильнее постукивать кулаком по столу. Каждый раз, возвращаясь после работы домой на Ленинский проспект, В. Смирнов прихватывал с собой в машину живущих там же З. Куторгу, В. Дмитриеву, Ю. Суровцева и тут давал себе волю. На другой же день в редакции стало известно, что Смирнов говорил, например, следующее: «В «Новом мире» собрались одни евреи, они-то и мутят воду в литературе». «Илья Эренбург пусть уезжает в Израиль и не мешает нам». «Русская литература должна делаться русскими руками», «Евреи исковеркали русский литературный язык» и наконец, однажды он даже сделал открытие: «А вы знаете, — сказал он своей спутнице, что Солженицын это же Солженицер. Теперь-то все понятно...» Грустно и неприятно перечислять все другие сентенции В. Смирнова.

7. В. Смирнов не стал скрывать от коллектива и своих великодержавно-шовинистических взглядов и тенденций, которые особенно ярко проявились в таком конкретном случае. В одной из статей Б. Яковлев ссылался на известное высказывание Ленина о царской России, как о тюрьме народов. На очередной летучке, в присутствии всего коллектива, В. Смирнов устроил Б. Яковлеву грубый и недопустимый по тону разнос, заявив, что он допустил чуть ли не клевету на Россию, оскорбляет русских, намекая, что это может себе позволить только такой человек, как Яковлев... Этот конфликт имел свое продолжение, он разбирался специально и Смирнову пришлось сбавить тон и в дальнейшем быть осмотрительней при ревизии ленинских классических формулировок.

Мне довелось и доводится бывать в республиках, и всюду я сталкивался с едунодушным мнением видных национальных писателей о В. Смирнове, как о великодержавном шовинисте, националисте. Именно на этой почве от журнала отошли, перестали в нем печататься такие выдающиеся писатели и поэты, как Межелайтис, Слуцкис, Расул Гамзатов, Брыль, Боков и другие. Этим же они объяснили тот факт, что за время работы редактором журнала «Дружба народов» В. Смирнова, журнал потерял свою популярность, тираж его резко снизился.

За время работы в журнале дурная молва, которая тянулась за Смирновым, не только не рассеялась, но еще больше укрепилась и распространилась далеко за пределы Москвы.

В заключение я должен заявить также и следующее:

Мне тяжело и больно писать обо всем этом. Я уже не молодой человек, на своем веку я пережил не менее пяти погромов — черносотенцев, белогвардейцев, махновцев и прочих. Во время одного из них была зверски убита моя сестра-близняшка, и я лишь чудом остался в живых. В 1942 году фашисты расстреляли всех моих родных и близких, вплоть до малолетних племянников. Я всегда знаю и помню, что от ужаса этих погромов нас, евреев, как и другие в прошлом угнетенные народы и нации, освободила советская власть, партия большевиков. А доблестная Красная Армия, в рядах которой я служил двенадцать лет, в том числе и все годы войны, расправилась с немецкими расистами. Это было и остается моей большой гордостью. Поэтому так тяжело и горько после всего этого мне, коммунисту, обвинять другого коммуниста во всем вышеизложенном, но умолчать об этом, особенно, когда меня об этом спрашивает парткомиссия, мне не позволяет ни моя совесть, ни светлая память о погибших, ни годы моих личных страданий.

г. Москва, 7.II.1966 г.

В полном и все более растерянном молчании партследователь зачитал второй документ.

Документ № 4.

«В ПАРТКОМИССИЮ МГК КПСС тов. В.Н. ИВАНОВУ»¹

В связи с нашей беседой в Парткомиссии могу сообщить лишь следующее:

1. СО МНОЙ В.А. СМИРНОВ НИКОГДА НЕ ВЕЛ АНТИСЕМИТСКИХ РАЗГОВОРОВ, о которых сообщают Парткомиссии коммунисты «Дружбы народов», в чьей честности я не сомневаюсь.

¹ Заглавными буквами выделены строки, которые партследователь только и выбрал для своего прочитанного им в начале заседания итогового обвинительного заключения.

... («Пойди сюда, правдивый старик, — восклицают в такие минуты герои великого сказочника Евгения Шварца, — Дай же тебя поцелую... честный старик!») Иванов — Г.С.)

При мне В.А. Смирнов не отважился бы, скажем, утверждать, что донской казак Александр Исаевич Солженицын, на самом деле, оказывается, «Абрам Исаакович Солженицер», что жида московской писательской организации никогда не примут в нее Полухина и т.д. За годы совместной работы с В.А. Смирновым я столько раз давал резкий отпор его истерическим выходкам, что он, естественно, в моем присутствии никогда не пускался в подобные откровенности.

2. Сошлюсь, однако, на эпизод, относящийся к осени 1963 года. В тот день на летучке обсуждался № 7 (или 8) журнала, открытый поэмой бурятского поэта Дамдинова, содержавшей — после строк, обличавших английский империализм, такое, если память мне не изменяет, — изречение: «*Всегда Россия ты была другою и потому нам стала дорогою*».

Одоблив поэму в целом и поддержав В.А. Смирнова, опубликовавшего произведение такой остроты, я заявил, что приведенные строки противоречат исторической правдивой трактовки царской России, как «тюрьмы народов».

— На самом деле, — говорил я. — Российская империя отнюдь не была «*другою*», а осталась до Октября колониалистской державой, зверски расправлявшейся с национально-освободительным движением...

В.А. Смирнов тотчас же закричал, что он «не позволит» мне «кошунствовать» и «оскорблять» историю русского народа.

Я потребовал, чтобы он перестал на меня орать, а весь этот спор перенести с «летучки» на редколлегию. Назавтра я направил туда письмо, где, ссылаясь не только на ленинские оценки царизма, но даже и на высказывания Сталина, высоко почитаемого Смирновым, показал великодержавно-шовинистический характер подобной позиции.

3. Приведу и еще один характерный случай. Когда 25.II.1964 Секретариат СП СССР обсуждал мое заявление о фальсификации Е. Чалмаевым и А. Богдановым, по прямому поручению В.А. Смирнова, мнимого «читательского» письма о поэме А.Т. Твардовского «Теркин на том свете», В.А. Смирнов, пытаясь, по обыкновению, опорочить тех, кто его критикует, заявил, что я, как редактор приложений к журналу, «подсу-

нул» ему сборник рассказов «РАЗНЫХ ДРАПКИНЫХ-ХАПКИНЫХ»...

В.А. Смирнову резко ответил А.А. Сурков, объявив замечание о «драпкиных-хапкиных» постыдным для редактора «Дружбы народов». Напомню, что на этот раз В.А. Смирнов третировал члена КПСС с июня 1917 года Елизавету Драпкину — дочь С.И. Гусева и профессиональной революционерки — большевички Ф. Драпкиной. Секретарь Я.М. Свердлова, участница гражданской войны, она не раз беседовала с Лениным. Е. Драпкиной принадлежит отличная книга о первых годах Октября — «Черные сухари».

Выходка В.А. Смирнова на секретариате была, разумеется, черносотенной, ибо оратор протестовал против включения в сборник произведений не, скажем, «петровых-ивановых», как принято говорить в таких случаях, — именно «драпкиных-хапкиных», издевательски подчеркивая их «еврейское происхождение».

4. На другой летучке В.А. Смирнов упорно именовал писателя Г. Бакланова «Фридманом», опять-таки нарочито акцентируя еврейскую фамилию. Но ведь писателя «Фридмана» не существует, а есть писатель Бакланов. Игнорировать это столь же нелепо, как, к примеру, подчеркивать, что ЦКК в свое время руководил «Миней Израилевич Губельман» (а не Емельян Михайлович Ярославский!), а ЦК партии — «Сосо Джугашвили» (а не И. Сталин!).

Таковы лишь три из сохранившихся в памяти публичных выступлений В.А. Смирнова. Нетрудно предположить, как далеко он мог заходить в частных разговорах с глазу на глаз.

Зная В.А. Смирнова не один год по работе в журнале, порой протекавшей более или менее нормально, пока он не закатывал очередную истерику в ответ на любые критические замечания по его адресу, я опасаясь, что он объявит это письмо, написанное по запросу парткомиссии, продиктованным лишь чувством личной вражды к нему и даже «мести». Однако, — в прямую противоположность В.А. Смирнову, — я ценю его талант и даже известную прямоту выражения своих взглядов, хотя и считаю многие из них чуждыми пролетарскому интернационализму, в духе которого партия воспитала мое поколение.

Вся беда, по-моему, в том, что В.А. Смирнов ничего не понял в решениях XX-XXII съездов о ленинских нормах общественной

жизни. Он признает лишь один метод «полемики»: расправу с инакомыслящими, наклеивание оскорбительных и крикливых ярлыков, заушательскую ругань вместо спокойных доказательств — типичную для групповщика — клеветническую и сплетническую дезинформацию парторганов.

Вот почему, несмотря на всю горячность и, быть может, недостаточную фактическую и документальную внешнюю доказательность речи Г. Свицкого, я считаю ее смелой, честной и весьма своевременно заостренной против черносотенства, к сожалению не изжитого и в писательской среде.

Хотя В.А. Смирнов, наверное, снова назовет меня «талмудистом и начетчиком», не могу все же не закончить это письмо ленинскими словами, призывающими партию защитить представителей нацменьшинств нашей страны от «великоросса-шовиниста», в сущности подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ».

Выступая еще в 1922 г. против «шовинистической великорусской швали», Ленин предостерегал: «... ничто так не задерживает развития и упрочения пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость, и ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к чувству равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы по небрежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого равенства своими товарищами пролетариями».

Не раз предупреждал Владимир Ильич и о том, что «даже малейший оттенок антисемитизма всегда доказывает реакционность...»

Я уверен, что парткомиссия поможет В.А. Смирнову понять политический смысл ленинских предостережений, преподав тем самым урок всем, кто, судя по инцидентам с М. Бубенновым, С. Васильевым и др. не умеет подавить в себе чувства, весьма далекие от интернационализма.

Б. Яковлев

Честный старик сел. Быстро закрыл свою следовательно папку, может быть, из опасений, что я потребую обнародовать и остальные двенадцать подобных показаний.

Но я не потребовал. И прочитанного было вполне достаточно.

Молчание становилось тягостным. Такое молчание бывает разве что у пассажиров машины, которые легко мчались несколько часов к цели и вдруг у самой цели оказалось, что нет моста. Паводок снес. Надо возвращаться обратно не солоно хлебавши. Или искать новый объезд. По дальней кривой. А все устали.

Но лицо Рыжухина отнюдь не было растерянным. Он был крайне озабочен. Озабоченно спросил Василия Смирнова, какие у него возражения...

Василий Смирнов не помог ему. Он взорвался, как грязевой вулкан. Из потока брани, пожалуй, можно было выделить три незабвенных высказывания, которые со стенографической точностью записали на своих листочках представители Союза писателей. «Какой я антисемит, у меня брат женат на еврейке.» «Я очень больной в этом смысле, невоздержанный». И — «мало ли что скажешь! Мое мировоззрение не в высказываниях, а в статьях...»

Заметив краем глаза присевшего в заботе Рыжухина, посмотрев на Соловьеву, сидевшую невозмутимо и прямо, как отличница за первой партой, у которой заранее готовы ответы на все-про все, Смирнов понял, что от него ждут еще чего-то. А о чем говорить? Факты, как он понимал, лучше обойти стороной...

И он закричал фальцетом: «Я по-ихнему, значит, антисемит? Не смейте об этом говорить — как это ловит заграница!»

Да напиши я такого вымышленного литературного героя — не поверили бы. Сказали б — неправда. Что он, круглый болван, твой герой. И Пуришкевичи сейчас иные, себе на уме, и кулаки теперь не с обрезам, а с портфелями, и клеймят на собраниях корысть... Их голыми руками не возьмешь... Будет он так, твой антисемит, открываться? Недостоверно. Клюква.

По правде говоря, сначала и я удивился: Вас. Смирнов далеко не простачок. Он, судя по его книгам, человек деревенского корня. И вовсе — не бесталаный. Из тех неглупых мужиков, которые больше слушают, чем говорят.

Себе на уме... Как же он так размахался руками, как ветряная мельница? Вдали от фактов...

Лишь потом я понял, что властительный, привыкший вести себя как ему вздумается, руководитель «Дружбы народов» просто не считал необходимым маскироваться. Он поверил, что пришло его время...

Потому впоследствии, в более высоких инстанциях, он и не думал менять стереотипа своего поведения. Все было как всегда. Вначале несусветная брань, ложь, попытка заодно очернить свидетелей («Это все те, с идейными шатаниями которых я боролся»), а затем, когда его, как вора, хватили за руку, последний, на истерической ноте, аргумент: «Тш-ш! Как это ловит за граница», хотя давно известно, что появление на большой идеологической дороге таких интернационалистов с кистенем, как Василий Смирнов, для многонациональной Советской страны сродни прививке бубонной чумы, по сравнению с которой все сообщения иностранной печати о подобном — просто легкая простуда от сырого океанского ветра.

Что значит, в самом деле, десяток-другой статей за рубежом об антисемитизме в России, по сравнению с такой подлинной бедой, как пребывание зоологического антисемита Василия Смирнова на посту главного редактора журнала с названием «Дружба народов», а Смирнов и по сей день член редакционной коллегии этого журнала.

Костлявые руки Смирнова дрожали, и я подумал: вложи в них сейчас скорострельный пистолет?

Нет-нет! На это нашлись бы другие. Век цивилизации и ... разделения труда... Он хитер, Смирнов, он твердо знает, что лучше держаться в дозволенных рамках *холодного погрома*. Зато тут уж можно хоть на голове ходить.

Он и пошел. На своей великомудрой голове. Не постеснялся...

Увы, это не преувеличение. Уверенно, даже лихо перевернул все с ног на голову.

— Это, де, я ... антисемит? Я разжигаю национальную рознь?! У нас на пятидесятом году советской власти есть, де,

национализм в республиках, это разве я сказал? Это Свировский все. Он разжигает... Подумать только, на общем собрании. Разжигал... Никто об этом кроме него ни слова. Он один разжигает...

Такого, похоже, и Рыжухин не ожидал. Он как-то подался весь вперед. Шея вытянулась, само внимание.

Какое, в самом деле, богатство идей!

Раздувает пламя не поджигатель, а тот, кто корчится от ожогов.

Не палач с кнутом, а привязанный к дыбе.

Не полицей с винтовкой, а стонущий на дне карьера.

Не вор, не расист, не оскорбитель, не убийца, а жертва.

Твердило же, из номера в номер, незабвенное «Русское знамя»:

Еврей сам во всем виноват.

И впрямь. Кричит, сволочь, от боли.

«А как это ловит заграница?!»

Когда еще Пуришкевич советовал евреям: не надобно заниматься христианскими ремеслами, тем более, русской литературой. Чистили бы из века в век ботинки. Никто бы и худого слова не сказал. Истинно-русский Василий Смирнов даже похвалил бы работу. Кинул бы не гривенник, а, щедрый человек, пятиалтынный.

А уж коль полезли, как сказал другой современный литератор:

«... с рогатками, с закладками
в науку, в философию,
на радио и в живопись,
и в технику, и в спорт...»

Повылезли в люди — пеняйте на себя!... Истинно-русские люди знают, что им делать...

И — тихо. Ша! Рыдать в подушки. Умирать безмолвно. Без стопа. Не разжигать.

«Как это ловит заграница!»

Даже осторожный, как сурок, Виктор Тельпугов не выдержал, сказал мне вполголоса:

— Умри Смирнов, лучше не скажешь!...

Помолчала и Комиссия. Не сразу тут опомнишься. Надо переварить «новую» идею. Однако... Надо и катить колесо дальше. Рыжухин медленно поднялся, взглянул, по своему обыкновению, поверх нас непреклонным взглядом и заявил твердо, таким тоном произносят приговор:

— Мы не можем сказать, что свидетели написали неправду, но не можем сказать, что и правду...

Это привело в некоторое изумление даже тех представителей Союза писателей, которые мечтали окончить дело, как говорится, честным пирком, да за свадебку.

Юрий Стрехнин, сутулясь и опершись о стол большими кулаками, выразил со своей неискоренимой прямою удивление:

— Слушайте, в каком году все это происходит?...

Но товарищ Рыжухин на него и не взглянул. Раз машина запрограммирована выдать Смирнову очистительную индульгенцию, то она выдаст, хоть бей по ней кувалдой. Такова программа.

— Хорошо, — сказал Рыжухин, мучительно глядя поверх нас.

— Тогда так... Установим... Григорий Свирский — не клеветник. Но и Василий Смирнов — не шовинист. Смирнов лишь *давал повод* считать его шовинистом...

Кто-то нервно хохотнул. Стрехнин пробасил: «Да-а».

Но при чем тут эмоции! Секретарь деловито скрипела ручкой, записывая официальные выводы многомесячного расследования.

Но все же Рыжухин чувствовал себя не вполне уверенно. И, сформулировав окончательный вывод парткомиссии, поглядел на Соловьеву, которая до сих пор и слова не молвила. Пухловато-круглое лицо ее, правда, было намного жестче, чем тогда, когда она просила меня, по-человечески просила, по-женски, проникновенно просила, признаться, что я погорячился...

Похоже, именно Соловьева отвечала перед кем-то за сегодняшнее «мероприятие»...

Соловьева, к моему изумлению, и не думала искать никаких гибких формулировок. Никакого эластика.

Заведующая отделом культуры Московского горкома партии сказала властно, нимало не смутясь и глядя на нас круглыми ясными глазами:

— *Я поддерживаю позицию Василия Смирнова.*

Наступила могильная тишина. Ни один стул не скрипнул. Лишь кто-то задохнулся, закашлялся.

Закашляешься! Никогда за все пятьдесят лет советской власти ответственный партийный руководитель Москвы не позволял себе заявлять этак, — на заседании, публично, при чужих — что он *поддерживает позицию шовиниста и зоологического антисемита*¹.

Сформулировав свое идейное кредо, Соловьева взглянула мельком на того, кто закашлялся и еще бился в кашле, и лишь тогда посчитала необходимым теоретически подкрепить свое сенсационное заявление.

Шовинизм Василия Смирнова, пояснила она, проявлялся лишь в словах, а не в делах. В высказываниях, а не в поступках. И надо, мол, судить, Смирнова так, как он сам о том просит — не по словам, а по делам.

Тут уж и некоторые члены комиссии задвигались, «включились» окончательно. И даже переглянулись.

Не хватила через край?

Даже, если взирать сквозь пальцы на то, что Василий Смирнов писателей-евреев, что называется палкой изгонял (кто, в конце концов не вычеркивал из разных списков «некоренных»?...), если даже не замечать этих его прямых действий, то и тогда, как быть с Владимиром Ильичом Лениным? С его позицией, которую он высказал так прямо, что, как говорится, ни прибавить — ни убавить:

«Слово тоже есть дело».

¹ Соловьева — супруга А.А. Соловьева, заместителя директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, главного хранителя наследия В.И. Ленина.

К тому же слово известного писателя. И главного редактора журнала «Дружба народов»...

А ведь тут чужие сидят. Вон их сколько! И записывают; что записывают? Отдельно Ленин, а отдельно Соловьева; на противоположных сторонах баррикады?... На противоположных ли? — подумают.

Переглядываются члены комиссии.

... Мы расходимся в молчании.

Я шел потрясенный. Вовсе не тем, что парткомиссия горкома выгородила погромщика (это почему-то никого не удивило), а тем, как буднично, запросто заведующая отделом горкома партии, под рукой у которой вся культура Москвы, подняла руку на слова Ленина.

Чего только, в самом деле, не вытворяли с Лениным!

Просеивали сквозь сталинские цензурные решета. Пропускали сквозь комментаторские грохоты, дробившие его на подходящие к случаю цитаты.

Что только не творили с Лениным!

Но на него никогда не подымали руки — на трибуне. В выступлениях. Никогда не опровергали публично. На людях. Разве что по ошибке.

Впервые ответственный партийный руководитель Москвы сказал с трибуны в присутствии партработников и писателей, что ему на ленинские слова, мягко выражаясь, начхать...

Прощались у дверей горкома; один из писателей сказал изумленно, видно, такого и он не ожидал:

— Паноптикум!

Другой усмехнулся горестно:

— Обезьяний процесс. И над кем, главное?!

Такси унесло их, а я пошел по весенней слякотной Москве к метро, размышляя о людях, которые заседали сегодня за массивным, выдавшим виды столом. Кто они? Во что верят? Что у них за душой?

Инквизиторы сжигали на кострах Джордано Бруно или Яна Гуса, и, фанатики, верили, что это дело святое. Изгоняют дьявола.

Якобинцы рубили головы и верили, что это дело святое. «Да здравствует революция!» ... восклицали и палачи и жертвы.

Наконец, царские офицеры дрались «за единую неделимую» и порой, как каппелевцы, шли на смерть строевым шагом с папиросой в зубах.

Они были лютыми врагами Советов. Но они были — идейными врагами.

А что за душой у Рыжухина? У Соловьевой? У крикливых «нержавеющих» старушек. У сановных молчаливиков, которые сживают вокруг стола, вот так — молча и с печатью государственных раздумий на челе?

Идеи?... Что ж тогда, все они строем, повзводно, побатальонно, примаршировали из «Союза русского народа»? Или Михаила Архангела? Из редакции «Русское знамя»?

Нет! Разные они. Один из членов комиссии брюзжал в коридоре: «Ослабили вожжи. Пораспускали. Раньше за такое, бывало...» Точь в точь купец Бугров, который страшился за свою мошну и тревожно спрашивал Горького: «Вот над этим подумать надо, господин Горький, чем будем жить, когда страх пройдет?...»

«Купецкую» философию не скрывают, благо не знают, что она купецкая...

Другие (не исключено, что и Рыжухин), оставаясь наедине со своей совестью, убеждают себя: «Я — солдат партии», «не моего ума дело», или чем-либо подобным.

А Соловьева? Своим голосом она говорила?... Или, как персонаж шиллеровской драматургии, была лишь «рупором идей»?

Чьих идей?

Или обходительный Виктор Тельпугов, певец весны. Он-то явно не антисемит. Я сказал ему как-то, что он на заседании то и дело приседал. Как на спортивном занятии. До уровня «мадам Соловьевой».

Соловьева, фигурально выражаясь, приседала, и Витя Тельпугов сползал со стула.

Витя Тельпугов смущенно развел руками и сказал, что у него сложное положение. «Сам понимаешь...»

Мне рассказывали об одном молодом человеке, который недавно на телевидении обследовал картотеку авторов, нет ли евреев?

«Гнусная работенка», — с отвращением сказал он позднее своим товарищам, сделав все, что ему приказывали.

Другой выступил с облыжными обвинениями, а вечером, совестливый, видите ли, позвонил оклеветанному: «Извини. Иначе не мог».

Третий, журналист-международник, написал визгливую статью, а вечером, подвыпив в клубе, рассказал мне с циничной улыбкой придуманный его же друзьями анекдот: «Земля кругла. Есть новое подтверждение... Помоги, которые мы выливаем на запад, возвращаются к нам с востока...»

Сталин подымал тост «за колесики и винтики». Безглазные, предельно послушные, никогда и ни в чем не повинные «колесики и винтики» — заговоришь о них и, видишь, — вступаешь в новый круг дантова ада.

Эйхман не был антисемитом. Это установил трибунал, судивший невзрачного, не имеющего лица «бухгалтера смерти», которому было поручено организовать истребление евреев.

Он успел деловито, с чиновничьей исполнительностью, отправить в газовые камеры шесть миллионов евреев, и на суде с возмущением отрицал, что забил до смерти одного-единственного еврейского мальчика. Лично, своими руками? Никогда. Эйхман всегда считал себя «порядочным», «честным» человеком. А вовсе не величайшим убийцей всех времен и народов.

Такой словно бы совсем не «аморальной» личностью предстал перед изумленным миром и комендант Освенцима Гесс, фигура почти столь же выдающаяся по своему злодейству, как Эйхман.

Гесс, как выяснилось, был добрым семьянином, отцом

пятерых детей, любил жену и в предсмертном письме учил детей быть честными.

Французский писатель Робер Мерль в своей книге «Смерть мое ремесло», посвященной Гессу, отмечает, что Гесс был воспитан и семьей, и школой, и службой, и всей обстановкой милитаристской Германии, как автомат. К собственной инициативе и рассуждениям Гесс был склонен лишь после того, как возникнет приказ.

Но автомат — есть определенный психологический тип — есть следствие, а не причина. «Многотысячные гессы тоже действовали под влиянием сознания, а не одного только приказа, существует более основательный фундамент, подпирющий самый приказ. Какой же это фундамент? Какая сила приводила в действие автомат? На это может быть только один ответ, и я сформулирую его резко. Идея.

Идея подымает человека над животным, идея ставит его ниже животного, в зависимости от того, какая идея.

Имеет ли право человек, сославшись на свою личную моральность, свалить вину на аморальность идеи?... Нет.

Но если человека нельзя выгородить, сославшись на идею, то нельзя выгородить и идею ссылкой на безнравственность ее применения, ибо в самой идее, следовательно, есть упущение, ущербность, если она допускает безнравственность своего применения...»

Ошеломленные, мы знакомимся сейчас с идеями, согласно которым ради спасения человечества не лишне человечество и сжечь.

Над всем этим размышляли и французский писатель, и наш ученый-театровед И. Юзовский в своей посмертно вышедшей работе «Польский дневник», выдержку из которого я привел выше. Тот самый непримиримый Юзовский, в которого фашизм целился много лет подряд, а последним — Сергей Васильев.

«... юродствовать, юзовствовать,
лукавить, ненавистничать
врагам заморским на руку...»

Весь мир сейчас думает о расизме. Расплодился в разных странах респектабельные заплочных дел мастера, которые казнят, судят, шельмуют «по долгу службы». Черных, белых, «итальяшек», пуэртиориканцев, евреев...

И пусть сегодняшние указания отменяют вчерашние, а завтрашние — сегодняшние, пусть завтра прорыдают газеты примелькавшееся: «Как могло случиться, что в недрах нашего аппарата...» — что ж из этого?! «Я ошибался вместе с партией...» — с неколебимым достоинством скажет Рыжухин.

В какой-то момент мне даже захотелось встать, и, как обмишурившийся чеховский герой, возопить плачущим голосом:

«Отец дьякон! Простите меня, Христа ради, окаянного...
— За что такое?

— За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи».

... Кто только не шел с дубьем и железом на наши с Полиной семьи? По ним прошлись железными крючьями погромы 1905 года; в них стреляли казаки, пресекавшие «беспорядки» на заводах. Их полосовали ножами и вешали, как мы знаем, врывавшиеся на храпящих конях в села зеленые, синие, белые, жовто-блакитные.

Сами того не ведая (и во сне им не снилось такое счастье!) передали эстафету в верные руки — ягодам, ежовым, бериям, абакумовым, рюминым — несть им числа — сталинским сатрапам, открывшим залповый огонь по уцелевшим, тем более, что уцелевшие были не только революционеры, но, случалось, заодно и евреи.

Дело успешно завершили рванувшиеся в Россию «панцер-колонны», офицеры СС и украинские полицаи, сбросившие в Ингулецкий и другие карьеры чудом выживших.

Остались, изо всей большой деревенской семьи, как одинокая травиночка после косьбы, моя Полинка, да в стороне — ее дядя, «огрехи» геноцида.

Хрущев, как известно, внес свою лепту, и вот мы остались теперь почти одни, я, Полинка и жизнерадостный зна-

ток птиц и речных трав Фима, нареченные именами застреленных, зарезанных, запоротых...

Что ждет нас? Мы — живые, и, естественно, думаем об этом. Что ждет наших друзей, — и тех из них, у кого, как и у нас, преступной рукой Сталина начертана в паспортах желтая звезда пятого пункта — и — не стерта...

Мы почти с приятнью, с незлой усмешечкой вспоминаем слепые ненавидящие глаза нашего бывшего соседа — кухонного скандалиста, кричавшего нам с Полинкой: — Гитлер вас не дорезал! — Покричит, дурак, а потом, протрезвев, спрашивает озабоченно: — Я вчерась ничего такого не ляпнул? А?... Ох, подведет меня зеленый змий.

Когда антисемитская истерия разжигалась, держась на эмоциональных вспышках, на нелепых, рассчитанных на дремучее сознание стереотипах, вроде «Христа продали!», «Агенты Микадо! Вильгельма! Джойнта!», или — к чему второстепенные детали! — агенты сразу всего мирового капитала! Космополиты! Когда печать и радио гремели вот этак, антисемитская истерия, трещавшая все чаще и чаще холодным бенгальским огнем, поддавалась языку фактов, увещеваниям, страстному проникновенному слову. Здравому смыслу.

«Эйхманиада» не поддается никаким словесным воздействиям. Никаким доводам. «Эйхманиды» спокойны, уравновешенны, как был спокоен и уравновешен сам Эйхман, бухгалтер смерти.

Они — служат...

Сколько раз спасал Полину от смерти зам.декана добряк Костин, а пришло строгое указание о «некоренном населении», распорядился не подпускать ее, тогда аспирантку, к комнате приемной комиссии факультета, чтоб не знала она, кому отказывают и по каким мотивам...

А мы спорили с Полинкой, помнится, доброе у него лицо или страшное? Как прикажут.

Расовые законы, «инструкции», «указания», а порой и вовсе неуловимые — «звонок», «сигнал», «дали понять» — здесь уж нет места собственному уму, собственному сердцу,

собственной совести и прочим старомодным понятиям человечества, — незримые, как в кибернетической машине, импульсы программируют речи, доводы, поведение, — ведь это так безошибочно и современно — «долг службы», хотя столь современным доводом, как справедливо заметил один из авторов, оправдывался перед самим собой еще Понтий Пилат.

Миролюбиво, с видимым дружелюбием пожмут тебе руку, поговорят о скором столетии Ленина, подымут тост за здоровье Полинки, расскажут, при случае, что они, Боже упаси, не антисемиты: у них половина друзей — евреи. А раздастся в тиши кабинета «звонок», поступят «сигнал», «закрытое письмо», с тем же деловитым дружелюбием выбросят тебя на улицу, оставят без хлеба, посадят в телячий вагон, и еще скажут на прощанье, что у них, понимаешь ли, сложное положение.

— Не взыщи. Сам видишь, не наша воля...

Эйхманиада... Клубится, смердит, рвется изо всех щелей, как жирный дым на пожарище, утробно-примитивная, грязная, преступная чиновничья «эйхманиада», готовая по «звонку», «по сигналу» сделать все, что угодно. А потом, с чувством исполненного долга, утереть потной рукой лоб.

— Сложное было положение. А что делать? Есть-пить надо...

... Я шел, не торопясь. Не было сил сразу отправиться к Полине. Даже позвонить не смог. О чем, в самом деле, звонить? Что антисемиты по-прежнему безнаказанны, а, значит, беды, стряпшиеся с ней, могут повториться?

Возле метро «Площадь Революции» увидел уличную сцену, которая заставила замедлить шаг.

Невысокий паренек — китаец, в синей кепке и полу-распахнутой на груди рубашке (в руках портфель, видно, студент), разговаривал с девушкой. Нашей, российской, голубоглазой хохотушей. Они переминались с ноги на ногу и никак не могли расстаться.

Быстрыми шагами приблизился другой паренек. Тоже в синей кепке и таким же портфелем в руке, только высокий,

тощий; ни слова не говоря, вынул изо рта горящую папироску и стал прижигать своего низкорослого товарища в худящую грудь. Он с силой, не спеша, с твердым убеждением в своем праве, припекал дымившуюся папиросу к желтоватой коже юноши, а тот, сжав губы, молчал. Бледнел, болезненно морщился, а молчал.

Рядом сплошным потоком спешили прохожие, ничего не замечая.

Я подбежал, отбил ударом кулака напряженно прижигавшую руку; они тут же исчезли, оба китайских парня, правда, в разные стороны, оставив девушку в полной растерянности.

Она отступила в сторонку, озираясь. Ждала, верная душа, может, вернется...

Ко мне медленно подошел офицер милиции, в темном плаще «болонья», корректный столичный милицейский офицер, который, оказывается, стоя поодаль и наблюдая за чем-то, видел заодно и китайскую сцену.

— Зря вы, гражданин. Иностранцы. То их дело...

Я кивнул ему; наверное он прав, и влился в людской поток, у входа в метро. Как в быструю реку нырнул... Меня вышвырнуло на эскалаторы, внесло в вагоны, я машинально перебирал ногами, думая о том, что мне уже более полугодика прижигают душу папиросой. Свои. Не китайцы. «То их дело...» А это — чье дело?! Чье?!

ГЛАВА 10.

Теперь я должен был предстать перед самим Егорычевым, властительным секретарем Московского комитета партии, на очередном заседании бюро горкома.

И вот мы снова сидим перед высокими дверями. Я и два сопровождающих меня посланца Союза, тихие, со скорбно-соболезнующими лицами представителей погребальной конторы. На лице Виктора Тельпугова все то же: «Это ужасно, Гриша. Но, пойми, у меня сложное положение.»

Так уж заведено у московских писателей: от бурлящего океана — представители самые тихие, штилевые.

Глухие массивные двери с тамбуром изредка приоткрываются, и оттуда выскакивают люди, распаренно-красные, как из бани.

«Дававший повод» В. Смирнов куда-то исчез. Выяснилось, вызван в кабинет Соловьевой, за успокоительными таблетками.

Нет и Юрия Стрехнина, благородного полковника, единственного, кто, возможно, осмелился бы усомниться в том, что Егорычев всегда прав. Это меня тревожит, как тревожит пехотинца, надевающего перед атакой стальную каску, что артиллерии не будет, где-то завязла. Тревожит, тем более, что я полностью открыт и сверху, со стороны высокого и, казалось, безоблачного неба: оба мои звонка к секретарю ЦК Петру Демичеву, который как

считают, «не знает, что говорят внизу», остались без ответа.

Демичева нет в городе. И, как вскоре дали понять одному из моих друзей, для Свирского — не будет...

Пехота идет одна...

Что ж, бывало такое в Белоруссии, в сорок первом, когда черным факелом сгорел мой бомбардировщик, и мне ночью, наощупь, вручили две гладких жестяных гранаты образца 1914 года.

Я раскрываю портфель, бросаю взор на свои «гранаты». Одну из них достаю. Это Щедрин. «Недоконченные беседы».

Сказано было, нам Гоголи и Щедрины нужны. Пожалуйста!...

Не стареет граната.

Интересно, что изо всех русских писателей лишь Щедрин настороженно приглядывался к Германии, как бы предвидя гитлеровские злодеяния. «Даже поднятие уровня образованности, как это показывает антисемитское движение в Германии, не приносит в этом вопросе осязательных улучшений»...

Что же нужно?

«... чтобы человечество окончательно очеловечилось. А когда это произойдет?»

Я смотрю на темные двери, в которые боком, неслышно проскользнула Соловьева, и с беспокойством думаю о том, что уж коли Соловьева с Владимиром Ильичом Лениным расправилась, как механическая картофелечистка с картофелем, то Щедрин для нее даже не овощ.

Нервничать стали, вижу, и посланцы Союза, которые сидят по обе стороны от меня, глядя на глухие двери, как на царские врата.

Кажется, они тоже опасаются, что заветная мечта великого писателя России ныне еще не осуществится: окончательного очеловечивания не произойдет.

Нас зовут, и мы тихо, гуськом, тянемся через большой, с высокими потолками, зал, садимся сбоку, на деревянной скамье.

Удивительный это зал.

Широченный, дорогого дерева стол, за которым ждет секретарь МК товарищ Егорычев, изогнут дугой. Краями наружу. Напоминает большой промышленный полумагнит. Все остальные сидят как бы в сфере силовых линий этого обращенного к залу полумагнита, за слегка вертящимися маленькими столиками.

Егорычев поднялся, застрожил в микрофон, и сразу задвигались столики, заколыхались, как намагниченные, занимая строго определенное направление.

Шевельнулись и — замерли.

Мощный, видать, магнит.

Я невольно улыбнулся, и несколько человек взглянули в мою сторону недобро...

Тельпугов наклоняется ко мне, повторяя шепотом, как заклинание: «Спокойненько, Гриша! Спокойненько!... Спокойненько!...»

Егорычев худ, спортивен. Говорит все громче, самовоспламеняется, словно бы распаяя себя; хриловатый бас все гуще, и по тому, как слушает его, за одним из подвижных столиков, Соловьева, наклонясь вперед и приоткрыв алые губы, мне ясно, что не с ней я спорил. Никогда не решилась бы аккуратная чиновница из отдела, почти под лестницей, на свое сенсационное заявление.

Не она разделяла взгляды Василия Смирнова. Во всяком случае, не она одна...

Взвинченный хриловатый голос Егорычева вызвал у меня в памяти совсем другой голос. Но такой же, взвинченный, почти яростный... Плотный, преисполненный достоинства мужчина в сером габардиновом пальто произносит из-за моей спины тираду.

Лжесвидетель! Непонятый лжесвидетель в прокуренной комнате милиции, в Курском метро, пришедший выручать забулдыгу-антисемита.

... И опять тот же хриплый нервно-вибрирующий тон. Странная необъяснимая истерическая загнанность.

Отчего? На дворе уж ни Сталина, ни Хрущева.

Почему и Егорычев впрягся в ту же немазанную могильную фуру, которая тягуче скрипит на всю землю. Что за добровольная эстафета палачества? Добровольная?... А кто может его заставить? Его, влиятельнейшего человека в партии.

В руках столько власти, а в голосе... истеризм загнанности? Отчего же? В глубинах его души — страх?

Не оттого ли все антисемитские кампании неизменно звучат на истерической ноте?

Егорычев, всесильный и неглупый человек, инженер, окончивший самую лучшую техническую школу Москвы, институт имени Баумана, революционера Баумана. Он, конечно, понимает, что историческая обреченность понятие не абстрактное.

Что же он делает?

В Союзе писателей нет ни одного человека, который бы не знал, что такое Василий Смирнов. И кто, кто именно, по фамилиям, входит в «черную десятку». Об этом не существует двух мнений.

Над хрущевским кликушеством «у нас этого нет!» — посмеивались дружно: оно никогда не было доводом, а лишь *самохарактеристикой*.

Егорычев не может не понимать, не может не чувствовать, что принимает ныне хрущевскую эстафету; сам своими руками вешает себе на шею дощечку с надписью «лжесвидетель».

Я слушаю его, и постепенно меня охватывает ощущение, что я когда-то читал его речь. Где? Как это могло случиться? Наконец, вспомнил. «География» Баранского, учебник для восьмого класса. Русский народ помог бывшим окраинам царской России подняться. В Узбекистане, в Киргизии — ныне развитая промышленность. И в Казахстане...

Если Егорычев добавит еще о соревновании горняков Донбасса и Кузбасса, то картина будет уж совершенно ясной. С одной стороны...

Как узка ты, тропка торная!

Ты о низости дискриминации евреев, а тебе в ответ: киргизы больше не живут в юртах. Ты о подлости деления советских людей, как лошадей в барской коляске, на коренников и пристяжных, а тебе в деланом изумлении гордят частокол прославленных еврейских фамилий. «Пожалуйста! О каком антисемитизме вы говорите?! У нас генерал Крейзер еврей! И Эренбург тоже!... И даже авиаконструктор Лавочкин? Знаете «Ла-5»?... Лучший истребитель в Отечественную...»

Царский министр Победоносцев мог бы перечислять и того пуще. «У нас композитор Николай Рубинштейн — еврей, — горячо воскликнул бы он, — основатель Московской консерватории. Не шутка! И еще более знаменитый брат его, Антон, автор «Демона». Самый выдающийся русский скульптор Марк Антокольский — еврей. Создатель величайших творений Руси — памятников Ивану Грозному, Петру I, Ермаку, Нестору-летописцу... А — Левитан! И даже Фет, русский помещик Фет — полуеврей. Не говоря, конечно, о Шолом-Алейхеме, который уже просто полный еврей. И никто его не клеймил «отравителем» и «космополитом», никто не убивал. Он стал классиком еврейской литературы.

Вот на какие высоты поднят иудей на государевой земле!...»

Теперь, в шестидесятых годах XX века, случается, еще добавят, какой у нас процент евреев-лауреатов, это запомнили накрепко, поскольку при других обстоятельствах об этом уже кричали:

— Синагога!

Киргизы живут, как люди. Это прекрасно. Но, может быть, и евреям можно предоставить эту возможность, товарищ Егорычев. Жить, как люди, не шараясь от лошадиной брани смирных. Не боясь за детей.

Секретарь Центрального Комитета партии Демичев, секретарь ЦК по идеологической работе, в идейной жизни страны, можно сказать наибольший, объявил во всеуслышанье, что антисемитизм существует, с ним рано прекра-

тили борьбу и что за погромные настроения надо исключать из партии.

А властительный секретарь МК Егорычев, судя по всему, убежден в прямо противоположном...

Значит, что же, — в партии сложилась фракционная группа шовинистов и антисемитов? Порвавшая — на деле — с коммунистическим движением. И не скрывающая своих погромных взглядов...

Во Франции родилась в свое время, деятельная антисемитская лига. Она обещала рабочим построить социализм. Непременно — социализм. И, набрав силу в страшном зловонии дрейфусиады, лопнула, конвульсируя и вырождаясь в рядовых налетчиков гитлеровского толка — сподвижников де ля Рока, позднее петеновских жандармов, оасовцев.

Члены «антисемитско-социалистической лиги» не скрывали причин своей непримиримости. Они были, за редким исключением, мелкими лавочниками, их душил «крупный еврейский капитал», как из года в год истерически вопил Дрюмон, флаг-антисемит Франции.

Мошна! Вечное яблоко раздора...

Наши потомки будут поражены низостью мотивов высоких «идейных» кампаний, порожденных литературными, и не только литературными калекками, которым не устоять без костылей. Бездарность и подлость, как известно, идут рука об руку; бездарный или неумелый работник, чтоб удержаться, выбрасывает, как вонючка, защитную жидкость.

Как они ничтожны, как жалки, наши литературные выжиги, перед налитыми водкой глазами которых маячит лишь одно —

Мошна!

Да евреи им необходимы, как воздух! Если б их не было, они бы немедля начали объявлять евреями друг друга; немецкими овчарками выискивать друг у друга бабушек, согрешивших с евреями, как уж не раз бывало.

Как иначе объяснить свое скудоумие, свое невежество, свою бескрылость.

Все дано людям, а они — ни с места.

Кто-то же виноват?! Известно. Давно декламируют в Союзе писателей:

«Он сам горбат,
Стихи его горбаты.
Кто в этом виноват?
Евреи виноваты.»

Дали запугать себя калекам, товарищ Егорычев? Или вы такой же, с костылем?

Только что вы замяли дело о сановных литераторах, устроивших на даче в Голицино бордель. Спасли влиятельных скотов от тюрьмы.

Сейчас бросили спасательный круг Василию Смирнову, который, начиная оправдываться, прежде всего, объявляет себя принципиальным борцом с «Новым миром» и вообще всякой крамолой.

Это — ход проверенный. Не раз его спасавший. Год назад Смирнова уличили в провокации против «Нового мира», в прямом подлоге, в публикации злобной «авторской» статьи, которую автор никогда не писал, и это было доказано на Секретариате Союза писателей; но ... Смирнова все равно не сняли, так как, по мнению доморощенных стратегов, косвенно это был успех Твардовского.

Пусть клеветники и разложенцы, пусть жулье, пусть пропойцы, пусть антисемиты, но ежели они борцы с «крамолой» — не трогать! Лучшие люди. Каста неприкасаемых.

Так, что ли, товарищ Егорычев? Или здесь не только это?...

Недавно у литераторов выступал один из крупнейших руководителей промышленности. Он с горечью говорил о плохом хозяйствовании, об изношенном станочном парке, о нехватке валюты, о трудностях в СЭВе. Наконец, о плохом урожае.

Когда мы выходили из зала, огорошенные неожиданно раскрывшейся перед нами картиной, один из старых и прославленных писателей бросил мне с грустной усмешкой:

— Теперь за вас возьмутся?

— За кого — за вас? — не понял я.

— За евреев... Слышал же, дела ни к черту. А другой выхлопной трубы нет. Не названа...

Значит опять «мошна»? А не интересы страны...

Другой выхлопной трубы нет...

Когда-то идеолог «Русского знамени» в брошюре «о возможности предоставления полноправия евреям» (СПб, 1906 г.) писал: «по сведениям департамента полиции значится, что в России 90 % революционеров — евреи, и только 10 % падает на несчастных простофилей других национальностей...»¹

А теперь, по давнему прогнозу писателя Амфитеатрова, антисемиты вывернутся наизнанку и начнут шуметь, что 90 % контрреволюционеров — евреи? Что все смутьяны, во всех странах — евреи?

Что евреи — главная опасность для социализма?

Но ведь антисемитская истерия — наркотик. Кратковременного действия. Одурманить можно. Но ненадолго. Ни одному правительству не удалось спастись под развернутым знаменем антисемитизма.

Жизнь — коняга резвая. С норовом. Так приложит об землю, что и дух вон...

За антисемитизм, давно известно, хватаются только от страха. Как за последнюю соломинку. Чего вы боитесь, Егорычев? Что у вас за душой? Объявить на всю Москву о самом себе:

— Я — лжесвидетель!!!

Юриспруденция учит, когда человек охотно признается в малом, чаще всего, он пытается увести следствие от своей большой вины...

В зале горкома — молчание. Говорит один Егорычев. Похоже, на том все и кончится.

Пока Егорычев набирает в легкие воздух, я спрашиваю: — Может быть, и мне дадут слово?...

¹ Представлена Парижскому Трибуналу, на судебном заседании от 27 марта 1973 г. См. в приложении.

Как говорится, да будет выслушана другая сторона!

Витя — певец весны — сильно давит каблуком мне на ногу: — Спокойненько! — Из зала заседаний, похоже, я ускачу на одной ноге. Как мальчик, играющий в классы. Вторую — отдавят.

Меня, надеюсь, вызвали не играть в классы?

Егорычев словно не слышит моего возгласа; когда он снова шумно набирает воздух, я уж громче:

— Хорошо бы и мне дать слово!...

Егорычев поворачивает ко мне лицо. Глаза у него попрежнему жесткие, холодные, сузились щелочками.

— Сколько вам времени? — спросил он.

— Семь с половиной минут.

Жестом он разрешает мне говорить.

Я отыскал взглядом за подвижными столиками Рыжухина, Соловьеву. Они глядят на Егорычева неотрывно. Так певцы, наскоро разучившие песню, глядят на хормейстера. Чтоб не сбиться.

Достав напечатанный на машинке текст, стал читать.

Разухабистые афоризмы «железного канцлера» и даже сообщение о том, что он выражал их публично, не изменяют выражений лиц. В самом деле, «всюду одни жиidy», «продался евреям!» или «убирайтесь в свой Израиль!» Подумаешь новость! Этого кто не слышал!

С тревогой всматриваюсь в членов бюро горкома. Белеют сорок или пятьдесят настороженно слушающих лиц. Вон там, сзади, старики, может быть в партии со времен революции. А в углу рабочие ребята. Неужели ни у кого не дрогнет сердце.

И вдруг засветились удивлением глаза молодого парня.

— ... «когда же поэтесса Юнна Мориц, — читаю в эту минуту, — написала отличные стихи о Пушкине, Смирнов сказал ей: «Почему вы пишете о Пушкине? Пушкин не ваш писатель. Пушкин наш писатель.»

Теперь уже внимают многие. Такого, и в самом деле, не слышали!...

Я быстро, чтоб уложиться в срок, дочитываю документ,

составленный мною только из фактов, которые проверила парткомиссия. И даже Рыжухин подтвердил. Естественно, в нем есть и то, о чем читатель уже знает. Я прошу извинения за некоторые повторения, но — это официальный документ.

Документ № 5.

... Свидетели — сотрудники «Дружбы народов» — приводят имена известных писателей, отстраненных от сотрудничества в журнале только потому, что они евреи. «Это не наши авторы», — неизменно заявлял Смирнов и добавлял озабоченно: «Прикрылись псевдонимами... Вы про отчество спрашивайте. Отчество выдает...»

Смирнов отнюдь не был однок, в шовинистических выпадах против народов нашей страны. «Вся проза грузин — не советская», — говорил Смирнов. Об эстонцах, латышах и литовцах отзывался еще категоричнее: «Все они не советские».

Председатель Союза писателей Казахстана Габит Мусрепов заявил на Секретариате Союза Писателей СССР, что «замечания Смирнова унижительны для национальной литературы».

Глубокая аморальность Смирнова привела к тому, что заявление о выходе из редколлегии «Дружбы народов» подали и русский поэт Алексей Сурков, и народный поэт Литвы, лауреат Ленинской премии Эдуардас Межелайтис, и крупнейший белорусский писатель Янка Брыль.

Свидетели, вызванные парткомиссией МК, писатели и журналисты, подтвердили 31 (тридцать один) факт шовинистических высказываний и распоряжений Смирнова. Из них 7 (семь) высказываний *публичных*. Не случайно, В. Александров, в течение 5 лет секретарь парторганизации «Дружбы народов» и кандидат в члены Фрунзенского райкома, заключил показания словами: «Считаю, что Смирнову не место в Коммунистической партии».

Смирнов на заседаниях Парткомиссии, как известно, не возражал против большинства фактов. «Мало ли что скажешь, — заявил он. — Мое мировоззрение не в высказываниях, а в статьях.» Он поставил под сомнение лишь четыре факта.

Если мы отбросим не только эти 4, а 14, или даже 24 факта и вообще останемся только в пределах 4-х или 5-ти, то и этого

за глаза хватит, чтобы великодержавный шовинист Смирнов не ушел отсюда с гордо поднятой головой.

Факты подтверждены Парткомиссией. А каковы ее выводы?

«Свирский — не клеветник, но и Смирнов — не шовинист!» Смирнов, как заявил т. Рыжухин, лишь давал повод... «Давал повод» считать его шовинистом.

Смирнов «давал повод», как известно, не одному человеку, а десяткам, и даже сотням людей. В конце концов, он «дал повод» тысяче московских писателей дружно заплодировать, когда его с трибуны открытого партсобрания назвали великодержавным шовинистом. А, если учесть, что высказывания Смирнова становились достоянием всех союзных республик, легко можно представить себе весь вред многолетней безнаказанности Смирнова. Это ясно, в частности, и из недвусмысленных показаний Парткомиссии 12-ти свидетелей, писателей и журналистов.

Тов. Рыжухин заявил по этому поводу: «Мы не можем сказать, что свидетели написали неправду. Но не можем сказать, что и правду...» Когда хотят закрыть глаза на факты, то, возможно, как видим и такое. Отбрасываются показания 12 коммунистов и беспартийных, заслуженных, пользующихся репутацией работников литературы, и верят на слово одному — Смирнову, до этого дважды уличенному на Секретариате Союза во лжи, фальсификации фактов и прямом подлоге. Смирнову, оклеветавшему на известном приеме в Кремле весной 1963 года всю московскую писательскую организацию.

Смягчающим обстоятельством считается то, что шовинизм Смирнова проявлялся, де, лишь в словах, а не в делах. В высказываниях, а не в поступках. И надо, мол, судить Смирнова не по словам, а по делам... Этот довод не выдерживает критики, даже, если мы отбросим все шовинистические распоряжения главного редактора «Дружбы народов», т.е. его прямые действия.

Шовинизм и антисемитизм, если, конечно, не иметь в виду уличных погромов, явление идеологии, где оружие — слово. Ленин недаром сказал: «Слово тоже есть дело». Тем более, добавим, слово писателя и к тому же главного редактора «Дружбы народов».

Три раза за последние годы писательская общественность открыто, на партсобраниях, ставила вопрос о шовинизме и антисемитизме Смирнова. Первым заявил об этом профессор

Щукин, бывший член коллегии ЧК, начальник отдела борьбы с контрреволюцией при Дзержинском. Тотчас началась травля профессора Щукина, и он умер от инфаркта.»

Стон вырвался у седого человека, сидевшего впереди меня, он отвернулся к своему столу, обхватив лицо руками.

Вскоре выяснилось, что обоголтелом смировском шовинизме на писательских собраниях говорили не трижды, а семь раз. Говорили открыто, публично; позднее старая большевичка т. Войтинская выступила с наказом вновь избираемому парткому «вскрыть, наконец, фальшивое лицо Смирнова»; в конце концов, даже руководитель Московской писательской организации осмотрительнейший Сергей Михалков сказал во всеуслышанье, что «В. Смирнов очень далек от дружбы народов»...

Старый писатель Семен Родов отправил на имя секретаря ЦК и МК Егорычева специальное письмо, в котором сообщал о том, что В. Смирнова обвиняют в антисемитизме далеко не впервые.

Документ № 6.

Первому секретарю МГК КПСС тов. Егорычеву Н.Г. «... Считаю нужным сообщить, что это (выступление Свирского Г.) не первое публичное выступление, в котором В.А. Смирнов обвинялся в антисемитизме.

Несколько лет тому назад на закрытом партсобрании московских писателей с таким же обвинением В.А. Смирнова в антисемитизме выступил ныне покойный профессор Щукин. В нарушение принятого порядка персональное дело профессора Щукина и Смирнова не было заслушано на общем собрании Московского отделения Союза писателей СССР, и обвинение В.А. Смирнова в антисемитизме так и осталось не опровергнутым.

4 апреля 1966 г.

Семен Родов
Член КПСС с 1918 г.»

Когда я кончил излагать документы, никто больше не глядел на «дававшего повод». Даже Соловьева. Это, и в

самом деле, неловко — смотреть на голого короля... Стояла глухая, провальная тишина; шуршание, ерзанье у столов усиливали ее. Такая тишина, помню, была разве что на летном поле, когда сбросили с парашютом набитого тряпьем «болвана», чтоб нам, курсантам, доказать, что прыжок безопасен, а парашют не раскрылся.

Тишину прервала, наконец, басовая егорычевская нота.

— Та-ак... Но вы говорили не только о Василии Смирнове. Вы об антисемитизме... и более широко. Обобщали.

Десятки глаз метнулись в мою сторону. В расширившихся глазах Соловьевой загорелось злорадство охотника, который видит, что зверь подогнан к самому капкану. Еще шаг, и...

— Да, обобщал, — выдал я из себя, понимая, что сейчас-то и начнется.

Егорычев встал, покачнувшись, видно, ноги расставил пошире, пробасил отечески радушным тоном, каким в радиопередачах для детей бабушка уговаривает красную шапочку не бояться. А голос-то низкий, хрипловатый — не бабушкин.

— Подойдите поближе, — показал он мне на свой стол — полумагнит. — Вот сюда, пожалуйста...

Я приблизился к Егорычеву, остановился возле бокового, левого микрофона, и увидел вдруг, как двое или трое сидевших за подвижными столами людей потянулись вверх «встали на хвосты», как язвительно заметил потом один из писателей.

— У вас, что, может быть, и на каждого из нас досье?! — воскликнул какой-то широколицый мужчина; от ненависти у него дрожали губы. — А не только на Василия Смирнова?!

Егорычев сделал чуть заметное движение рукой, и широколицый увял.

Соседка Соловьевой, пышноволосяя блондинка, с мутноватым закатившимся на сторону зрачком, тоже вдруг хлестнула по мне каким-то возгласом, язвительно-взбешенным и переходившим на крик.

Егорычев едва уловимо двинул пальцем, и блондинка круто отвернулась от меня, мол, и видеть его не могу.

Оркестр, и какой сыгранный...

— ... Мы вас слушаем, пожалуйста... — с прежним миролюбием подбодрил Егорычев.

Я поискал взглядом портфель. Он оставался у дверей. «Одну минутку», — извинившись, пошел за ним. Круглые глаза Соловьевой провожали меня. В них нарастали недоумение, затем тревога. Уж не собирается ли удрать?... Уйдет!...

Но я вернулся. Поглядел на микрофон, который не усиливал голоса, видно, работал «на запись». И достал из портфеля тоненькую книжицу в серых корочках, на которую Соловьева поглядела как-то искоса, боязливо, словно книжица, в самом деле, была чем-то, что может взорваться.

Показал всем. На книжке написано «Уголовный кодекс РСФСР».

Полистал, нашел 74 статью. Прочитал, на этот раз, неторопливо:

— Пропаганда или агитация с целью возбуждения национальной вражды или розни, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности — наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Опустив кодекс, взглянул на сидевших передо мной людей.

Кто-то из них глумился над Полиной. В лучшем случае, молча потворствовал тем, кто выгонял ее из отделов кадров, плачущую, голодную, больную. Вычеркивал как «некоренную» из рекомендаций Института в комиссиях райкома.

Что они сейчас чувствуют, властительные секретари райкомов Москвы, кадровики, директора крупнейших заводов? По лицам вижу, «коренной» национальности.

«... особенно громко против национального угнетения должен прозвучать голос русского рабочего», — завещал им Ленин. По Ленину, им бы и напомнить сейчас Василию Смирнову — уж не о его партийности. Какая тут партийность! О 74 статье Уголовного кодекса... Или они, как Никита Хрущев, решили круто поправить Ленина?

В самом деле, сколько раз почти каждый из них соучаствовал, пусть даже молчаливо, в выделении и, тем самым, разделении своих рабочих и инженеров — по Александру III — на «коренников» и пристяжек? Сколько раз это повторялось? Сколько лет длилось?...

Ни одна голова не опустилась. Лица — непроницаемы. Пожалуй, лишь в мерцающих глазах Соловьевой мелькнула тень тревоги. Что еще за законник выискался?

Я положил тонкую книжицу в портфель и, доставая другую, намного потоньше, чем уголовный кодекс, кратко поведал о своих попытках, хоть однажды! привлечь к ответственности скандалящих в вагонах пьяных горлодеров — расистов. И о случае в метро рассказал. И о народном суде, где установлены мощные «очистители», «сита», сквозь которые проходит брань лишь в «чистом виде», незамутненная примесью националистической травли.

— ... Как по-вашему, это самодеятельность милиционеров и судей? Или — узаконенная норма?

Иными словами, можно ли в нашей стране применить 74 статью Уголовного кодекса?

Вынув из портфеля том в коленкоровом переплете, показал его членам Бюро. На том написано «Научно-практический комментарий УК РСФСР» (издание второе), Москва, 1964 г.

— Не знаю, знаком ли он вам? Это настольная книга каждого практического юриста.

В нем, в этом научно-выверенном комментарии, дано разъяснение к 74 статье. Вот оно... «пропаганда расовой или национальной вражды заключается в распространении устно, письменно, в печати либо иным образом *среди более или менее широкого круга лиц* взглядов, идей, которые вызы-

вают или могут вызвать враждебное, неприязненное, пренебрежительное отношение этих лиц к какой-либо национальности или расе».

Так и сказано: «... Среди более или менее широкого круга лиц...» Какая сугубо научная точность!

Вагон метрополитена или трамвая, до отказа набитый пассажирами, как его по-вашему считать? «Более или менее широким кругом лиц» или более или менее узким?

Двор многоэтажного дома, полный детей и подростков — это «более или менее широкий круг лиц»? Или уж вовсе узкий.

Может быть, нужно призывать к погрому в мегафон, чтобы круг слушателей был признан учеными юристами беспорно широким?

Так рождается юридическая неточность — она есть и в Кодексах некоторых других стран, откуда, наверное, и позаимствована; но где еще эта неточность превращена в лазейку, щель, дыру, в которую проникает беззаконие?

Беззаконие, так сказать, по «закону». На этот раз, по Хрущевскому закону...

Судьи, как известно, тяготеют к точности.

Поэтому рядышком, в этом же научном комментарии, добавлено, что действия, направленные «на унижение чести и достоинства отдельного лица в связи с его национальной принадлежностью, могут образовать состав *оскорбления*...».

Горько мне об этом говорить, но, оказывается, *публичные* действия шовинистов относятся к числу так называемых дел — *частного* обвинения.

Заорал в трамвае: «Гитлер вас недорезал». Никакой тут антисоветчины. Никакой погромной травли. Обыкновенный бытовой скандал.

И то — не всегда... Чтобы любого антисемита удавалось освобождать от ответственности, всегда, при любых обстоятельствах, появилось еще одно разъяснение. Вот оно: «... Рассматриваемое преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Виновный сознает, что внушает

другому лицу или лицам взгляды и идеи, которые вызывают или могут вызвать враждебное отношение к какой-либо национальности или расе, и желает наступления этих последствий¹».

Я не раз видел, как судья деловито наводит разгулявшегося антисемита на нужный ответ: «Ты намеренно, значит, обдуманно-сознательно разжигал вражду к этой национальности и желал этого разжигания? Желал последствий?...»

Антисемит хлопает глазами, наконец, соображает:

— Я что? Да я просто так... Я не хотел... это самое... последствий...

Представьте себе, что и по другим статьям Уголовного кодекса виновные полностью освобождались бы от ответственности, стоило б им пробормотать: «Я что? Я не хотел!...»

Скажем, пьяные автомобилисты, сбившие человека...

Бандюги, прикончившие прохожего и угрюмо твердящие на суде: — «Нешто мы хотели его убивать? Да никогда!...»

Только великорусскому шовинисту, хаму и насильнику, гарантирована свобода, достаточно ему сказать, что он не хотел разжигать... Ни Боже мой!

... Как видите, 74 статья Уголовного кодекса — мертва. Практически в советском законодательстве ее нет. А значит и мертва статья советской Конституции о равноправии рас и наций, которую 74 статья должна охранять с бдительностью пограничника...

Нет пограничника. Его сняли с поста специальным «разъяснением». Границы для великорусского шовинизма открыты. Гуляй, ребята!...

Так *фальсифицируется, убивается* статистика... Убивается не в высших инстанциях, как было, в свое время с сельским хозяйством, когда колхозники голодали, а газеты писали, что мы собираем невиданные урожаи, 7-8 млрд. пудов... Убивается в самом низу, — в народных судах, в рай-

¹ «Коммент.» к УК РСФСР, стр. 172.

отделах милиции, а коль нет статистики шовинизма, то, естественно, нет и шовинизма...

Вы слышали об этом «комментарии» к закону, который блокировал закон? Знали о позорной расистской практике? О распоясавшемся шовинисте, который беспрепятственно разгуливает по нашим улицам, заглядывает в школы, институты, колобродит забулдыгой, где вздумается?¹

... Жду, что скажут. Ни слова в ответ. Глядят во все глаза, как на экран, где сейчас показывают кино, и где вопрошает что-то с белого полотна странный малый, чего ему надо? Бог с ним, сейчас зажгут свет, и он пропадет.

... — Я не выбирал себе языка, культуры, обычаев, как не выбирают родителей... Я родился в России. Жизнь прожил в Москве. Вырос в русской культуре. Стал русским писателем... Да и не будь этого, все равно, издревле существует и другое посвящение в национальность — кровь, пролитая за свободу своей родины.

Как и многие мои соратники, я вспоминаю о том, что я — еврей, лишь тогда, когда мне говорят «жидовская морда», когда мне, в той или иной форме, дают, по этой же причине, в зубы. Такое и в последнее время происходит все чаще и чаще...

— Все реже и реже! — воскликнул Егорычев, и даже взмахнул для убедительности и головой и руками.

Я улыбнулся грустно. Мне, увы, виднее...

¹ В новом Комментарии к УК РСФСР (издательство Юридической литературы. Москва, 1971 г.), появилось небольшое новшество. За последние годы погромщики в России уже так распоясались, что стали избивать евреев до полусмерти, а то и убивать. Привлекать только «за оскорбление личности» стало как-то неловко. Поэтому к фразе: «... могут образовать состав оскорбления» добавили: «а дерзкие и циничные действия в общественных местах — злостного хулиганства» (стр. 171). Теперь любой факт антисемитского глумления в СССР юридически немедленно трансформируется, как и ранее, в оскорбление, а, если жертве заодно и голову пробьют, в «злостное хулиганство».

(примеч. автора)

... — Поэтому так ждут сейчас тысячи людей в Москве, ждут вашего решения... Как легко понять, не только о Смирнове! Защищен ли человек, не принадлежащий к национальному большинству, защищен ли, в данном случае, еврей от дискриминации? От националистического оскорбления. Или, подобно мне, — беззащитен?

Пытаюсь защелкнуть замки портфеля, не могу; не вижу замков; взяв портфель под мышку, я сел на боковую скамейку, где меня тревожно ждали представители Союза писателей.

ГЛАВА 11.

Медленно, сутулясь, поднялся Егорычев, и, начав говорить, тут же обронил что-то про «мельницу».

И словно он произнес какое-то заклятие, я почти воочию увидел, как у соседнего, правого микрофона встал рядом с ним, худушый, вымороченный Саша Вайнер, сама растерянность, само отчаяние, страшное безысходное отчаяние...

Он снова осуждал меня вместе с Егорычевым — слово в слово, в унисон...

Вообрази его сейчас здесь, рядом с собой, и Егорычев, мелькнуло у меня, разгляди он его у соседнего микрофона, да выведай, кто стоит рядом, выпрямившись, как перед расстрелом, как бы он, Егорычев, себя повел? О чем бы спросил, если б, естественно, снизошел до разговора, а не просто вызвал бы милиционера.

Позднее, бессонной ночью, мне даже представился весь этот разговор.

Наверное, Егорычев, прежде всего, спросил бы то же самое, что, к стыду своему, спросил и я.

— Вы что же, считаете евреев исключительной нацией? Высшей расой, которой предначертано править миром?

— Что я идиот?! — испуганно, как и в первый раз, вырвалось бы у Саши. В глазах его, тогда, у меня дома, промелькнула тревога, как у человека, который постучался

не в ту квартиру: «Вы что, тоже антисемит? Почему повторяете расистские бредни?»

— Тогда чего же вам надо? — уже взъяренно воскликнул бы Егорычев. — Чего вы там вытанцовываете у синагоги? И в прочих местах... Чего вам не хватает?

Саша молчал бы, бледнея и раскачиваясь, как в молитве, и здесь только я, наверное, услышал бы, как он повторяет про себя свою молитву, которая для всех российских саш, раз и навсегда, исторгла из своей души Анна Ахматова, измученная и рыдающая:

«Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Идут, как крестный ход, часы страстной недели.
Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не в силах мне помочь.
В Кремле не надо жить. Преображенец прав.
Там зверства древнего еще кишат микробы.
Бориса дикий страх. И всех Иванов злобы.
И самозванца спесь взамен народных прав...»

— Что вы припутываете к себе Анну Ахматову? — наверняка взбешенно вскричали бы из зала, узнай они, о чем Саша молчит. — Она — патриот России. Русская из русских. А — вы?!

Саша улыбнулся бы горестно и, неистовый книголюб и знаток русской поэзии, может быть, подарил бы нам еще одну, омытую кровью строчку:

— В этом христианнейшем из миров поэты — жида...

— Да что с ним разговаривать?! — закричали бы из зала все те же два-три налитых злобой энтузиаста, которых я уж теперь знал в лицо, и Егорычев, как водится, пошел бы навстречу требованиям «народного гнева», и бросил бы он, что Сашу, презренного иуду, продавшего за чечевичную похлебку, сотрет в порошок.

А Саша повторял бы белыми, как бумага, губами свое безысходное:

— Бей!... Чем хуже, тем лучше! Перестанут думать об ассимиляции. Чем хуже, тем лучше!...

Я подумал вдруг, что несправедлив к Саше. Хоть он и твердил, как и егорычевы, что я выступил сгоряча; что идеал — моральное гетто; разве можно ставить его рядом с п е р в ы м секретарем? За спиной Егорычева — танки, солдаты, милиция. Вся мощь державы.

А что за спиной Саши Вайнера? Старенькая мама...

Как я смею сопоставлять, почти как равных, государство, — этот лязгающий гусеницами тяжелый танк, и мальчишку, оказавшегося на его дороге. *Палача и жертву.*

Слепой в своей ярости грохочущий танк, от которого не уйти, не спрятаться, не вжаться в землю, и мечущийся в ужасе мальчишка, — да разве я вправе осуждать его? Не броситься на помощь ему?

Что делают с ребятами? Впрочем, то же самое, что и со мной...

И это здесь, в столице! В самом центре идейной жизни.

Назым Хикмет как-то сказал, когда в столице стригут ногти, в провинции рубят пальцы.

«У нее националистические настроения, — сказали в Ленинграде об ученой М. Карасс. — *За это* она еще десять лет просидит без работы»...

Почему — националистические?

А — жалуется! На антисемитизм притеснителей. Подумать только, что посмела сказать отчаявшаяся, доведенная до инвалидности женщина-ученый в ЦК партии!

«Вся моя жизнь — это бесконечные поиски работы. Из 17 лет, прошедших после окончания университета, почти половину я была безработной. Для меня не существует Конституции, никаких прав, никаких гарантий. Я оказалась лишенной даже права на труд, видимо, труд мой и сама я здесь никому не нужны».

Во как заговорила, конечно, националист! Может ей еще Декларацию прав человека подай? Не только Конституцию?... А, может, захочет, как рабочий-югослав, итальянец или пуэрториканец уехать в поисках хлеба. Может, озлобилась, как Саша Вайнер?

Пусть поддыхает, как собака... У нас этого пуэрториканства нет...

Только что на Алтае выгнали с работы пожилого работника театра, — за то лишь, что у него обнаружили мою публично произнесенную речь о Василии Смирнове и «черной десятке», речь против шовинизма, которую, как мы думали, поддержал секретарь ЦК партии Демичев.

«За хранение сионистской литературы» — объявили выгнанному.

Почему «сионистской»? А так...

Почему не рубануть старого заслуженного человека по пальцам. Еврей! Спроса нет...

Еврея, особенно, если какая-нибудь заварушка, можно и опрокинуть ударом в пах, лишить куска хлеба, а, если застонет от боли или отчаяния, обозвать подозрительным элементом, космополитом, джойнтом, сионистом.

Патриоты терпят, а этот, видите ли, стонет, сионист проклятый!...

Так что же, молчать об этом?

Молчать мне, живому, когда об этом кричат миллионы могил...

Кричат: «Что вы делаете, безумцы?»

Пусть звереет в слепом страхе погромщик, пусть рвется к границам отчаявшаяся молодежь, границам заминированным, обнесенным лагерной «колючкой», таящим смерть; пусть уходят в тюрьмы, в небытие молодые полные сил российские ребята, которых сбрасывают, словно они уже неживые, под откос, и — молчать об этом?

Тогда я — не писатель, не человек, а лишь песчинка из млечного пути «эйхманид», вернее «эйхмаГнид».

... Сейчас, днем, в зале заседаний, слушая суховатый голос Егорычева, я посмотрел на дальний, у противоположного конца стола, микрофон с таким напряжением, что еще кто-то взглянул в ту же сторону. За ним еще один. На кого я взираю?

— ... Напрасно... должны помнить... возбуждать ... настрояния... на чью мельницу ...

Я встряхнул головой, и — снова за столом-полумагнитом остался лишь один человек, усталый, ссутулившийся человек, который, как мне показалось, неохотно делает сейчас свое дело... Егорычев говорил теперь вяло, заметил вскользь, что он, впрочем, не имел бы ко мне никаких претензий, произнеси я свою речь на *закрытом* собрании. А такое — на открытом?!

«Хорошо, — подумал я дисциплинированно, — в следующий раз я выступлю на закрытом.»

И вдруг Егорычев начал самовозгораться, как и в самом начале. Вспомнил вдруг, что Василий Смирнов, на встрече интеллигенции с Хрущевым, оклеветал всю московскую писательскую организацию...

... — Вы тогда подлили масла в огонь, — сорвался он на крик.

Все свое накопившееся раздражение, весь гнев Егорычев обрушил на Василия Смирнова, который, как сказал Егорычев, не отдает отчета своим словам и, невыдержанный, истеричный, действительно дает повод.

Я слушал гневную отповедь секретаря МК великорусскому шовинисту, — за то лишь, что тот не умеет держать язык за зубами, и думал, как о многом я не успел сказать. И о Саше Вайнере, и о примерно такого же возраста, как Саша, вологодском парне-фронтовике, который в свое время начал спиваться и сказал моей старенькой маме, что, если она не сделает работу за него, будет ерепениться, то он, начальник, выгонит ее, как еврейку.

— Не знаешь, что ли, сколько *ваших* без работы?...

Как маслянистое облако иприта, шовинизм травит всех, кто глотнет его...

Как пожар, он опалает каждого, кто попал в огонь.

Как подземный огонь в торфяном болоте, он тлеет внутри, в глубине, а пойдет гулять-шуметь — не погасишь...

... Бушуют на земле, то на одном, то на другом континенте лесные пожары дремучего «почвенного» национализма. В России часто, слишком часто рады, неосторожно,

по-ребячески рады любому такому пожару, если огонь идет-гудет не в ее сторону.

Партийные руководители словно не замечают угорелой от чада молодежи, которая надевает на ноги «мокроступы» славянофилов и протягивает друг другу не руки, а «длани», бьет друг друга не по щекам, а по «ланитам», не по шее, а по «вые».

«Социальное Обанкротилось, — объявляют, нажимая на «О», средних лет пророки с учеными степенями и без оных — Надобно хрониться в национальном...»

И хоронятся.

Чаще всего, в журнал «Молодая гвардия».

Этот лифт охотно поднимает на Парнас поэта, который, преимущественно, «весь аржаной, толоконный, пестрядинный, запечный».

Не надо быть социологом, чтобы увидеть, что этот вихревой псевдокомсомольский натиск на городскую интеллигенцию, которая, де, «без корней» (как и евреи!), таит в себе давно знакомые нам порывы недоучек и бездарей, порывы 49 года...

«Она (т.е. городская интеллигенция, вкупе и влюбё с евреями)...

Она — не наша.

Я — наша.

Ей не место.

Мне — место...»

Тах хочется «тихим» селянам прогуляться по литературному большаку с кистенем в руках. Трудно маленькому поэту, который жаждет иметь большое значение. Какой лифт берет, в тот и толпится.¹

¹ Журнал «Огонек», редактируемый все тем же неутомимым Анатолием Софроновым, в 1968 г. стремительно «поднял на Парнас» в одном августовском номере поэму молодого «комсомольского» поэта Фирсова.

Я прочел и — глазам своим не поверил...

В гитлеровском рейхе, на стенах заводов и учреждений, висели лозунги:

Открыто и широко приветствуется любой националистический огонь, который идет в сторону сиюминутных недругов. Он считается союзником. Огнем освобождения.

Сквозь пальцы глядят на то, что от национализма до фашизма расстояние короче воробьиного носа.

Как рады пламени, опаляющему запад. Столько лет вооружали до зубов «желтый» китайский национализм, а теперь вооружают египетский, сирийский, хотя знают, что и от него несет зловонием расизма, — не утихают призывы мусульманских лидеров «сбросить иудеев в море», «растоптать», «уничтожить и евреев, и семья их...»

Принцип «око за око» перерождается в геноцид.

«Правда» официально подбадривает канадский национализм, он, конечно, прогрессивен, коль он против «янки»; и безоглядно поддерживает черный национализм, даже если в нем можно уловить гнилостные запахи расизма.

Ветер-то не в русскую сторону.

А если ветер переменится?

Он уже менялся. И не раз. В Гане. В Индонезии. Да где только не менялся!...

В Леопольдвиле застрелен Лумумба, и теперь убивают коммунистов те, кто вчера клялся России в вечной дружбе.

Неуправляемы лесные пожары национализма.

На восток — на запад швыряет языки пламени ветер

«Народ все, ты — ничто»

«Наше дело выше правды»

У Фирсова в заключении поэмы — черным по белому;

— «... Наше дело выше всякой правоты
Плевать, что после кто-то скажет,
что был прямолинейным ты!»

Вот тебе и сельская идиллия! Со всеми «корнями»...

Не прошло и года, как в том же софроновском «Огоньке» (№ 30, 1969) пошла в ход (чего стесняться!) и терминология погромного сорок девятого года. Писатели Михаил Алексеев, Виталий Закруткин и др. избобличали «некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг «Нового мира» в том, что им милы космополитические идеи...»

истории. Чуть изменится ветер, и огонь из верного союзника становится злейшим врагом.

Доколе миру платить кровью по счету новоявленных социал-националистов?...

Сталин раздувал националистический пожар, разуверясь в торжестве идей интернациональных. Может быть, он никогда и не верил в них. И вот снова и снова пытаются принизить, растлить душу народа, в том числе, народа русского, которого, на словах, возвеличивают.

Доколе же живые будут скользить за мертвецом по историческим кровавым осыпям национализма, в пропасть?...

От этих мыслей меня отвлек высоко взмывший голос Егорычева; секретарь МК, чудилось, криком загонял себя в искренность. Он по-прежнему кричал на Василия Смирнова, кричал так яростно, что, когда, подводя итоги, сказал устало: «ограничимся обсуждением этого вопроса», я подумал, что Василию Смирнову крепко повезло.

Я по природе своей отходчив: посетовал на самого себя; зря поставил и Василия Смирнова и Егорычева в один ряд. Все-таки здорово он врезал психоватому «железному канцлеру». Другим наука.

Они все же не из одной колоды. Напрасно это я так...

Увы, не напрасно...

Спустя полгода (расчетливо повременив, пока уляжется волнение в Союзе писателей) меня вызвали в райком и познакомили со следующей формулировкой бюро МГК от 27 апреля 1966 года.

Документ № 7.

«Указать Свирослому Г.Ц. на то, что он без оснований предъявил Смирнову В.А. политические обвинения и своим неправильным поведением разжигает национальную рознь.»

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Да это же коронная идея «железного канцлера»! Разжигают страсти — не выстрел, а стон сброшенного на дно карьера!...

Наши литературные «калеки», все эти смировы-шевцо-

вы-софроновы, наглы и, вместе с тем, не уверены в себе, как и вообще хулиганы.

Отныне они получают индульгенцию. На прошлые погромы. Настоящие, и — будущие. От самого Егорычева. С подписью первого секретаря и печатью московского горкома.

Остается лишь добавить (специально для московского Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС):

«Малейшее проявление антисемитизма всегда было и остается самым убедительным доказательством принадлежности к реакции данного лица или группы.» В.И. Ленин.

С лаконизмом и решимостью царского министра внутренних дел Макарова, отвечавшего в Думе на запросы о расстрелах, егорычевский горком объявил официально:

— Так было, так будет!...

Интернационалисты царской чеканки!...

Итак, я привел семь официальных документов одного разбирательства; одной попытки назвать кошку кошкой, а шовинизм — преступлением.

Цифра семь издревле носит в себе какой-то отсвет законченности. Семь чудес света. Семь звезд Большой Медведицы. Семь садов Семирамиды. Семь дней в неделе.

Я и остановился на семи.

Пусть живут эти семь документов и сами по себе, помимо авторского рассказа, и те, кто верят только документам, на которых есть печати официальных инстанций, что ж, пожалуйста...

... Осталась в стороне, пожалуй, лишь одна тема. Страшный парадокс XX века. Почему, как это могло случиться, что кровавую эстафету лабазного рас-сейского антисемитизма подхватили и понесли, как знамя, не воры и базарные торговки (это бы никого не удивило), а сталины, кагановичи, хрущевы, егорычевы, рыжухины, соловьевы, сановные обладатели университетских значков, дипломов ВПШ и высших дипломатических школ? Люди, причислившие себя к интеллигенции...

Как постичь черную, как бездна, готовность сменить, по первому сигналу, рабочую блузу интернационалиста на мундир расиста? Раздраженно морщиться при виде «неарийской» фамилии и хвататься за карандаш...

Случаен этот стремительный, как обвал, процесс, некогда оживленный Сталиным, или случайностью сказался «кремлевский горец» из духовной семинарии?

Сталина давно уж нет, а обвал все грохочет...

Где же начало и где конец? Когда — в наше советское время — покатился первый камень?

Впервые я задумался об этом в гостях у Виктора Грановского — дяди Полины. На его трагическом юбилее. Пришли сослуживцы: инженеры, бухгалтеры, с женами и детьми. Кто-то вспомнил, как Грановский спас его в сорок девятом от голодной смерти и, выпив одну-другую рюмки, лез к нему целоваться.

А Грановский мрачнел: он тоже не забыл «лихие сороковые»... Одернул, словно гимнастерку, свою белую, с напуском, русскую рубашку, подпоясанную шелковым шнурочком, и заговорил о совести.

— Растем, богатеем, а совесть уходит, как в решето... Не на кого опереться. Нет людей... — Грановский взглянул на нас из-под жгуче-черных восторженных бровей, прикрывших его старый шрам над глазом — личный подарок Петлюры. — Совести нынче у людей ... в микроскоп не разглядишь. Почему? А?

Первым отозвался Сергей Иванович, высоченный, с желтыми запалыми щеками старик — инженер в коротеньком, лоснящемся на локтях москвошвеевском костюме в полоску. Он подергался нервно туда-сюда, походя на обдуваемую ветром ниточку сушеных грибов. Сергея Ивановича, бывшего комиссара у Щорса, иссушила одиночная камера, где его продержали, по ложному доносу, двенадцать лет. У него, как говаривал дядя Витя, было время подумать...

— В Индии, как известно, корова священна, — напористо начал он и закашлялся долгим клокочущим кашлем старого туберкулезника. — «Не убий коровы». Ребенок усваивает

с молоком матери. Если бы этот принцип был вдруг нарушен, кто-то прошелся бы с автоматом... по коровам, и остался безнаказанным, то это означало бы нравственное крушение Индии!... Понято?

Даже решительный Робеспьер, Робеспьер-гильотина, не собирался отменять религии. Я имею в виду, как вы понимаете, систему нравственных норм... «Не убий», «не укради», «не прелюбодействуй»...

А мы что с ними сделали?

Пóнято?...

Взорвали все нравственные табу, как Храм Христа-Спасителя. А чем заменили?... Если отвлечься от рябого Иосифа, пропади он пропадом!... чем?

Нравственно все, что идет на пользу пролетариата...

Высекли эти строки на мраморе. Канонизировали. На веки веков...

А кто определял ... что на пользу пролетариата, а что на вред? Иосиф? Хрущ?...

Понято?

Дядя Витя вскричал, словно его ударили.

— Не хочешь ли ты сказать, что еще Лениным в двадцатые годы была расчищена взлетная площадка... для этого воронья, для юдофобов?! В те самые дни, когда за антисемитизм судили, как за контрреволюцию?!

Бред! Так можно договориться... черт знает до чего!...

Всего час, точнее, пятьдесят минут осталось до стука в дверь; и в дом дяди Вити ворвутся с обыском, и дядя умрет, не перенеся позора.

И все эти последние минуты дядя доказывал, что в двадцатые годы «ничего подобного не было... Время шло тогда по иным часам. Заводским...

Да, бывало всякое... Но тут уж логика борьбы: или — мы, или — нас... А как иначе?!» вдруг закричал он так, словно хотел что-то заглушить в себе.

Я слушал хриповатый голос честнейшего дяди Вити и, кажется, начинал понимать, когда и как был зачат наш до-

морощенный неорасизм... Когда он зашевелился, как шевелится, стучится ножками в чреве матери крепнущий плод...

... Двадцатые годы, я всматриваюсь сейчас в вас с пристальным вниманием и тревогой. Не в вас ли истоки нынешнего расистского разгула?

Кажется, это безумие думать так. В двадцатые годы, и в самом деле, за антисемитизм судили, как за контрреволюцию. Юдофоб был позорищем. Ископаемым... Неужели все-таки оттуда?

«Парадокс XX века», убежден, вызовет к жизни не одно исследование ученых-историков, философов, писателей. Я лишь коснусь этой темы. Не могу не коснуться.

Увы! Двадцатые годы, утвердившие равенство наций, святое равенство во веки веков, были беременны антисемитизмом, и роды близились...

Они узаконивали беззаконие, наши песенные двадцатые годы. Поиски козлов отпущения становились привычны.

Ленин ставил задачу: удержать власть — любой ценой. Пожалуй, впервые в российской истории — после разгрома Иваном Грозным Великого Новгорода — убивали не за личную вину (не только за нее!), а за принадлежность к тем или иным «новгородцам...»

Стрелял ты с чердака по красногвардейцам или спал, в это время, в собственной постели — разбираться недосуг. «Новгородец» — этого достаточно...

Целые социальные слои оказались на козлах для порки. Вначале на них бросили дворян, даже если были потомками декабристов, затем меньшевиков и эсеров, — переселили их из царских тюрем в большевистские. Из Иркутского и Орловского централа в Соловки и Бутырки. Чуть позднее — старых инженеров, крестьян-единоличников (и не только богатых), следом «лишенцев», куда попали и священники, и церковные сторожа, и вдовы, сдававшие единственную комнатку, чтоб прокормить детей («нетрудовой доход»). Нимало не смутясь, тридцатипятилетней Анне Ахматовой выдали пенсию ... «по старости». Лишь бы умолкла... Морили голодом Мандельштама.

Мандельштам, как известно, пуще огня страшился «лихого чекиста» Блюмкина.

Среди кожаных курток революции Блюмкин был далеко не единственным евреем: вряд ли я имею право обойти это молчанием в книге о российском шовинизме.

Вот предо мной труд. Богато иллюстрированный, парадный. Издание тридцать четвертого года. О Беломорканале. Он открывается указом о награждении орденом Ленина... Когана Лазаря Иосифовича, начальника Беломорстроя, Бермана Матфея Давидовича, начальника Главного Управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ, Фирина Семена Григорьевича, заместителя Бермана, Рапопорта Якова Давидовича, заместителя Когана...

В Ленинграде были в ходу стихи о поэте.

«Вы видели Саянова
Саянова — не пьяного?
Саянова — не пьяного?!
Значит, не Саянова...»

В Москве, в Союзе писателей, ныне таких трезвенников куда более...

Один из них (позднее этаких окрестили «русопятами»), как-то проникновенно задышал мне в лицо водочным перегаром, признаваясь, что в душе он, конечно, со мной, но... так мне и надо...

— Сами кашу заварили...

Если бы он был трезв, я, может быть, вступил бы с ним в объяснения, сказал бы, к примеру, что в ЦК партии большевиков, после революции, было четырнадцать процентов евреев (что соответствовало, как объявили на одном из партийных съездов, положению в ВКП (б)). В ушах у них еще звучал неумиравший на Руси клич: «Бей жидов, спасай Россию!»

Вряд ли кто-либо станет утверждать, что тосковавшие по равноправию евреи были воспитаны Россией в духе законности.

Говорят, в ЧК-ОГПУ оказалось немало бывших учеников ешиботов. Они расставались с одними догмами, обретали, вместе с кожанкой, другие. Ярость гонимых и многовековой догматизм сыграли с ними злую шутку.

Однако в ту минуту мне было не до бесед. Я почувствовал удушье, словно по-прежнему горбился в Ленинской библиотеке над черносотенным «Русским знаменем».

Вот и возвращается все на круги своя...

— Виноват! — сказал я, по возможности миролюбиво. — Погубил Россию. Лично я! На четырнадцать процентов.

Тут уж он на меня уставился. Даже чуть протрезвел.

— Почему на четырнадцать? А еще на восемьдесят шесть... Эт-то кто виноват?

— Ты! Лично ты!... — И я ушел...

Потом я жалел, что не спросил его о том, как он объясняет ход истории, когда Сталин, превратив всех своих коганов-берманов в «лагерную пыль», передал карательные органы исключительно в «истинно-русские» ежовы рукавицы... И пошли на убыль тридцатые годы...

... Кто не знает, чтостряслось в лихолетье тридцатых! ... Целые социальные слои забивались насмерть, под барабанно-газетный бой. Вдовы, дети, родители осужденных на небытие. Их знакомые и знакомые знакомых... Наконец, общество было объявлено бесклассовым. Всеобщее равенство, действительно, восторжествовало — в лагерных бараках.

«... Зато уж вот где без изъятья
все классы сделались равны
все люди — лагерные братья,
Клеймом измены клеймлены...

И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба.
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командира иль попа.»

А. Твардовский. «По праву памяти»

В конце сороковых, если речь шла «об идейных шатаниях» или «враждебной вылазке», об индивидуальной вине и говорить было непристойно. Даже зарубежных философов проклинали уж не иначе, как триадами. Ницше, Бергсон, Фрейд. Позднее была составлена новая сборная. Кафка, Джойс, Пруст. Почти никто не читал их. Но считалось патриотичным проклинать их. Триадами, так триадами.

Расправа стала бытом. Привычно швыряли на козлы тех, на ком останавливался державный перст.

В начале сороковых годов «перст» остановился на евреях...

Что ж, евреев, так евреев...

Евреи, между тем, стали иными. Революция — гигантская буровая; похороненные втуне национальные богатства вырвались наружу со стремительностью гейзера. Бывшие инородцы устремились к науке, в промышленность, помогая заполнить интеллектуальный вакуум, вызванный гражданской войной, эмиграцией и истреблением сотен тысяч образованных людей.

Когда евреев настиг «перст», они уже успели дать и Ландау и Гроссмана.

Что ж, тем хуже для Ландау и для Гроссмана!

«Освобождаются вакансии», — зашептались в профессорских, в министерствах, в редакциях. Только эта мысль грела егорычевых 1949 года, причисливших себя к интеллигенции и с радостью поднявших хоругви российских лобазников; доценты обрушились не только на евреев. На интеллигенцию, к которой они себя причислили. Любой национальности. Неважно, на каком языке она думает, русском или татарском, она — думает...

А если к тому же еще, на *идиш*!!!

Таков «русский парадокс». Глубокая страшная тень от деревянных козел на нем. Тень подлинно интернациональных двадцатых, роковых тридцатых, геройских и сталинско-фашистских сороковых...

Казалось бы, мне пора перестать удивляться.

И, тем не менее, меня все же поразила открыто-бесцеремонная фальсификация всего, что происходило на бюро МГК.

Егорычев сказал, и при мне, и при всех остальных писателях и членах бюро горкома одно, а подписал в тиши кабинета — совсем другое...

В этом не было, казалось, ничего необычного. Упречение хамства и вероломства началось не вчера.

Сталин объявил, в свое время, «сын за отца не ответчик», а уничтожал заодно с отцами и жен и детей, и внуков.

Сталин провозгласил, что злостных антисемитов надо расстреливать, а позднее организовал антисемитский процесс врачей и все другое, о чем мы уже знаем и от чего содрогнулся мир.

Сталин вдохновил на долгую жизнь Советскую Конституцию 1936 года с ее статьями о неприкосновенности личности и прочими великими параграфами, пронизанными солнечным гуманизмом.

А следующий год был — 1937, унесший в могилу миллионы невинных.

Кстати говоря, самая зловещая передовая «Правды», где были напечатаны сталинские слова о том, что «враги народа» ответят *«пудами крови»*, была второй передовой. А первой, на той же самой странице, соседствовала с ней радостная передовая о героическом перелете наших летчиков...

Собственные преступления заслонялись Сталиным героизмом народа.

Ханжество, как стиль, как незыблемая, постоянная форма существования и руководства — разве я узнал об этом впервые?

И все же я удивился.

«Двойное дно» обычно не выставляют напоказ. Это — тайное тайных.

Но времена Хрущева не прошли бесследно. И Хрущев внес свою лепту.

Начали раздеваться на людях. Ничего! Сожрут...

... На первом же писательском собрании, в присутствии нескольких сот московских писателей, я рассказал об этом.

В президиуме находились секретарь МГК по пропаганде Шапошникова — правая рука Егорычева в идеологии, и уже знакомая нам Соловьева, зав. отделом культуры. Я рассказывал о многом, из того, что здесь написано. Даже о «нержавеющих старушках». О Соловьевой поведал все.

Круглое лицо Соловьевой покрылось красными пятнами, затем она побежала куда-то звонить, советоваться, а, вернувшись, просидела в президиуме безмолвно, хотя некоторые работники Союза писателей просили ее хоть как-то ответить.

Секретарь МГК Шапошникова заявила, что она про «вышеупомянутое дело» и не слыхала никогда.

Только закончился ошеломивший нас суд над Синявским и Даниелем, и Шапошникова начала свое замечание по поводу выступления Свирского так:

— Что касается выступления Синявского...

Грохнул от хохота зал.

«О, великий Фрейд!» — воскликнуло сразу несколько голосов. — Что ты делаешь с людьми? Она ничего, де, не слыхала, но отношение почему-то сложилось прочно...

В те же дни я передал все материалы в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. В высшую партийную инстанцию. Я протестовал против позиции Егорычева...

В комитете было проведено новое и тщательное расследование. Пригласивший меня к себе партследователь КПК тов. Гладнев сказал, что дело, наконец, закончено; был вызван в КПК и Василий Смирнов.

— У него, знаете, действительно, ничего не держится, — сказал партследователь. — Мелет Бог знает что. Обвинять Смирнова вы имели все основания. — И тише, с доброй укоризной:

— Но зачем обобщать частный факт?! Правильно ли это? Держались бы... в рамках. — И снова полным голосом: — К вам, товарищ Свирский, мы никаких претензий не имеем...

— То есть, как это? Простите — ко мне? Разве во мне дело?

— Конечно! Рассматривалось же дело писателя Свицкого.

И посмотрел на меня святыми глазами.¹

¹ Провожая меня, партследователь снова и снова советовал «не выходить за рамки частных фактов». С тех пор стараюсь не выходить. Однако частные факты почему-то сыпятся и сыпятся, как из рога изобилия. Самые последние из них в московской областной газете «Ленинское знамя», которой, видно, не дают покоя лавры «Русского знамени». Вначале газета опубликовала хулиганскую, в манере 49 года, статью о стихотворении Семена Липкина «О племени 'И'», старательно подчеркнув, что написал не какой-либо Липкин, а Семен Израилевич. Отсюда все... Затем газета взялась за Маргариту Алигер, не добитую Хрущевым...

Разоткровенничались и генералы. Один из них, вернувшийся с Ближнего Востока, прямо сказал в Союзе писателей СССР, на одной из встреч, что будут готовить арабов, чтобы покончить с Израилем. Египтян он не ставил ни в грош, надежды возлагал на Сирию. «Через пять лет, сказал, мы вымуштруем ее, подучим. Это будет настоящий орешек, о который Израиль сломает зубы... Теперь воюют не числом...»

В карете прошлого далеко не уедешь. Наши газеты так часто повторяют это выражение, что в него уже перестали вдумываться...

Антисемитизм, как известно, тащит эту карету всегда в пристяжках.

Но что же, в таком случае, в коренниках, если вдруг запрещаются съемки фильма ... нет, не о евреях. Это само собой. О Чернышевском. Из фильма о Герцене изымается большая часть герценовского текста. Редакторы дружно вычеркивают цитаты из Щедрина. Наконец, объявляются чужеродным России элементом ... декабристы! (Журнал «Молодая Гвардия», № 6, 1969 г. Статья Ю. Иванова «Эхо русского народа»).

«Увы, не обмолвка», — так отозвалась на теоретизирование «Молодой Гвардии» «Литературная газета». Даже горделивый «Новый мир», долго и презрительно «не замечавший» истинно-русских кликуш, вынужден был, правда, по другому поводу указать (№ 7, 1969) на «опасность реакционных, националистических, неославянских тенденций».

Наконец, появились и романы Ивана Шевцова, прямо призывающие к погромам. И торжеству твердой власти. Романы, открыто инспирированные членом Политбюро ЦК КПСС Полянским. И не только им...

Планы великодержавия осуществляются, как видим, со сталинской последовательностью. Развязка не за горами... Европа проснется

... Я вышел из КПК на Старую площадь.

Мимо меня торопились, скользя по снегу, люди с поднятыми воротниками, со свертками, с бутылками. Завтра Новый Год. Шестьдесят седьмой. Как хотелось мне сейчас позвонить Полине, чтоб собиралась, купить вина и поехать с ней к Степану Злобину или Гудзию... Старый год проводить...

Я стоял долго, осиротело, пока не замерз; в голове все время вертелась злоеца фраза, на которую так и не наказанные василии смирновы теперь получили законное право. Ее по-прежнему не будут замечать, как и все остальное. «Пушкин — не ваш писатель», «... не ваш писатель...», «... не ваш».

Когда вечером Полина спросила меня, как проведем Новый год, в Москве или поедem куда-нибудь, у меня вырвалось!

— Давай, уедem! Знаешь куда? В Михайловское. В Тригорское. В пушкинские места. А? Давно собирались.

Полина все поняла без слов.

— Едем!

Мы начали звонить на вокзал, к знакомым, которые были в Михайловском, и вскоре выяснили, что туда на новый год едет целая группа актеров и переводчиков.

Мы присоединились к ним.

Ночью, в вагоне, пели и декламировали. Мастер художественного слова Яков Смоленский читал нам, притихшим, вполголоса:

«Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...»

однажды от лязга советских танков. Операция будет внезапной. Как в Чехословакии. Урок страшного 1941 года для России даром не прошел...

Мужественный Амальрик поставил вопрос, увы, не совсем точно.

ДОЖИВЕТ ЛИ ЕВРОПА ДО 1984 ГОДА?...

Мы снова окунулись с головой в родную стихию и, как страшный сон, пропали, развеялись за темными стеклами и «нержавеющие старушки», и Егорычев; сколько их было на Руси, временщиков! Сгнули, как нечистая сила, осененная пушкинским крестным знаменем...

Но вот мы разошлись по купе; попытался заснуть; чувствую, не могу. Я все еще там...

«Пушкин не ваш писатель...», «Не ваш!...», «Не ваш...»
Тьфу ты, черт!

А следом еще более дикое; властительное, как приговор.

«... разделяю — позицию — Смирнова...

разделяю — разделяю — разделяю...»

Стучат, стучат колеса. Скрежещут. Вот поезд остановился, снова дернулись вагоны.

— Уже Псковщина, — сонно произнес кто-то за дверью.

Я поднялся и вышел в коридор. Там толпились и новые знакомые. Актеры ложатся поздно.

Прижался лбом к холодному стеклу, глядя на чуть подсвеченное луной белое безмолвие России, которое кружилось и плыло мимо; не услышал голоса, обращенного ко мне. Донеслось лишь раздраженное:

— Они — писатели! Их люди не интересуют. Их интересуется ПИзаж... — И актеры пропали в своем купе, с силой задвинув дверцу.

Родные люди! Простите меня! Я обещаю вернуться к вам. Но еще все болит. Даже суставы, словно меня подтягивали на дыбе.

Мы приехали в Святогорский монастырь под утро; тихое российское утро. Захрустел под ногами снег. «Мороз и солнце. День чудесный!» Поселились в одной из келий и, прежде всего, собрались к Александру Сергеевичу. На могилу.

Кто-то просил нас подождать, я присел у монастырского окна, наедине со своими мыслями.

Глаза резал солнечный пожар Святогорья.

И вдруг замело, засвистело. За окном слышалось ржание, надсадный бабий голос.

— Иди, охолонил весь.

Почему-то вспомнились безутешные строки талантливого русского поэта, в которых звучало отчаяние Саши Вайнера.

«Россия русалочья, русь скоморошья,
Почто недобра еси к чадам своим?...»

Да Россия ли недобра?! Ребята, Россия ли?...

Чиновничество испокон веков приседало, как Витенька Тельпугов. То от боярского гнева, то от сановного окрика. То панически металось, страшась «сбиться с ноги», не по-пасть след в след сталинской азиатской свирепости. То вдруг взмыленно суетилось, — по-хрущевски. Лицом к лицу с Америкой. Не шутка!

Древнее раболепие перед «первым дворянином» — это Россия? Дворцовые танцы — приседания — это Россия?

Увы, и это Россия. Ее беда, ее слезы. «Горе-злосчастье...»

Но разве лишь *это Россия?*

Кто только не помогал Полине уцелеть, выжить. Стать на ноги.

И академик Зелинский, и академик Казанский, и властный немногословный президент Академии Наук СССР Несмеянов, потребовавший, чтоб ему показали дипломную работу Полины, и цыкнувший на расистов из Министерства...

И деревенская баба на голодной станции Обираловка...

И окоченелый на московском морозе милиционер, который должен был выкинуть Полину из военной Москвы, а он отпустил ее в Университет, дав денег на дорогу.

И рабочие парни-аппаратчики уфимского химзавода, которые оставались ночами, чтоб ввести в дело полинкин метурин, хотя знали, что не получают за это ни копейки. Как и сама Полина.

Сколько таких людей было вокруг нас. От них требовали расистского скотства, подлой ярости, они бросали под колеса расизма тормозной башмак.

И как бы ни заталкивались в гору вонючие цистерны

российского шовинизма, они то и дело откатывались назад в исторический тупик; и, несмотря на все, частенько пробивалась на дорогу молодежь, преступно помеченная «пятым пунктом», прорывалась сквозь накинутый на них душный расовый брезент, а иные счастливы рвали его легко, как паутину; особенно если рядом оказывались подлинны интеллигенты Руси, такие, как академик Казанский или академик Несмеянов.

Но, главное, болезнь не зашла во всю глубину народной толщи: это болезнь, прежде всего, рвачей, бездарей, собственников. Болезнь паразитов.

Но если нас окружали доброжелательность, честность большинства, неискоренимое чувство интернационализма, если на пути подлости вставал народ, от деревенских баб до академиков, то естественно спросить, как же тогда могло произойти то, что произошло? Геноцид, расовые шпицрутены кампаний, немые вагоны электричек, где корчится, с дозволения начальства, подлость, незатухающий уже четверть века «холодный погром», — как это могло стрястись, если прививка шовинизма не принялась? *Вопреки народу, да, вопреки...*

Но это уже другая трагическая тема России.

Извечная тема. Пушкинская тема...

Могила Пушкина скромна, как скромн народ. Темная мраморная плита с морозно поблескивающим венком, высеченным деловым веком раз и навсегда.

И прозрачный короб, над мраморной плитой, из самолетного плексигласа.

Словно и здесь кто-то хотел отдалить меня и Полину от Пушкина. Отгородить его от нас.

Тщетно!

Подумать только, что наши обезумелые литературные «калеки» кричали бы о Лермонтове, который гордился тем, что в его жилах есть и капля шотландской крови. Что кричали бы о нем, живи он сейчас, со своей гордостью, своей неподкупной честью, своей непримиримостью к «рабской толпе»?...

Пушкин, с этой точки зрения, был бы просто непокладистым абиссинцем, «некоренным населением», придумкой столичной интеллигенции...

А Даль? Отец его был датчанином, чужестранцем. Что бы сказали о нем неославянофилы, блюстители расовой чистоты? Или кадровики — разоблачители «полукровок» — о нем вечном хранителе нашей языковой культуры? Русском из русских. Провели бы его по графе «полезные евреи»?

Дискриминация и расовая спесь никогда не шли от народа. Всегда и только от привилегированных сословий, которые цепляются за свои привилегии с судорожным отчаянием людей, схватившихся за обломки потонувшего корабля.

... Мы стояли, плечом к плечу, вокруг национальной твердыни и слушали тебя, Россия, и посвист пурги, и дальнее тарыхтенье трактора, а в сердце звучало впитанное с молоком матери:

«... И назовет меня всяк сущий в ней язык.
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык...»

Так Россия ли это, если «гордый внук славян» кликушествует: — «Пушкин — это не ваш писатель»?

А друг степей калмык только-только возвращен из дальней ссылки.

Финн стрелял в меня, москвича, в день моего совершеннолетия, на линии Маннергейма...

Да они такие же враги России, как и мои враги, обезумевшие русопяты, в павлиньих перьях краснословья!...

Россия Пушкина будет жить в нас и с нами. А егорычевы сгинут, как сгнули бироны, пуришкевичи, распутины...

Главное, не терять перспективы.

Главное, помнить, что Пушкин с нами...

С нами, кому жить, думать, растить детей...

Ну, а если мне — не жить (я знаю, на что способен расизм, я глядел ему в глаза!), если и впрямь напророчествовал

старик Гудзий, ткнув пальцем в подлую правду: «Боярин был прав, и обидчиков наказали. А боярина убили позже и за другую вину», — пусть даже повернется по цареву, я прикоснулся к твоей высокой холодной домовине, Александр Сергеевич, где ты погребен после гнусного выстрела Дантеса, и тем уж окреп, тем уж поострил сердце свое мужеством.

1967 г., Москва.



Они не были ни в чем виноваты, наши старые профессора. А чувствовали себя виноватыми. Они грудью защищали своих учеников; так мать защищает свое дитя и, если надо, примет смерть за него.

ЭПИЛОГ.

в котором приводятся факты, не связанные друг с другом.

В 1968 високосном танковом году меня разыскали, как по тревоге, и привезли вначале в райком, а позднее в горком, где навстречу мне зазвенел разноголос и торжествующе женский хор: «Знаем мы его!», «Не в первый раз!» (Особенно выделялись голоса Горевановой и Шапошниковой); вызвали меня, естественно, «за другую вину», другую речь, произнесенную *тремя месяцами ранее, на закрытом собрании*¹ и поначалу не вызвавшую никакого беспокойства; но все это особая повесть, которую я писать не буду: произведения на тему «Сталинизм и культура», убежден, появятся в свое время, в России — в отличие от этой книги — и без меня.

Я хочу сказать здесь о другом...

В плохо освещенном коридоре МК, вдоль стены, стояли люди, вызванные, как и я, на бюро горкома, и я стал всматриваться в лица, нет ли знакомых. И, кажется, одного узнал. Он появился с другой стороны. Поднимался по лестнице. Я заметил его боковым зрением.

¹ Речь о сталинистах и цензурном разбое; о тех, кто под знаменем антисемитизма и «русопатства» рвется «спасать» Россию.

(Полностью речь опубликована в газете «Монд» от 28-29 апреля 1968 года и других газетах, а на русском языке — в Собрании сочинений А. Солженицына, т. 6 «Дело Солженицына»).

Макушка празднично сияет. Одно ухо оттопырено, другое прижато. Как у гончей.

Костин? Полинкин Костин?... Из дантова круга «эйхманид»... Кажется, он...

Он подымался весело-возбужденный, с полуразвязанным галстуком. Посмотрев на меня, а затем по направлению моего взгляда, ослабился:

— Что, своих увидел?!

И, спросив что-то у постового, прошелестел обратно.

А я остановился у дверей, закрыв глаза и чуть пригнувшись, словно меня ударили в солнечное сплетение.

... Это произошло на второй день войны. 23 июня 1941 года. Я стоял у шоссе, в Белоруссии, вдоль которого летели, как пух из разорванных перин, листовки. Одна упала у моих ног. Я пригнулся, взглянул на нее.

Адольф Гитлер твердо обещал уничтожить меня. Как еврея.

Я поддел листовку кирзовым сапогом. И — занялся воблой, которую старшина эскадрильи насыпал мне в противогазную сумку «на всю войну».

Вобла отдавала бензином и гарью.

Мимо тянулись беженцы. Они шли волнами. Небритые мужчины с чемоданами, перевязанными бельевыми веревками, с узлами из простыней на плечах; старики, которые упав посередине дороги, молили своих близких не задерживаться из-за них, нести детей дальше.

Расправляясь с воблой, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Всмотрелся. Мимо проезжала огромная фура, на которой сидел старик-балагула, длиннородый еврей, словно бы из Шолом-Алейхема, в изодранной брезентовой накидке и праздничной шляпе, а на фуре — полным-полно детей. Видно, услышав орудийную канонаду, старик из пограничного городка покидал на фуру всех соседских детей, и погнал рысью, без остановки. Не все поместились на фуре. Дети бежали рядом, держась за нее, девочка, лет пяти, тянула тихонько: «Пяточки бо-ольно!... Пяточки бо-ольно!». Поравнявшись со мной, дети принялись на меня

глазеть. Молча. Фура проскрипела мимо, цокот удалялся, а дети по-прежнему сверлили меня своими огромными черными глазенками.

Да они глядят не на меня, понял я вдруг. На черта я им дался! На воблу, на воблу глядят. Они не ели сутки. С той минуты, как балагула побросал их на телегу.

Я кинулся за скрипевшей вдали фурой. Помню, у меня расстегнулся патронташ, из него вылетали обоймы. Я настиг фуру и вытряхнул на чьи-то исцарапанные коленки все, что было в противогазной сумке.

Возвращаясь назад, собирая рассыпанные обоймы, я услышал за спиной хрипатый насмешливый голос, который помню вот уже четверть века. Оглянулся.

Бураково-красное, без глаз, лицо. Пожилое оплывшее, со шрамом над бровью. Этакий рядовой бандюга — запорожец, которого, живи он во времена Сечи, наверняка бы не позвали составлять письмо турецкому султану. Туп.

Ворот гимнастерки на шее не сходится, зеленые петлички старшины врзлет. Из запаса, видать, запорожец. Разлепил губы, к которым пристала сигарка и — со злой усмешечкой:

— Что, своих увидел?

Я не успел ни ответить, ни вдуматься в то, что он сказал. Подходили волной «юнkersы», и по зеленой ракете наш бомбардировочный полк пошел на взлет...

Приткнувшись у ног воздушного стрелка и отдышавшись, я бросил взгляд вдаль, сквозь желтоватый плексиглас кабины. «Юнкерысы — 87» уже заходили, переваливаясь, один за другим, в пикирование на оставленный нами аэродром, на разбегавшихся людей, на фуры с беженцами. Земля вставала дыбом.

«Для меня дети — свои — наконец дошло, казалось невозможное, необъяснимое, — а для него, не свои?!»

С той поры чего только не пришлось видеть! И Бабий Яр, и Бухенвальд, и космополитическую кампанию...

Однако тот случай вспоминается чаще других, может быть, потому, что тогда, на заре самой кровавой войны на земле, я, юнец, впервые столкнулся с бесчеловечностью,

у которой, вместе с тем, как и у всех моих друзей, алела на пилотке красная звезда.

И опять — «своих увидел?». Это он имел в виду?! Я снова вглядываюсь в лица. В самом деле, стоят, чуть покачиваясь, люди с бледными интеллигентными лицами. Двое или трое из них, действительно — евреи. Ждут, поодаль друг от друга, у стены, как приговоренные...

* * *

Нет ничего страшнее раковины в металле. Она таит в себе смерть. Внезапно разлетается в воздухе авиамотор. Опрокидывается на корабль портовый кран. Рушится, под тяжестью поезда, ферма моста.

Национализм в многонациональной стране — это раковина в металле. Это лопнувший рельс. Кажется, все в порядке, и вдруг страна летит под откос.

Польша всегда жила с «раковиной» антисемитизма. Еще в трудах католических ученых — схоластов XVII века, в частности, в трактате «Червь совести» утверждалось, что «Польша — рай для евреев» и потому это «зловонное племя» надо изгнать из Полонии.

Поток погромной литературы не иссякал вплоть до начала последней войны, когда крайний юдофоб кардинал-примас Глонд обратился со специальным папским посланием (1938 г.), в котором требовал объявить евреям экономический бойкот и вышвырнуть их из страны.

Варшавское образованное мещанство XX века даже общественное движение делило так: «жиды» и «хамы». «Жиды» — это вовсе не только евреи. «Жиды» — это все сторонники России. В том числе и Гомулка. «Хамы» — бывшая армия Крайова.

Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Пословица эта, как известно, и польская...

«Гитлер вас недорезал!» — вдруг зазвенело на улицах Варшавы звоном разбитых стекол; тех, кого «недорезал

Гитлер», вышвыривают ныне из домов, с работы, заталкивают в эшелоны изгнания — стариков, женщин, детей.

Как бы ликовал сейчас изувер-католик, автор «червя совести», или кардинал-примас Глонд.

Осуществляется вековая мечта мракобесов.

Из Полонии выгоняют жидов...

В Вене скопились тысячи коренных жителей Польши, выброшенных, подумать только!, из страны «Освенцима»...

Антисемитизм, как и следовало ожидать, немедля обернулся антисоветизмом. Краковская газета известила, что евреев-руководителей подбросили в Польшу Советы. Они появились здесь с армией Людовой, образованной в Сибири. Вот откуда напасть...

От России...

Кивки на СССР не остались монополией польской прессы.

«Во время следствия против меня офицеры службы безопасности старались открыть среди моих родственников хоть одно еврейское имя, — сказал, в частности, на суде в своем последнем слове преподаватель Варшавского университета Яцек Курон, выступивший против антисемитской истерии. — Когда им не удалось сделать из меня еврея, тогда они решили объявить меня хотя бы украинцем!»

Подобные факты стали достоянием широкой гласности. Последнее слово Яцека Курона и других было опубликовано коммунистической прессой, в том числе, еженедельником австрийской компартии «Тагебух», из которого и приведены слова Яцека Курона.

В Польше стали бить отбой.

«Касаясь проблемы сионизма, — сообщила газета «Известия» 15 мая 1968 г., — В. Гомулка сказал, что Политбюро оценило явление 19 марта сего года, *но практически оно не было всюду правильно понято. Было много перегибов, которые следует категорически осудить. Так ревизионистам наклеивали ярлыки сионистов».*

В отличие от газеты «Известия», давшей краткую информацию, на другой день, 16 мая 1968 г. «Правда» напеча-

тала подробное, на четырех газетных колонках, изложение речи В. Гомулки на пленуме ЦК Польской рабочей партии.

Приведенный выше абзац о перегибах в Польше, о том, что слово сионист превратили в ярлык, брань, лживую улику — абзац этот, который «Известия» выделила в своей краткой информации, как самый существенный и единственно новый в речи Гомулки, в «Правде», при подробнейшем изложении, выпал. Выброшен «дальновидной» рукой.

Какие перегибы? Не было никаких перегибов. Никакого антисемитизма. Даже в Польше.

Подумаешь, на евреев «наклеивали ярлыки сионистов»! Какой же это перегиб?!

Вышвыривали евреев с работы, а теперь выкинули и за пределы страны. Лишили крова, друзей. Родины.

Разве это перегиб?! Просто «польская модель» решения национального вопроса.

Какой, в самом деле, гуманизм! Не стреляют разрывными пулями в затылок, не сбрасывают в карьер. А просто пинок в зад. Старикам, женщинам, детям. Просто... польский вариант поэмы Сергея Васильева «Без кого на Руси жить хорошо!» Только на практике.

... Нет ничего страшнее раковины в металле. Она таит в себе смерть...

* * *

Столкнулся лицом к лицу в редакции «Правды» с Василием Смирновым. Хлопочет, сказали журналисты с улыбкой, о нравственной реабилитации. И компенсации за моральный урон.

И, словно бы в честь того, что Комитет партийного контроля при ЦК КПСС признал Вас. Смирнова шовинистом, грохнуло вдруг, точно салютом из двадцати четырех орудий.

Смирнову и раньше салютовали, как и многим писателям, но такого праздничного фейерверка не было никогда. Как по команде.

Первым выстрелил софроновский «Огонек», как всегда с опережением. Критик с устойчивой репутацией В. Петелин — о писателе с устойчивой репутацией В. Смирнове.

В. Смирнов восславлен сразу после передовой «Знамя пролетарского интернационализма — в надежных руках.»

Так сказать, вот вам и теория и практика.

«Литературная Россия» отстала ненамного. Критик и общественный деятель Зоя Кедрина¹ сообщила в большой статье, что Василий Смирнов работает «По-новому, по-горьковски». Она же в «Литературной газете» считает, что Василий Смирнов, наряду с другими писателями, «выполнил то, что не успел сделать Горький...»

Василий Смирнов год назад был всего только «зорким бытописателем ярославской деревни».

Теперь он, при тех же трудах — Горький сегодня.

И не столько уж о книге В. Смирнова пишут, книга есть книга. Все чаще и все восторженней о духовном облике «Горького сегодня!» О человеке и гражданине В. Смирнове.

«Литературная газета» перед статьей З. Кедринной торопится дать огромный, на полстраницы, литературный портрет В. Смирнова, с большой фотографией. Критик В. Смирнова — о прозаике В. Смирнове.

В ней без обиняков. Наш человек Василий Смирнов, партийный и, самое главное, друг других народов. Так и сказано: «Смирнов начал свою книгу после войны уже зрелым человеком, с опытом партийной работы, с опытом газетчика... Он словно утверждает давно известную истину, которую никогда не мешает повторять... без чувства национальной гордости нельзя быть строителем нового мира, другом других народов».

Спасибо «Литературной газете», теперь мы, наконец-то постигли, что такое «национальная гордость», «зрелый человек», и «друг других народов»...

¹ Зоя Кедрина — официально назначенный, в свое время, «общественный обвинитель» писателей Синявского и Даниеля.

И вот уже торжественный салют подхватывают другие газеты...

«Правда» отметила «Горького сегодня», «друга других народов» в обзоре руководителя Союза писателей Г. Маркова, а затем и в особой статье. Как и в «Огоньке», это помещено вскоре за редакционной статьей «Интернационализм — источник наших сил».

В необычно массивный, торжественный салют включается толстый журнал «Москва». Остальные журналы все же орудия зачехлили.

Но газетный салют не прекращается. Похоже, скоро В. Смирнову отольют дарственную медаль: «Зрелый друг других народов».

* * *

Я вдруг почувствовал себя взятым приступом городом, который отдали на три дня остервенелой солдатне. Насилуй! Грабь нехристей! Ничего не будет!

Набор трех моих книг, которые собирались издать в «Советском писателе», рассыпан. Его уничтожили после того, как книга официально разрешена Главлитом, чего в издательской практике страны еще не бывало.

Официальный документ проинформировал меня, что договор со мной расторгнут. Как на спорные книги. Так и на бесспорные, уже выходившие: — «Ленинский проспект», повесть о летчиках. Чтоб убирался вон, не оглядываясь...

Приостановлено печатанье всех моих произведений — во всех издательствах. Военное издательство в панике позвонило в Союз писателей, что делать со сборником об армии, где печатается также и Свирский, а затем оно выдирало мой рассказ «Король Памира» из уже готовых экземпляров сборника.

Если писателей расстреливают, так уж залпом...

* * *

Полина была все годы моей опорой. Она не подталкивала меня, понимая, вместе с тем, что нельзя быть и тормо-

зом, когда речь идет о моей совести. Она лишь провожала порой меня, стискивая свои руки, словно я уходил на войну.

Но как бы ни было ей тяжело, она оставалась неизменно спокойна, жизнелюбива, крепка.

И вдруг проснулся ночью от всхлипа. Полинка рыдала, уткнувшись лицом в подушку, стискивая зубы, чтоб я не услышал.

* * *

Только что мне позвонили: покончил жизнь самоубийством Саша Вайнер. Чтоб не пугать домашних, он ушел в парк культуры и там повесился, на суку березы.

Когда я приехал в морг, труп был накрыт простыней, виднелись только грубые, на толстой подошве ботинки, ботинки геолога, строителя, землепроходца.

Товарищи Саши показали мне тетрадку, в которой были торопливо записаны стихи, не знаю, сам ли Саша Вайнер сочинил, или взял откуда-то.

«Мне книгу зла читать неумоготу,
а книга блага вся перелисталась...
О, мать Смерть, сними с меня усталость
Покрой рядом худую наготу...»

Саша, мечтавший об Израиле, бредивший отъездом, был доведен до такого состояния, что даже старенькой и любимой маме своей оставил записку, в которой советовал, если ей будет неумоготу, последовать за ним...

Товарищи Саши решили не показывать матери этот документ ужасающего, беспредельного отчаяния сына, но прокурор, разбиравший дело о самоубийстве, отдал ей. Закон есть закон.

На могиле Саши представитель партбюро, с работы, сказал жалостливо, что Саша был честным, скромным и безотказным тружеником. Любил русскую природу. И это... стихи. И чего это он?

... В тот же и последующие дни «Правда» и «Известия», «Комсомольская правда» и все другие газеты, как всегда, гневно и справедливо протестовали против расизма.

Заголовки огромными буквами кричали:

«Нет расизму!» (в Южно-Африканском союзе)

«Законные требования негров» (в США)

«Покончить с дискриминацией» (этого, в данном случае, требовал Анатолий Софронов, герой космополитической кампании, а ныне главный борец за интернационализм в советском комитете стран Азии и Африки).

«Португальские расисты»

«Быть верным ленинизму»

«Дискриминация евреев в Соединенных Штатах Америки».

Я листал по привычке газеты, но сквозь них, словно они были прозрачны, я все время видел желтевшие из-под протыни прорабские ботинки убитого Саши Вайнера, грубые прорабские ботинки на толстой подошве, в которых ему, рабочему парню, шагать бы по земле и шагать.

И еще виделся мне холодно-настороженный, словно прицелившийся глаз Егорычева, который произносил почему-то слова нашего участкового: «Колошмятят евреев чем ни попадя. Должны же они что-нибудь предпринять. Люди ведь не железо.»

... Люди... Я навсегда запомнил их лица, когда они расходились с кладбища... Я видел их прикушенные от боли и ярости губы, их сжатые кулаки, и начал понимать, что эра безответных зуботычин русским евреям кончилась. Навсегда...

Началось новое время — во что оно выльется? В безумство бомбистов? В массовый рывок к границам — сухопутным, морским, воздушным? В новые и бессмысленные жертвы?

Я еще не знаю этого, но понимаю, что смерть, а, точнее, убийство Саши, и еще несколько таких же убийств в различных углах России, от Малаховки до Воркуты, стали последней каплей...

Ни Демичев, ни Софронов, ни Сергей Васильев, ни Гри-

бачев, которые, фигурально выражаясь, намылили Саше Вайнеру удавку, следующей жертвы не дождутся...

А дождутся «еврейского взрыва», который сам по себе, наверное, не очень беспокоит их, если не станет, а он неизбежно станет, могучим катализатором национальных сдвигов на Украине, в Прибалтике, в Узбекистане...

У будущего «еврейского взрыва» будут свои герои и свои жертвы, к которым литература еще вернется, и не однажды...

И я вернусь, непременно вернусь, но не тот час: мне не раз приходилось видеть на той большой войне, когда, движимые самыми лучшими побуждениями, артиллеристы, желая поддержать своим огнем наступающую пехоту, били по своим ...

* * *

На кладбище, где хоронили Сашу, я встретил демобилизованного солдата-пограничника. Рука у него была на перевязи. Он сказал, что его ранили на советско-китайской границе, а два его дружка из Томи убиты.

Я остановился ошеломленный. Впервые узнал тогда, что на китайской границе уже льется кровь. В русские села опять пошли похоронки.

И в эту сторону, оказывается, зашумел огромный китайский пожар?!

Мне пришлось похоронить в своей жизни столько друзей-летчиков и незнакомых солдат, что каждый такой случай вызывает в памяти и мягкие шорохи могильной земли, и жесткие, сухие, почти треск негнущихся, льдистых от замерзшей крови плащ-палаток, на которых мы уносили солдат с летных, взятых штурмом полей.

Вот уж несколько дней я живу с этой страшной вестью.

Судя по неистовству хунвейбинов, Россию обкладывают по всем правилам сталинских антисемитских истерий: советские уже и агенты империализма и главные ревизионисты, которым пора убираться с «исконной китайской

земли», так как в Сибири и на Дальнем Востоке, как пишут китайские газеты, «русские — некоренное население».

Почти у каждого народа свои евреи. Свои парии.

Русские стали китайскими евреями. «Некоренным населением».

Кровав замкнутый круг шовинизма. И нет ему конца.

* * *

Нет ему конца. Воистину! С тяжелейшими инфарктами отправлены в больницу члены Союза советских писателей — прозаики Борис Балтер, Владимир Померанцев, Макс Бременер, литературный критик Эмиль Кардин. Попали в психиатрическую лечебницу поэтесса Юнна Мориц, литературовед и критик Сергей Львов, автор книг о Ленине Борис Яковлев, дерзнувший вслед за мной, вместе с Юнной Мориц, выступить против шовиниста Василия Смирнова.

Владимир Померанцев первым, в свое время, посмел сказать в «Новом мире» об искренности в литературе. Тогда же скорая помощь увезла его с инфарктом. И вот — второй...

Борис Балтер, смелый прямой человек, бывший командир стрелкового полка, орденносец, подписал письмо в ЦК против судебного произвола...

Тишайший Макс Бременер никогда ничего не подписывал... Всем им, кроме Померанцева, не было и пятидесяти.

Умирать — процентной нормы нет...

И вот оно...

Покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна, писатель Леон Тоом, муж Юнны Мориц. Говорят, случайность...

Наложила на себя руки кинокритик Стелла Корытная, племянница расстрелянного полководца Якира. Говорят, болезнь. Повесился умница Борис Фалькович (Медведев), талантливый киновед, добряк, кристально честный человек, общий любимец.

Эта смерть ранила меня особенно сильно, тем более, что это было третье самоубийство в нашей среде за один месяц.

Когда кончает с собой один психически травмированный человек — это может быть вызвано случайными обстоятельствами. Когда расстаются с жизнью один за другим трое литераторов, а инфаркты и нервные потрясения вдруг выводят из строя подряд еще нескольких писателей, по возрасту сравнительно молодых, тут уж случайности нет места. Тогда, как говорят специалисты, надо исследовать социальный фон...

И, возможно, прежде всего, историю писательской организации Москвы. Разгром, блокирование, шельмование ее.

«Гнилая организация!» — кричали в егорычевском горкоме, когда представитель писательского парткома рискнул меня защищать. — «Гнилая»... — когда позднее выкручивали руки всем, кто, подобно Балтеру и критику Копелеву, протестовали против произвола; когда коммунисты пытались защитить «Раковый корпус» Солженицина, поэзию Пастернака, Цветаевой, Мандельштама и многих других советских писателей — русских, украинцев, грузин, татар, евреев, калмыков, — для самовластия, как известно, во все времена, издревле:

«... Поэты — Жиды...»

... Иногда я останавливаюсь у обложенной дерном приметной могилы Саши Вайнера — российского рабочего, похороненного на еврейском кладбище.

Что же, прав Саша? Бессмысленно протестовать и, тем самым, как ты сказал, возбуждать надежды? Уезжать? Из России?!

... Когда в апреле 1942 года наши потрепанные в боях части отводили с Западного фронта, произошел случай, которым я и закончу свою документальную книгу.

Откомандированные из разных частей солдаты, раненые, отпускники, сидели в товарном вагоне, в тупичке разрушенного Волоколамска, до которого только что заново проложили железную дорогу. Топили печурку. Ждали отправки. Кого тут только не было! Казахи из памфиловской дивизии. Узбеки — артиллеристы. Русские из танкового корпуса Катуква. Казаки из конного корпуса Доватора.

Доваторцы рассказывали, что в их полках осталось по сорок человек. Двадцать — коноводы, двадцать — лежат в цепи. Солдат от солдата — метров семь... И это на главном — московском направлении.

Мы притихли. Знали, так все и есть. Нет солдат. Всюду не хватает. Потери огромные.

И вдруг услышали визгливые женские голоса: «Выхаживала на берег Катюша». Выглянули из теплушки. Пели в соседнем эшелоне. Мы всмотрелись и обомлели. Пели девочки, в солдатских гимнастерках, с оружием.

Кто-то сказал оторопело: «Ребята, так что ж это?...»

У меня выпал из рук котелок, и я спросил сам себя, чувствуя, как у меня влажнеют глаза:

— Кончилась?...

— Что... кончилась? — спросил узбек, сидевший на корточках возле «буржуйки».

Мой сосед, огромный казак со шрамом на лице, сказал в тоске, придавив сигарку сапогом.

— Россия кончилась. Мужиков не осталось. Доскребают кого-никого.

Я не смог удержаться, заплакал беззвучно, кусая губы. Никогда я не испытывал такой навалившейся вдруг безысходности, такого полного отчаяния, как в тот час.

Как же воевать будем? Немцы еще под Москвой...

Все вдруг притихли. Посерьезнели. Русские. Узбеки. Казахи. У всех была одна судьба. Одна страна.

Молчали долго. Не оживились даже тогда, когда вагон толкнули, его прицепили, наконец, тронулись.

И вдруг кто-то закричал изумленно:

— Ребя, глядь-ка!

Мы повскакали с нар, и увидели, что в лесах, по обе стороны железной дороги, стоят войска. Ждут своего часа замаскированные, но не ободранно-белые, а зеленые, под цвет травы, танки. Курятся дымки зеленых пехотных кухонь. Все деревни, леса, поля от Волоколамска до Москвы забиты солдатами. Танками. Артиллерией. И все зелено. Под цвет весны.

Весенние резервы. Нам их не давали. Добивали нас, зимние лимиты... Вот почему стрелок от стрелка в семи метрах.

Кто-то забасил, что есть силы, притоптывая сапогом.

— Ой, кум до кумы зальцався!...

И весь вагон заплясал, ходуном заходил в едином радостном порыве.

Нет, не кончилась Советская страна. Нет ей конца. Мы еще повоюем.

Вагон вздрагивал на стыках, его швыряло из стороны в сторону, а мы, треть были легко ранеными, в бинтах, с палочками, смеялись, кричали — вне себя от счастья.

... Я верю в весенние резервы России.

* * *

... Я завершил эту работу в июне 1967 года, — в синайской пустыне грохотали израильские танки.

Спустя год траки советских танков подмяли под себя брусчатку Праги, — я был вынужден написать послесловие.

Этот словно сдвоенный лязг танковых гусениц в разных концах земли довел моих гонителей до иступления, — вот уже третий год я живу с ощущением человека, которого сбросили в могилу и деловито закапывают.

— Они хотят, как в Чехословакии! — кричал мне некто, сидевший рядом с Членом Политбюро ЦК КПСС А. Пельше, и неподвижный, морозно-белый, казалось, ледяной Пельше невозмутимо внимал бреду. Кто — «они»? Писатели? Евреи? Причем тут Чехословакия?... Объяснения не даются.

Звенят лопаты. Летит сверху земля, камни, навозная жижа. Я кричу, сплевывая землю и нечистоты, что жив. Что это — убийство. Что они не смеют...

Смеют!

Как писатель, я вычеркнут из списка живых. С того дня, как публично схватил за руку «родных» погромщиков. Ни одно мое слово не печатается. Вот уже шесть лет.

По ночам неслышно плачет Полина. Не осталось надежды. Не хватает сил. Порой не на что купить выросшему сыну штаны; школьный учитель недоумевает, почему сын писателя ходит с продранными коленями?

Кто только не пытался за меня вступить! Мои фронтовые друзья, писатели, народная героиня Валентина Гризодубова, которая во время войны доставила мне и моим товарищам оружие.

Увы, ненависть активнее доброжелательства.

Как грибы после дождя, пошли в рост черносотенцы. Они выпускают книги, в которых снова, как в 1949 году, утверждают, что Эйнштейн — это фикция, славу его раздули евреи.

Подвыпившие поэты вопят сакраментальное «Всюду одни ж-жиды!» и чувствуют себя патриотами.

В пустой церкви, не таясь, заседает полусамодельный клуб «Родина», где исключительно одни истинно русские (евреям и собакам вход запрещен) читают ученые доклады о судьбе России, которую погубили, конечно же! еврей-большевики, и о том, что «Мандельштам — это жидовский полип на Тютчеве» (Еврей не может быть русским писателем! — кричали мне, помнится, горкомовские «железные старушки»).

Долго оставалось неясным, кого винить в развале советской экономики. Наконец, слово найдено. Госплан.

«Они и понятно, — услышал я в Сыктывкаре от партийного деятеля, по национальности коми. — Там... этот ... как его? Дымшиц...»

Не знали, какое проклятье кинуть в спину писателю Анатолию Кузнецову, который остался в Лондоне.

Наконец, придумали: — Еврей!

Так лекторы и лгали...

Со мной ли, в таком случае, церемониться?!

... Звенят лопаты. Вот уж по грудь земля вперемежку с навозной жижей. Вот уж по горло. Еще несколько взмахов и, чувствую, задохнусь.

Не заметил, как навалилась на меня смертная земляная

духота. Отчаяние Саши Вайнера, который не видел выхода. Только почувствовал вдруг — нечем дышать. Особенно остро почувствовал, держась за сердце, в тот час, когда соседи постучали ко мне и сказали, чтоб включил телевизор.

Годами молчал у нас стоящий в углу ящик. А тут засветился экран...

Вначале ворвался голос. Гулкий и, в то же время, глуховатый, как в бане. Он утверждал, что евреям у нас хорошо... Лично сам, например, говорящий, возглавляет колхоз — миллионер.

А вот заголубел на экране и сам воистине голубой герой. Худющий, точно страдаемый болезнью, распаренный... У него дергалась согнутая в локте рука, как если бы он попал в силки и все еще хотел вырваться, потеряв, впрочем, всякую надежду.

Председателя колхоза сменил ... Аркадий Райкин. Веселый неунывающий Райкин. И он... косноязычен?! И у него пунцовое лицо человека, которого словно вытолкнули перед всем миром голым. Как объяснить, почему ты гол? Райкин начал было тарашиться диковато, морщить щеку, «представлять», мол, это не он выступает, а один из его персонажей, узнаете? Но вспомнил, видно, что ныне пришли по его, Райкина, душу. И тут уж не отговоришься, не отмоешься...

Едва герой войны генерал Давид Драгунский стал рассказывать о своей большой, начисто вырезанной гитлеровцами родне, как его перебил кто-то, невидимый. Драгунский вздохнул покорно: — Сейчас кончу!

А ведь он только-только начал...

За его спиной президиум. Притихшая Майя Плисецкая. Окаменело-величественная Быстрицкая.

Стыд, как туман, становился плотным, осязаемым. Он был в нервных жестах, опущенных глазах, в вымученном косноязычии ораторов, и в резкой реплике перебившего...

Да что тут происходит?

— Мы лица еврейской национальности... Мы проте-

стuem... У нас нет и не может быть антисемитизма, — гулко, как в пустой бочке, отдается в комнате. — У нас нет для него классовых корней...

Ах, вот оно что! Нет и не может быть. Клянетесь...

И за меня тоже. И за Сашу Вайнера...

... На другой день, в трамваях и автобусах, только об этом и говорили. Я услышал в вагоне, как белокурый широколицый парень с чертежным футляром в руках сказал своему товарищу: — Видал вчера по телеку. Цирк. Дымшиц с группой дрессированных евреев...

Но звучало и другое:

— Оказывается, Быстрицкая-то еврейка. Вот-те раз...

Разъяснили.

А кому было какое дело до того памятного дня — кто по национальности русская актриса Быстрицкая? Она выросла на глазах. Пожалуй, самое замечательное, что создано ею в кино — образ Аксиньи, шолоховской казачки.

Для народа она — Аксинья, гордая, вольнолюбивая русская казачка.

Для товарищей по киноискусству — народная артистка Российской Федерации.

Для кого же — еврейка?!

А Майя Плисецкая? Может быть, она солистка еврейского балета?

Для советского зрителя она — лучшая балерина Отечества, творчество которой обогатило русский классический балет. Прима!

Для всего мира она — гордость русского балета.

Для кого же — еврейка?!

Говорили, Аркадию Райкину какой-то хулиган крикнул из зала: — Еврей!

Это оказалось неправдой. Ему крикнули не зрители. Не народ. Ему бросили это в лицо организаторы пресс-зрелища, поразительного по тупости и ханжеству: — Еврей! Иди и отмежевывайся ...

Никто не позвал сюда, скажем, народного артиста Ивана Козловского. И в голову не пришло вытолкать его вперед.

Или артиста Большого театра Ивана Петрова. При чем тут Иван Козловский и Иван Петров? У них с пятым пунктом все в порядке.

Аркадий Райкин, Быстрицкая, Плисецкая ... *Евреи!*... а, ну, отмежевайтесь от своих...

Давно уже ослиные уши российского антисемитизма не торчали так вызывающе. Над всей планетой. В голубой выси...

Утром принесли «Правду» с материалами пресс-конференции. Тексты речей были так обструганы, словно их до этого никто и не слыхивал. Зампредседателя Исполкома из Биробиджана рассказывал, к примеру, что у них есть Народный театр, который ставит Шолом-Алейхема на национальном языке. В «Правде» слова «на национальном языке» выпали. На национальном языке! Это на еврейском-то...

Генерал Драгунский сказал горестно, что двадцать четыре человека из его еврейской родни убиты фашистами. Подправила «Правда» дважды героя. Нечего выпячивать то, что фашисты убивали евреев...

«Назовите известных военачальников и дипломатов — евреев? Спросили из зала, и это слышал весь мир.

Слово «дипломатов» в «Правде» снято. Собственно, о каких евреях-дипломатах может идти речь? Об Урицком? О Володарском? О наркоме иностранных дел Литвинове? Вспомнили...

Послом в Данию только что назначен известный уже нам Егорычев, бывший первый секретарь Московского горкома партии. Послом в Алжир, который стал запасным аэродромом арабского мира — гибкий, с офицерской выправкой, учтивый Грузинов, бывший секретарь Фрунзенского райкома Москвы, который первым заломал мне руки. Неторопливо, со знанием дела. Чтoб знал свое место, жидовская морда!

Теперь он отправлен за пределы своей страны. Полномочным послом.

Почему-то все мои душители становятся послами. Пустья мне кровь, и — в послы. Чрезвычайные и полномочные.

... Горел небесным огнем экран телевизора, и, не скрою,

чудилось мне, не черные микрофоны перед огненными от стыда и натуги лицами соучастников, а страшная улика убийства — большие прорабские ботинки Саши Вайнера, которого предавали еще и еще раз...

Прошла неделя, и всем стало ясно, зачем нужна была эта телевизионная заставка. Волшебные картинки.

За волшебными картинками — разворачивалась в Египте ракетная дивизия Советской армии. За несколько часов до этого она выгрузилась в Александрии. Русские солдаты вступили в бой с Израилем...

Аркадий Райкин, Быстрицкая, Плисецкая... *Евреи!*... а, ну, отмежевайтесь от своих...

Подогретые подобными кампаниями, а, возможно, не только ими, оживились темные элементы.

На одной из московских улиц произошло нападение на дочь умерщвленного Сталиным Михоэлса. У дома ее ждала группа молодых людей в плащах болонья. Один, отнюдь не молодой, в выдавшей виды шляпе с порыжело-траурными полями, шепнул деловито: — Она!

Женщину ударили железной трубой.

В другом конце Москвы подобная «штурмовая группа» избил сына писателя Даниеля.

И, словно от блеска молнии, все озарилось и встало на свои места.

Вереница поруганных высветлилась перед моими глазами, как Млечный путь на ночном небе. Все, кто в последние годы наложил на себя руки, кого довели до инфаркта, затаптывали в грязь...

Господи, сколько нас, с мишенью на сердце! Уничтожаемых, как заложники...

«Заложники?!» — отозвалось во мне. Захотелось сказать самому себе — «чур-чур»... но как назвать иначе, как не поверить своим глазам, когда в отделы кадров институтов и учреждений начали приходить официальные документы, предупреждающие *против лиц, принадлежащих к национальности, государственное образование которой проводит недружественную политику по отношению к СССР.*

Потому и мертвы законы, охраняющие национальное достоинство евреев. Юридически, в глазах «рулевых» из кадровых учреждений, мы уже словно бы выдворены из Советского Союза: наше «государственное образование» не СССР, а — Израиль. По каким законам? В основу определения — наш человек или не наш — положена «чистота крови»...

Есть даже анкеты, в которых требуется указать отдельно национальность отца и национальность матери...

«Убирайся в свой Израиль!» — мне кричат это, чаще всего, уже не пьяные на улицах: ослабили приводные ремни газетной пропаганды; мне кричат это — правительственные чиновники, для которых я — нечистый... «Убирайся в свой Израиль!» — ежедневно, ежечасно твердят они мне, — своими делами, своими ухмылками, выталкивая перед собой припугнутых ими долматовских¹, чтобы они утверждали обратное... Воистину, бывали хуже времена, но не было подлей!...

Заложники, отвечающие спинами своими, чадами своими за лязг танковых гусениц в синайской пустыне; куда уйти нам от свиста плетей, от ухмылок расистов, от моря лжи страха ради?... Как спасти детей?

Заложники!

Кто-то из зарубежных коммунистов спросил недоуменно: «Что происходит?» На него прикрикнули с хрущевской бесцеремонностью: «Не лезьте в наши внутренние дела!» Вот уже несколько западных компартий обратились с запросами: «Что творят с интеллигенцией?» Тотчас в «Правде» появилась формулировочка, естественная во взаимоотношениях государств, но постыдная, иезуитская, когда идет речь о содружестве компартий, о борьбе с расизмом: «Давайте обсуждать то, что нас сближает, а не то, что разде-

¹ Поэт Долматовский, философ Минц и др. еще в 1953 г. «горячо одобрили» и подписали подготовленное в «Правде» письмо о высылке евреев в сталинские лагеря.

ляют». Словно коммунисты могут по-разному относиться к расизму, к палачеству, к гонениям на евреев и русских интеллигентов, как известно, приравненных к ним, вернее, всегда стоявших с евреями в глазах расистов в едином строю —

«Студенты, социлисты, евреи...»

«Юден унд комиссарен — шагнуть вперет. Шнель-шнель!»

... Рассорили одних коммунистов, отлучили от марксизма других, и газетная кампания задымила, ставя густую, как в сталинское время, завесу дезинформации; черную, непроницаемую, до первого ветра, завесу...

Бомба «Фантома» попала в арабскую школу, и «Правда» гневно и справедливо запротестовала против убийства детей. Три недели подряд наши газеты печатали снимки забинтованных арабских школьников, на которые нельзя было смотреть без содрогания, скорби, гнева; перечисляли фамилии и возраст пострадавших; все творческие Союзы клеймили убийство детей.

И это естественно в мире, где живут люди, а не волки.

Прошли две-три недели, не более, и арабские террористы из «Аль-Фаттах» устроили на границе Ливана засаду на рейсовый школьный автобус. Ехали дети, и это знали арабы, залегшие у дороги с русскими автоматами Калашникова. Они видели по кому открывают огонь. Тут не могло быть ошибки...

Десять еврейских детей было убито наповал, восемнадцать ранено.

Весь мир был потрясен заведомым рассчитанным убийством школьников.

Я торопливо развернул назавтра «Правду». Ни одной строки о злодеянии. Но, может быть, не успели? Согласовывали? Перенесли в следующий номер?

И на другой день ни слова. Даже не посетовали на жестокость войны, что ли... Не искали оправданий...

Ни слова.

Весь мир потрясло каменное молчание «Правды», «Известий» и других советских газет. Это их не поколебало.

Спустя неделю залп «Аль-Фаттах» из реактивных «Катюш» разорвал в клочья десятилетнюю девочку.

Теперь уж никто не удивлялся, что и об этом ни слова.

Русских, украинских, арабских детей нельзя убивать. Еврейских — можно. Это — дети неприятеля...

Любке Мухиной, некогда выдавшей Фиму в руки фашистов, и во сне не снилось, какие у нее появятся единомышленники.

... Пропитанная кровью земля забивает горло мое, мешает дышать, жить...

Так что же? Замолкнуть... как Саша Вайнер? Как полинины старики, сброшенные полициями в Ингулецкий карьер?... Сжечь себя, как Ян Палах?

Если бы это помогло...

Я мысленно спорю с убитым Сашей Вайнером. Я спорю с убитым дядей Полины. С какой бы яростью они схватились друг с другом, если бы встретились...

Они встретились на еврейском кладбище...

Меня не удалось уничтожить с первого залпа. Я по-прежнему ищу выхода. Ищу правды. Мучительно думаю — что делать?

А егорычевы уже все решили...

На меня глядят их холодные отдаляюще-насмешливые глаза, и в них ясно вижу — кто я...

Что ж, будь по-вашему, позор России, беда России. У меня действительно курчавые волосы и горбинка на носу... С точки зрения *зондеркоманды*, я — *юде*, это уж точно...

Пусть, в таком случае, я чувствую себя исконно-русским, все равно, рано или поздно, скажу, нет не скажу, вскричу, если во мне не умерло человеческое достоинство!

— Я — еврей!

Так вскричал некогда философ Бергсон в оккупированном Париже. Всемирно известный ученый чувствовал себя французом и в последние годы католиком, не раз говорил об этом. Но тут, под дулом фашистского автомата, он нашел в себе силы сказать:

— ... Я с теми, кого преследуют...

Еще ранее так поступила, как мы знаем, русская дворянка, дочь губернатора, записавшая себя еврейкой.

— Я с теми, кого травят!

И я не скажу другого, хотя еще несколько взмахов лопат, и «интернационалисты» насыпят надо мной могильный холм.

— *Я с теми, кого убивают, Россия! Я с теми, кого убивают...*

Москва, май 1970 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сергей ВАСИЛЬЕВ

БЕЗ КОГО НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО ¹

В каком году — рассчитывай,
в какой земле — угадывай,
на столбовой дороженьке
советской нашей критики
сошлись и зазлословили
двенадцать злобных лбов.
Двенадцать кровно связанных,
Нахальницей губернии,
уезда Клеветничьего,
Пустобезродной волости,
из смежных деревень:
Бестыжева, Облыжева,
Дубинкина, Корзинкина,
Недоучёнка тож.
Сошлись — и заспорили:
где лучше приспособиться,
чтоб легче было пакостить,
сподручней клеветать?
Куда пойти с отравой
всей дружною оравою —
в кино, в театр, в поэзию,
иль в прозу напрямик?

Кому доверить первенство,
чтоб мог он всем командовать,
кому заглавным быть?
Один сказал: — Юзовскому!
— А может, Борщаговскому? —
второй его подсек.
— А может Плотке-Данину? —
сказали Хольцман с Блейманом.
— Он, правда, молод, Данин-то,
но в тёмном деле — хват! —
Субоцкий тут натужился
и молвил, в землю глядучи:
— Ни Данину, ни Левину,
Ни Якову Варшавскому
я первенства не дам!
Хочу я сам командовать
такою шайкой-лейкою,
хочу быть главным сам!
— Ужо, куда отважился! —
вскричал Малюгин яростно, —
Не быть тебе начальником,
ни в жизнь не допущу!

¹ Антисемитская поэма члена Союза писателей СССР С. ВАСИЛЬЕВА «БЕЗ КОГО НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО», названная, в свое время «Энциклопедией погрома». Была публично прочитана автором в Союзе писателей, на одном из собраний 1949 года, и встречена аплодисментами и приветственными кликами. Наиболее полно представлена версткой журнала «КРОКОДИЛ», которая и приводится.

— А ты молчал бы, выродок! —
Малюгину вдруг Трауберг,
как ножик под ребро.

— Уж лучше Бояджиева
иль Оттена бывалого
заглавным посадить!
Нашёлся, тоже, выскочка,
ублюдок, прости господи,
тыфу, пакость, драмодел!

Космополит, он смолоду,
как старый бык: втемяшится
в башку какая блажь, —
колом её оттудова
не выбьешь: упираются,
всяк на своём стоит!
Такой скандал затеяли,
что думают прохожие,
советские читатели:
чай, клад космополитики
тут делят меж собой?
Идут и чертыхаются,
цитатами бодаются,
что дале, то сильней.
За спором не заметили,
как село солнце красное,
как дверь гостеприимная
открылась в ВТО,
как в «Литгазете», в «Знамени»
и в «Новом мире» в сумерках
заснули сторожа.

— Давай сюда! — с оглядкою
друг другу шепчут странники, —
скорей, скорей сюда!
Кто на чердак ударился,
по дымоходу снизился,
кто в дырочку, кто в щёлочку,
кто по трубе в окно.
Кто по верху вскарабкался,
кто внутрь прорвался по низу,
кто проскользнул ужом.
— Потом! — решили

странники, —
потом старшего выберем,
не время тут артачиться,

кто будет главным значиться,
доспорим опосля!

Как порешили странники,
охальники-бездомники,
так сей же час и сделали:
один проник в кино,
один на шею прозе сел,
другой прижал поэзию,
а остальные спрятались
в хорамах ВТО.
И зачали, и почали
чинить дела по-своему,
по-своему, по-вражьему,
народа супротив.
Юродствовать, юзовствовать,
лукавить-ненавистничать,
врагам заморским наруку,
друзьям Руси на зло.
У каждого начальника
по пять лихих сподручников,
по восемь заместителей,
по десять холуёв.
Один бежит за водкою,
второй мчит за селёдкою,
а третий, как ужаленный,
летит за чесноком.
За дёгтем двое посланы,
за сажей трое выгнаны,
а четверо, с ведёрками, —
за серной кислотой.
— Зачем нам проза ясная?
— Зачем стихи понятные?
— Зачем нам пьесы новые,
спектакли злободневные
на тему о труде?
— Подай Луи Селина нам,
подай нам Джойса, Киплинга,
подай сюда Ахматову,
подай Пастернака!
— Поменьше смысла здорового,
в больше от лукавого,
взамен двух тонн свежатины
сто пять пудов тухлятины
и столько же гнильцы!

Один удар по Пырьеву,
 другой удар по Сурову,
 два раза по Недогонову,
 щелчок по Кумачу.
 Бомбёжка по Софронову,
 долбёжка по Ажаеву,
 по Грибачёву очередь,
 по Бубеннову залп!
 по Казьмину, Захарову,
 по Сёмушкину Тихону,
 пристрелка по Вирте.
 Статьи строчат погромные,
 проводят сходки тёмные,
 зловердные отравные
 рецензии пекут.
 Жиреют припеваючи,
 друг другом не нахвалятся:
 — Вот это мы! Молодчики!
 Какие гонорарищи
 друг другу выдаём!
 Спешат во тьме с рогатками,
 с дубинками, с закладками,
 с трезубцами, с трегубцами
 в науку, в философию,
 на радио, и в живопись,
 и в технику, и в спорт.
 Гуревич за Сутыриным,
 Бернштейн за Финкельштейном,
 Черняк за Гоффенштефером,
 Б. Кедров за Селектором,
 М. Гельфанд за Б. Руниным,
 за Хольцманом Мунблит.
 Такой бедлам устроили,
 так нагло распоясались,
 вольготно этак зажили,
 что зарвались вконец.
 Плюясь, кичась, юродствуя,
 открыто издеваясь

над Пушкиным самим,
 за гвалтом, за бесстыдною,
 позорной, вредоносною,
 мышиною вознёй
 иуды-зубоскальники
 в горячке не заметили,
 как взял их крепко за ухо
 своей рукой могучею
 советский наш народ!
 Взял за ухо, за шиворот,
 за руки загребущие,
 за бельма завидущие —
 да гневом осветил!

* * *

В каком году — рассчитывай,
 в какой земле — угадывай,
 на столбовой дороженьке
 советской нашей критики
 вдруг сделалось светло¹.
 Вдруг легче задышалось,
 вдруг радостней запелосся,
 вдруг пуще захотелось
 работать во весь дух,
 работать по-хорошему,
 по-русски, по-стахановски,
 по-пушкински, по-репински,
 по-ленински, по-сталински,
 без устали, с огнём.
 Писать, душою радуясь,
 творить, сил не жалеючи, —
 и всё во имя Родины,
 во имя близкой, завтрашней
 зари коммунистической,
 во имя правды утренней,
 во имя красоты.

¹ «... вдруг сделалось светло». Автор имеет в виду события, которые привели к полному изгнанию из литературы русских писателей и критиков (евреев по «пятому пункту»), и расстрелу еврейских писателей, членов Антифашистского комитета.

Поэтический урвень «Энциклопедии», по-видимому, в комментариях не нуждается...

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР

УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС
РСФСР

*Официальный текст
с изменениями и дополнениями
на 21 мая 1970 г.
с приложением
постатейно-систематизированных
материалов
(издание второе,
стереотипное)*

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва — 1971

Статья 74. Нарушение национального и расового равноправия

Пропаганда или агитация с целью возбуждения расовой или национальной вражды или розни, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности —

наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН
И РАЗРАБОТКЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

КОММЕНТАРИЙ *
К УГОЛОВНОМУ
КОДЕКСУ РСФСР

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Москва — 1971

* Благодаря этому КОММЕНТАРИЮ, статья 74 УК РСФСР, как правило, не применяется, что, наряду с внесудебными мерами, полностью блокирует статью КОНСТИТУЦИИ СССР о равноправии рас и наций.

Статья 74. Нарушение национального и расового равноправия

1. Пропаганда или агитация с целью возбуждения расовой или национальной вражды или розни заключается в распространении устно, письменно, в печати либо иным образом *среди более или менее широкого круга лиц* взглядов, идей, которые вызывают или могут вызвать враждебное, неприязненное, пренебрежительное отношение этих лиц к какой-либо национальности или расе.

При этом имеется в виду распространение взглядов, которые направлены на возбуждение такого отношения именно к нации или расе как таковой либо к ее представителям в связи с их национальной принадлежностью.

Действия, направленные на унижение чести и достоинства отдельного лица в связи с его национальной принадлежностью, могут образовывать состав оскорбления, а дерзкие и циничные действия в общественных местах — злостного хулиганства¹.

2. Рассматриваемое преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Виновный сознает, что внушает другому лицу или лицам взгляды или идеи, которые вызывают или могут вызвать враждебное отношение к какой-либо национальности или расе, и желает наступления этих последствий.

Аналогичные действия, совершаемые в целях подрыва или ослабления Советской власти, образуют преступление, предусмотренное ст. 70.

3. Ограничение прав граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности означает, что виновный пытается устанавливать ограничения для тех или иных лиц в силу их принадлежности к определенной нации или расе, а не по причине каких-либо индивидуальных личных качеств этого лица.

Правоограничение может быть прямым, когда его установление прямо мотивируется национальной или расовой принадлежностью лиц или лица, или косвенным, когда, например, устанавливаются преимущества для представителей какой-либо нации в ущерб другой, хотя прямая мотивировка этого действия отсутствует.

4. Установление преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности означает, что тем или иным лицам ввиду их принадлежности к той или иной национальности или расе предоставляются преимущества при приеме на работу, в учебные заведения и т.д. Как и правоограничения, преимущества в правах могут предоставляться группе лиц или отдельному лицу и иметь прямой или косвенный характер.

¹ См. «Бюллетень Верховного Суда СССР» 1971 г. № 1, стр. 30-31.

ПОЧЕМУ¹?

Я подаю заявление о выезде на постоянное жительство в Израиль. Возможно, более не нужно никаких объяснений: на моей стороне закон. Закон о воссоединении семей.

Но в России остаются мои друзья, которые вправе услышать не только о родственниках в Израиле. К тому же и ОВИР УМВД СССР и другие официальные лица, как я слышал, интересуются не одними лишь анкетными обстоятельствами. Озабочены взрывом национальных чувств евреев.

Надеюсь, что мои документы, как и мое Объяснение, прочтут не только лица, восторженно встретившие романы Ивана Шевцова, или канцеляристы, у которых, по словам русского классика, ЗУБЫ ВЫШЕ ГОЛОВЫ.

Потому постараюсь быть сдержанным.

Каковы же дополнительные причины (назовем их так), которые заставили меня, человека русской культуры, более того, российского писателя и специалиста по русской лите-

¹ «ПОЧЕМУ?» Объяснение причин отъезда из СССР. Официальный документ, врученный Секретарю м.о. Союза писателей РСФСР В.Н. ИЛЬИНУ 1 ноября 1971 года, 10 ноября того же года документ был рассмотрен на заседании закрытого СЕКРЕТАРИАТА Союза писателей РСФСР (м.о.), и Григорий СВИРСКИЙ был исключен из Союза писателей СССР.

ратуре, ощутить себя евреем и принять необратимое решение уехать, вместе с семьей, в Израиль.

Приведу, прежде всего, главное и неоспоримое свидетельство, понятное всем, но наиболее близкое тем, для кого язык — профессия.

Языковые новшества, неологизмы, утвердившиеся в речевой стихии, как известно, документируют явление точнее и бесспорнее любых документов. Язык — это, пожалуй, единственный исторический документ, который еще никому не удавалось подделать. Даже самым искусным мастерам.

В русском языке широко распространилось непонятое, на первый взгляд, словосочетание: П Я Т Ы Й П У Н К Т.

Казалось бы, ничего особенного сей канцеляризм не означает: п я т ы й п у н к т издавна существующей анкеты — это национальность. Но кому не известно, когда о ком-либо говорят: «Он с пятым пунктом» или «у него пятый пункт», никто не переспрашивает, о чем речь. Ни русские, ни украинцы, ни армяне. Все в курсе дела.

Великий родной язык! Ни страх ему не ведом, ни ханжество, ни корысть. Вечное шило в мешке...

«Пятый пункт»... Я приложил много душевных и физических сил, чтобы изменить обстоятельства, о которых спокойно и для меня, писателя, неопровержимо свидетельствует русский язык.

Я пытался воздействовать СЛОВОМ.

Мне ответили ДЕЛОМ.

Вот — только документы:

«В Секретариат м.о. Союза писателей РСФСР.

От Григория Свицкого.

С 1965 г., после моего выступления на писательском собрании (речь идет о выступлении против антисемитизма — Г.С.) выход моих запланированных к изданию книг стал отодвигаться с году на год.

С 1968 г. сразу же во всех издательствах, журналах и на

Мосфильме были остановлены все мои книги, сценарий, рассказы.

В издательстве «Советский писатель», чуть ранее, был рассыпан набор моего романа «Государственный экзамен» (40 авт. листов), разрешенного к печати всеми инстанциями вплоть до Главлита (16-1-68 г.).

Воениздат даже приостановил печатание в Лейпциге сборника, чтобы выдрать оттуда четыре странички моего рассказа.

С 1964 года, вот уже семь лет, не издается ни одно мое слово. Я фактически вычеркнут из списка живых литераторов.

Нет почти ни одного руководителя Союза писателей, который не пытался бы мне помочь...

Ненависть, увы, активнее доброжелательства...

Хочется верить, что Секретариат м.о. Союза писателей, на своем заседании, выступит против медленного, но последовательного убийства члена Союза писателей Григория Свирского. Предотвратит это убийство.

28 апреля 1970 года».

Последовало два немедленных и категорических Постановления Секретариатов СП СССР и Московского отделения СП РСФСР (от 29-IV-70 г. и 30-IV-70 г.).

«Просить... оказать содействие товарищу Свирскому Г.Ц.» (в деле заключения договора на новый роман — Г.С.).

«Поручить Секретариату Московской писательской организации оказать содействие в устройстве на штатную работу...»

«Поручить... содействовать... просить...»

Ненависть, увы, активнее доброжелательства.

Спустя полгода на столы руководителей Союза писателей С. Михалкова и С. Наровчатова легло еще одно письмо:

«... Ничего не сделано. Решения Союза писателей полностью игнорированы издательскими работниками, к кото-

рым обращались... (следует перечисление большинства руководителей Союза писателей — Г.С.).

Я не желаю пользоваться подачками Литфонда. Я не инвалид, а здоровый, полный сил и творческих планов писатель.

... Если Вы, руководители СП, бессильны что-либо изменить, что же, скажите об этом прямо.

Григорий Свирский.

10 декабря 70 г.»

Еще один ДОКУМЕНТ, направленный по запросу Союза писателей:

В творческое объединение прозаиков м.о. ССП РСФСР
От Свирского Г.Ц.

На Ваш запрос отвечаю...

Ходатайства Союза писателей ни к чему не привели.

Как буду жить дальше, не знаю...

12-ХІ-71 г.»

Пожалуй, достаточно документов. Тем более, что они вызвали реакцию, прямо противоположную той, на которую я рассчитывал. Кто-то позаботился о том, чтобы мое имя было выброшено даже из только что вышедшего 6-го тома «Литературной энциклопедии». Чтоб и духа Свирского не было в русской прозе!

Нужно ли что-либо добавлять?

В сталинские времена существовала такая практика — лишать неугодного писателя «огня и воды». Минимум на год-два. Чтоб поразмышлял на пустой желудок.

Меня «отлучили» от читателя, как видим, не на год-два. Блокада продолжается *СЕДЬМОЙ ГОД*.

Седьмой год, впрочем, это уже не блокада. Это — ци-

ничное внесудебное преследование. Среди бела дня. Насмерть!

Каждая антисиионистская кампания, понимаемая иными, как антисемитская, подливала масла в огонь.

Это возмущало моих товарищей-писателей. Но — не удивляло...

В самом деле, коль издатели позволили себе трижды издать за последние годы погромные романы Ивана Шевцова, вызвавшие официальное осуждение;

или, к примеру, стихи юного Ивана Лысцова, вроде следующих:

«... А кто-то душу править хочет,
Смешно картавя в слове «Русь»!¹

или — книгу философа В. Мишина «Общественный прогресс»², в которой тот приветствует решительное, на 1/3, сокращение — среди специалистов с высшим образованием — удельного веса евреев, а идеалом считает процентную норму, к тому же меньшую, чем при Александре III;

коль издатели позволили себе такое, то нетрудно представить, как они начали относиться к иным авторам-евреям, тем более, евреям, протестующим против антисемитской литературы.

— Если даже имя мое не может появиться в газете, — в конце концов вынужден был я сказать недавно главному редактору «Литературной газеты», когда из готовых и подписанных к печати полос выхватили, по чьему-то звонку, два моих «подвала» об ученых Норильска, — если даже имя мое под строжайшим запретом, и это продолжается седьмой год, значит, — тут не может быть никаких сомне-

¹ Иван Лысцов. «Доля», изд. «Московский рабочий», 69 г., стр. 93, с восторженным предисловием А. Югова (Сноска автора — Ред.).

² В.И. Мишин, «Общественный прогресс», Волго-Вятское изд., Горький 1970 г. (Сноска автора — Ред.).

ний, — МЕНЯ УБИВАЮТ ИЛИ ВЫТАЛКИВАЮТ ИЗ СТРАНЫ...

Кандидат в члены ЦК КПСС, Секретарь Союза писателей Александр Чаковский, фигурально выражаясь, развел руками.

Как ранее, Секретарь СП РСФСР С. Михалков.

А еще ранее Секретарь СП СССР С. Сартаков.

А до этого Секретарь м.о. СП РСФСР В. Ильин и т.д. и т.п.

... УБИВАЮТ ИЛИ ВЫТАЛКИВАЮТ ИЗ СТРАНЫ!

Я выбираю второе.

Но, может быть, я преувеличиваю? Имею ли я право, в официальных документах, называть семилетнюю блокаду писателя — убийством?

Убийство есть убийство.

Имею ли право, допустим, обратиться к Генеральному Прокурору СССР или Председателю Президиума Верховного Совета СССР с обвинениями таких-то лиц в убийстве? Тем более, злостном, заранее предумышленном? Потребовать расследования...

Ведь все же не сумели убить!

Это верно. Но всем известны недавние прецеденты, когда судили за н а м е р е н и е. И — осудили.

Что же? Требовать суда, на основании прецедента? Год за годом? Или, по крайней мере, признания того, что я имел право говорить об антисемитах?

Но ведь мне никто и не возражал...

Высший контрольный орган КПСС, Комитет партийного контроля при ЦК КПСС под председательством Члена Политбюро т. Пельше, официально подтвердил, что я имел все основания публично назвать главного редактора журнала «Дружба народов» Вас. Смирнова шовинистом и антисемитом.

А до этого Секретарь ЦК КПСС по идеологии т. Демичев заявил (27 октября 1965 г.) в присутствии более, чем тысячи писателей Москвы, что Григорий Свирский своевременно поднял вопрос об антисемитизме.

... Первой не вынесла многолетней травли моя жена, единственный, в последнее время, кормилец семьи; измученная интенсивностью преследований, безденежьем, нехватками самого необходимого, она тяжело заболела.

Появилась горечь и в глазах шестнадцатилетнего сына: на его глазах расправлялись с отцом.

... Я больше не желаю ни объясняться, ни жаловаться. Мне больше не о чем говорить и с чиновными доброжелателями из Союза писателей: добрыми намерениями вымощена дорога в ад.

Навязывать свою любовь тем, кто тебя отвергает, да что может быть оскорбительнее! Насильно мил не будешь, говорит мудрость русского народа.

Нет, я не изменил своих убеждений: не перестал любить землю, за которую пролил кровь, своих друзей, русскую языковую стихию, которая стала моей жизнью, моей судьбой.

Я — бывший солдат России, четыре года не выходявший из боя; в свой блокнот сорок первого года, где отмечал боевые вылеты моего старенького «С.Б.», я вписывал строки погибшего поэта Павла Когана, ощущая их как свои: «... Я воздух русский, я землю русскую люблю!»

В те дни моим родным выстрелили в затылок, потому что они — евреи. Парубки из «Вильной Украины» привели полицаяв к хате, где прятался четырнадцатилетний Фима, брат моей жены. И мальчонку сбросили в Ингулецкий карьер — вслед за его отцом, и матерью, дедом и бабушкой. Парубки из «Вильной Украины» бежали за фурой, увозившей Фиму и родителей жены на смерть, и кричали: «У них еще дочка есть в Москве! Комсомолочка!»

Теперь Фимой зовут моего сына...

Я — русский писатель, я был убежден в этом. Именно как русского писателя меня приняли в Союз писателей СССР. Но в 1965 г., когда я начал протестовать против антисемитизма главного редактора журнала «Дружба народов» Вас. Смирнова, почтенные пожилые дамы из официальной комиссии вскинулись в ярости, теряя остатки почтенности:

— Как это может быть, чтобы русский писатель и — еврей? ¹

Так и вскрикивали, сердечные, открытым текстом, в присутствии представителя писательского парткома. Чего стесняться в своем отечестве!...

После первого «разбирательства», помню, я бросился за город, в лес, подальше от людей, и пьяный в электричке вдруг сорвал досаду на мне:

— Расселся, как у себя, в Израиле! Недорезал вас Гитлер!

Я уже шесть раз водил таких, как он, в милицию, и шесть раз дежурные офицеры опрашивали меня: «Как запишем?... Антисемитизм?! Ну, этого у нас нет! Давайте запишем: «дебоширил» или «приставал». Это для суда — верное дело...»

Я — россиянин. Так я думал много лет. У меня были на то основания: Россию защищал не только я. Еще мой прадед, дед Гирш, кантонист, николаевский солдат, раненный почти сто тридцать лет назад, во время первой обороны Севастополя. Он прослужил в русской армии двадцать пять лет, мне дали имя в честь него.

Я — коренной россиянин, считал я. Но на меня взирали холодные, отдаляюще-насмешливые глаза... к примеру, «зав. культурой» Соловьевой, заявившей во всеуслышание, что она «разделяет взгляды Вас. Смирнова» ², и я видел в них, кто я...

Достаточно. У каждого человека есть свой «лимит» терпения. У меня он иссяк. Только что, 29 сентября 1971 года, мне исполнилось пятьдесят. Пора перестать жить с ощущением мальчика в автобусной давке. Нос у мальчика на уровне локтей. Кто ни двинет локтем, у мальчика нос в крови...

¹ Стенограмма общего собрания писателей г. Москвы от 20-ХII-1966 г. (Сноска автора — Ред.).

² Стенограмма общего собрания писателей г. Москвы от 20-ХII-1966 г. (Сноска автора — Ред.).

Я не хочу быть ни самым высоким среди равных, ни самым низким среди равных.

Я хочу быть равным.

И хватит мне литературных черносотенцев с их откровенными книгами или высказываниями.

Воинствующие антисемиты, надеялся я, уйдут вместе с поколением смирных.

Лысцовых мне не переждать.

Хватит с меня и пьяных трамвайных хулиганов, с их присловьем: «Гитлер вас недорезал!» и «Убирайся в свой Израиль!»

Пусть они не составляют и ничтожной доли народа, можно даже сказать, что они нетипичны. Человеку не легче, когда ему в лицо плюет нетипичный. Плевок зато типичный.

Я больше не могу видеть их самодовольных лиц, преисполненных чувства превосходства. Не желаю убивать на них ни свое, ни чужое время.

Но, в таком случае, надо быть последовательным...

— Убирайся в свой Израиль! — кричали и кричат мне пьянчуги.

«Убирайся в свой Израиль!» — видел я в глазах людей, восклицавших: «Как это может быть, чтобы русский писатель, и — еврей?!»

«Убирайся в свой Израиль!» — как эхо, слышалось мне в кабинетах вежливых главных редакторов, которые семь лет подряд не могли, как они выражались, «отстоять» моих книг, сценария, статей, рассказов. «Убирайся в свой Израиль!» — слышится мне порой в их уважительно-печальном: до свиданья.

«Убирайся»?! Спасибо, дорогие, я — готов!

Но почему же тогда задерживали, прятали вызов, необходимый для отъезда?

Вызов, посланный моей семидесятилетней матери (от 9 июля 1971 года), получен (№ 11600/71). Правда, не сразу и в искромсанном с дырой посередине конверте; вместе с посильным извинением местного почтового отделения: «Данное письмо прибыло в поврежденном виде».

Вызов, в тот же день отправленный мне, жене и сыну, задерживался более трех месяцев.

Я был вынужден снова и снова запрашивать вызовы, отправления которых каждый раз официально подтверждались братом...

Зачем, с какой целью задерживались вызовы?

У классика еврейской литературы Шолом-Алейхема есть строки о собаке, зажатой дверью. Собаку пинают сапогом, бьют палкой, улюлюкают, чтоб она пулей вылетела за дверь. И... одновременно притискивают дверью, чтобы не могла уйти от побоев. Чем сильнее пинки, тем сильнее прижимают дверью ее изувеченное тело.

Шолом-Алейхем сравнивал собаку, зажатую дверью, с евреями России. В юности сравнение не казалось мне точным: в его время каждый, желавший уехать, мог выправить себе паспорт. В ближайшем полицейском участке. Что имел в виду писатель под давящей дверью? Нищету? Черту оседлости?...

Классик провидел будущее?

Несчастной собаке, не пришедшейся ко двору, поддают сапогом. А другие, из соседнего ведомства, наваливаются на дверь посильнее. Чтоб не выскочила. Чтоб бить и улюлюкать. Улюлюкать и бить. Под ребра. В кровь. И давить, давить железной дверью.

Какой высокий гуманизм!

Естественно, как и всякое деяние, он имеет имя, отчество и фамилию. Этим займется время.

Что же касается меня, то я хочу стать израильским писателем. Постичь истоки нравственного здоровья веками гонимой нации. Окунуться в кипень жизни, которую уже нельзя, ни замолчать, ни оболгать, ни истребить...

Потому незачем отныне убеждать меня — голодом и травлей — «убирайся в свой Израиль!» Намек понят.

Пусть я не знаю иврита и, возможно, никогда уж не смогу овладеть им настолько, чтобы писать книги на нем, пусть я навсегда останусь человеком русской культуры, со всеми признаками ностальгии, которые знает цивилизация, все

равно перед острыми локтями «дозволенной» подлости, скажу, нет, не скажу, — вскричу, если во мне не умерло человеческое достоинство:

— Я — еврей!

И останусь им, пусть даже покушавшиеся на убийство писатели вдруг сменят гнев на милость.

Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь, учит русская классика.

Однако, хватит метафор. Постараюсь быть предельно точным в выражении своих взглядов: я больше н е в е р ю в ассимиляцию евреев в России. По крайней мере, значительной части евреев.

Причины этого мною высказаны: «ПЯТЫЙ ПУНКТ». Сколько раз я мечен им!

А возможна ли... ассимиляция меченых?

Возможна мимикрия. Мимикрия — не для меня.

Я — еврей.

И, решив это для себя, — окончательно и бесповоротно, — я хочу, я имею право жить так, как живет каждый из вас, русских, украинцев и т.д. — без «пятого пункта». Среди своего национального большинства.

Это мое законное, освященное советской Конституцией право, противодействовать которому может только расизм.

ПАРИЖСКИЙ ТРИБУНАЛ

(март-апрель 1973 года)

Под судом трибунала — советский государственный антисемитизм.

Свидетели обвинения Лауреат Нобелевской премии Президент Рене КАССЕН, Главный раввин Франции КАПЛАН, писатель Григорий СВИРСКИЙ и другие.



РАСИСТСКАЯ ФАЛЬШИВКА, ИСКАЖАЮЩАЯ УЧЕНИЕ ЛЕНИНА

Советское Информационное Агентство в Париже уличено в преступном распространении ложных сведений. Пытаясь обличить политику Израиля, журнал «СССР» — орган Советского Посольства в Париже опубликовал клеветническую статью — «Школа мракобесия» на основании которой ЛИКА (международная лига по борьбе с антисемитизмом и расизмом) вызвала на суд редакцию

указанного журнала с обвинением в пропаганде расовой ненависти. Адвокаты ЛИКА — Роберт Бадинтерн и Жерар Розенталь прибегли при этом к сенсационному свидетельству писателя Григория Свирского — участника второй мировой войны в рядах Советской Армии (а ныне — гражданина Израиля).

(L'Express, 2-8 апреля 1973)

Париж.

«В СССР ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕЕ УЧЕНИЯ МАРКСА»

Русский писатель Григорий Свирский... против господина ЛЕГАНЬЕ — главного редактора журнала «СССР», издаваемого Советским Информационным Агентством в Париже.

Возможно, что читателям газеты «Le Monde» уже известно содержание бичующей речи Свирского против цензуры, произнесенной на собрании советских писателей 16 января 1968 г., речи,

из-за которой Свирский был исключен из Коммунистической партии три месяца спустя (см. Le Monde от 28 и от 29 апреля 1968 г.). Но отметим при этом, что он протестовал уже тремя годами ранее против государственного антисемитизма и угнетения национальных меньшинств, и что на западе этот протест остался незамеченным...»

(«Le Monde», 8-9 апреля 1973)

НЕСЛЫХАННОЕ ДЕЛО ВО ФРАНЦУЗСКОМ СУДЕ

Бюллетень Советского Посольства в Париже опубликовал антисемитскую статью, пользуясь материалами, опубликованными в царской России в 1906 году.

«Французская пресса еще никогда не публиковала столь антисемитского текста» — вот общее мнение всех французских газет по поводу статьи «Израиль-школа мракобесия», напечатанной в брошюре «СССР» — органе Советского Посольства в Париже. Под предлогом обличения политики Израиля эта статья является в действительности клеветой на весь еврейский народ на основании злостно искаженных текстов религиозных книг...

Процесс является первым в истории применением закона от первого июня 1972 года. На приговор суда, который будет вынесен в будущий вторник в семнадцатой камере Парижского Гражданского Суда, отзовётся с волнением всё общественное мнение Франции, т.к. причиной дела является поступок, вызывающий чувства презрения, стыда и недоумения, — так пишет о процессе Парижская газета «Ле Монд». Надо отметить, что всё это грязное дело нас многому научит, и что его следует принять всерьёз по двум важным причинам:

Первым делом из-за источников пропаганды, а во-вторых — из-за тех комментариев к процессу, которые были опубликованы в Бюллетене «СССР» 21 марта,

через шесть месяцев после появления статьи «Израиль-школа мракобесия».

Дело касается странных «пояснений», которые не разъясняют, а только затуманивают сущность дела. Утверждая, что «Бюллетень» вовсе не занимался антисемитской пропагандой, и, признавая «недопустимыми» обобщения, явствующие из статьи, вызвавшей процесс, автор «пояснений» заявляет, что в тексте «Израиль-школа мракобесия» все якобы основано на оригинальных текстах еврейских религиозных писаний. Но случилось неожиданное и почти театральное событие: на суд явился писатель Григорий Свирский, бывший авиатор Советской армии, ныне проживающий в Израиле, с доказательствами того, что антисемитская статья, опубликованная органом Советского посольства в Париже, ничуть не использует какие-либо религиозные материалы, а точно копирует отнюдь не религиозную книгу некоего Россова, опубликованную в Санкт-Петербурге в 1906 году перед кровавыми погромами на юге России. Название книги — «Еврейский Вопрос». Под главным заголовком красуется следующая надпись: «О невозможности предоставления полноразрешения евреям».

Но сравним оба текста — старый и новый: —

Текст советского бюллетеня «U.R.S.S.», Paris, 22.9.1972, p. 9. (Перевод с французского)

1) «Мир принадлежит сынам всемогущего Еговы, причем они могут пользоваться любой маскировкой. Все имущества инаковерующих принадлежат им лишь до времени, до момента их перехода во владение «избранного народа». А когда избранный народ станет многочисленнее всех других народов, «Бог отдаст их ему на окончательное истребление.»»

2) «Вот конкретные правила, определяющие отношения иудеев ко всем другим людям, презрительно именуемых ими «гоями», «акумами» или «назореями».

3) «Акумы не должны считаться за людей» (Орах-Хайим, 14, 32, 33, 39, 55, 193)

4) «Иудею строго запрещается спасать от смерти акума, с которым он живет в мире.»

5) «Иудею воспрещается лечить акума даже за деньги, но ему дозволяется испытывать на нем действие лекарств.» (Иоре-Дея, 158).

6) «Когда иудей присутствует при кончине акума, он должен этому радоваться.» (Иоре-Дея, 319, 5)

7) «Уделять что-нибудь хорошее акуму или дарить акуму что-нибудь является великим святотатством. Лучше бросить кусок мяса собаке, чем дать его гою.»

Текст черносотенца Россова (Санкт-Петербург, 1906), стр. 15.

1) «Мир, по учению Шулхан-Аруха, должен принадлежать евреям и они, для удобства обладания этим миром, могут надевать на себя «какие угодно личины». Собственность «гоев» принадлежит им только временно, до перехода в еврейские руки. А когда еврейский народ будет превышать численностью другие народы, то «Бог отдаст им всех на окончательное истребление.»

2) «Вот буквальные правила из некоторых параграфов «Шулхан-Арука», определяющие отношения евреев к гоям, акумам или назореям (эти названия означают христиан-иноверцев).»

3) «Акумы не должны считаться за людей» (Орах-Хайим, 14, 32, 33, 39, 55, 193).

4) «Еврею строго запрещается спасать от смерти (положим-утопает) даже такого акума, с которым он живет в мире.»

5) «Согласно с этим, запрещено еврею лечить акума даже за деньги, но «дозволено испытывать на нем лекарство — полезно ли оно» (или вредно?). (Иоре-Дея, 158)

6) «Когда еврей присутствует при смерти акума, должен радоваться такому событию» (Иоре-Дея, 340, 5)

7) «Уделить что-нибудь хорошее на долю акума или дарить что-нибудь акуму считается большим грехом. Лучше бросить кусок мяса собаке, чем дать его гою.»

(Хошен-га-мишнат, 156, 7) «Однако, дозволяется давать милостыню бедным акумам или навещать их больных, чтобы они могли думать, будто иудеи их добрые друзья. (Иоре-Дея,» 151, 12)

(X. Мишнат, 156, 7). «Однако можно иногда подавать милостыню бедным из акумов или навещать их больных, чтобы они могли думать, будто еврей-хорошие друзья для них». (Иоре-Дея 151, 12)

Эти отрывки¹ достаточно красноречиво указывают на то, какими источниками пользовалось Советское посольство в Париже.

При этом следует заметить, что в вопросе пропаганды ра-

сизма существуют другие аспекты, находящиеся в силу вещей вне компетенции французского судопроизводства. Статья «Израиль-школа мракобесия» была опубликована, как известно — 22 сен-

¹ Подобные отрывки, как читатель увидит из сопоставления на следующих страницах оригиналов, идентичны не только по духу, концентрации ненависти, не только по содержанию и стилю, но даже по расположению цитат. И черносотенец Россов, и «Бюллетень» Советского посольства цитируют «древние источники», к примеру, в таком порядке: «Орах Хаим», 14, 32, 33, 55, 193... Слова «древние источники» взяты в кавычки, потому что и Россов и «Бюллетень СССР» цитируют не сами древние тексты, а их перевод на русский, сделанный известным России Шмаковым. Шмаков не только перевирал оригинал, но и добавлял от себя целые абзацы. Скажем, в древнем тексте сказано (Закон № 1): «... даже отдавать под заклад или на хранение акуму верхнее платье с кистями (т.е. предмет культа. Г.С.) воспрещается, за исключением разве того случая, когда оно дано на короткое время.»

В переводе Шмакова добавлено: нельзя отдавать, т.к. «акум может обмануть еврея, говоря, что он тоже еврей. Если бы тогда еврей доверился ему и один отправился бы с ним путешествовать, то акум убил бы его.»

Закон № 2: «Все, что еврею по обряду необходимо для богослужения, как, например, упомянутые выше кисти и т.п. может изготовлять только еврей, а не акум». Шмаковым добавлено: «... акумы же не должны рассматриваться евреями, как люди»... И сноску приписал Шмаков, чтобы не сомневались: «Шулхан Арух, Орах Хаям, 14, 1.»

Фальсификация Шмаковым древних текстов исследована многими учеными, в том числе Н.А. Переферковичем (изд. «Разум», С. Петербург, 1910 г.). Автор статьи в «Бюллетене СССР», как видим, в самые древние тексты даже не заглянул. Опирался исключительно на Россова, который, в свою очередь, исходил из «новейшего перевода» Шмакова, вдохновителя всех кровавых погромов в России начала века.

Г.С.

тября 1972 года, но другие подобные тексты, также якобы почерпанные из религиозных источников и содержащие те же едва измененные фразы Россова были напечатаны по инициативе «Агентства Печати Новости» одновременно в Лондоне и в Риме (в первом случае 11 октября 1972 года, а во втором случае — 12 октября того же года). Неважно, писал ли эти тексты Занденерг в Париже, Хабибеллин в Лондоне или Ребров в Риме, — все равно их автора зовут совсем иначе, ... — важно то, что судебное дело в Париже по всей вероятности нарушило чьи-то планы организации антисемитской агитации крупного международного масштаба. Неда-

«... Доказательства вызвали сенсацию. Виднейшие французские газеты опубликовали выступление Свирского на суде.

«У антисемитов нет воображения» — писала газета «Ле Монд...»

ром господин Бадинтер, адвокат Общества ЛИКА, заметил в связи с процессом: «Грустно, что подобное дело исходит из России и радостно то, что осуждение происходит во Франции»...

«Всё это служит распространению темной и дикой ненависти к евреям. Этим отвратительным делом заняты не только негодяи из «Черной сотни»... миллионы, миллиарды рублей уходят на это дело отравления народного сознания»...

Автор этого текста — Ленин. И грустно, что Советский Союз учится теперь не у Ленина, а у Россова!»

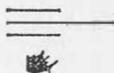
«Le Soir», 22-24 апреля 1973.

Интересно отметить поведение коммунистической газеты «Юманите». Она опубликовала отчет о суде, но без свидетельских показаний Свирского.»

«Давпр», 29.4.73 г., Израиль.



U.R.S.S.



BULLETIN ÉDITÉ PAR LE BUREAU SOVIÉTIQUE D'INFORMATION

8, RUE DU PRONY, PARIS-17^e - ☎ 227.06-18

Nouvelle série n° 4 307

22 septembre 1972

SPORTS
CULTURE ET ARTS
SCIENCE ET TECHNIQUE
SUPPLÉMENTS DU BULLETIN :

S O M M A I R E

SOVIET SUPREME: LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

* Utiliser au mieux les possibilités offertes par la société socialiste.

- LES POUVOIRS, LES DROITS, LES DEVOIRS DU DÉPUTÉ SOVIÉTIQUE

* La loi sur le Statut des députés aux Soviets a été adoptée.

- L'ÉLECTION DE LA COUR SUPRÊME DE L'U.R.S.S.

* Lev Smirnov est élu président

- UN NOUVEAU MINISTÈRE

* Celui de la construction d'entreprises du pétrole et du gaz.

O.N.U.: LA NOUVELLE SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

* Assurer la poursuite de la détente

VIETNAM: UN PROGRAMME DE PAIX

* C'est le sens des propositions du G.R.P.

- SOLIDARITÉ AGISSANTE

* La journée des dignes

U.R.S.S.-IRAK: LES RELATIONS D'AMITIÉ

ISRAËL: L'ÉCOLE DE L'OBSCURANTISME

p. 9

CHINE: LA SITUATION DE LA CLASSE OUVRIÈRE

REPRODUCTION AUTORISÉE

En cas de publication, même partielle, prière de mentionner la source et de nous adresser un justificatif.



С. Россевъ.

ЕВРЕЙСКІЙ ❁ ❁

❁ ❁ ВОПРОСЪ.



О невозможности предоставленія полноправія евреямъ.

4-е изд. (популярное), съ значит. дополненіями.

*Душой и свѣтлымъ вся-
кимъ плечемъ опредѣляется его
муженіе среди другихъ на-
родностей.*



15 к.

С.-ПЕТРБУРГЪ.

Типографія Воейкова, Бассейная, 3.

1906.

L'ECOLE DE L'OBSCURANTISME *

Deir Yassine est le Song-My israélien. Un massacre sanglant y fut déclenché à l'aube du 9 avril 1948. Des hordes de sionistes israéliens de l' « Irgun Swet Leumy » et du « Stern » firent irruption dans le village, incendièrent ou détruisirent toutes les maisons, massacrant sans distinction tous les Arabes qui le peuplaient : femmes, enfants, vieillards, hommes...

On assiste aujourd'hui à une prolongation de la tragédie de Deir Yassine sur les terres arabes occupées du Liban, de la Syrie, de la Jordanie. Les musulmans sont parqués dans des ghettos, derrière les barbelés des camps de concentration, les Chrétiens sont chassés de chez eux. Les localités sont réduites en cendres et en ruines. Bakr el-Bahr, Biram et Ikrit, Raphiad, Rafid... Combien sont-elles ces appellations devenues le symbole des victimes des actes de brigandage! Une politique anti-humaine telle est la ligne actuelle de Tel-Aviv.

Tel-Aviv a besoin d'hommes de main pour réaliser ses plans; il a besoin de sbires qui se chargent sans ciller de la plus sale et sanglante besogne. L'Etat sioniste les forme de façon planifiée. C'est ainsi que les écoliers israéliens, à peine ont-ils appris à lire et à écrire, répondent à la question : « Comment traiter les arabes? », « Il faut les massacrer! ». La sauvagerie commence sur le banc de l'école, c'est de là que part le chemin de Deir Yassine et de Bakr El-Bahr.

Dans les écoles israéliennes la part du lion est accordée, dans les heures de classe, à l'étude des écritures saintes qui « inculquent le sentiment de conscience nationale », c'est-à-dire 24 heures. De quoi traitent donc ces livres, quelles valeurs morales l'école de l'Etat sioniste apporte-t-elle à la jeune génération?

D'après la conception fondamentale de ces « manuels », en particulier du livre « Shulhan-Aruh », 1) *le monde doit appartenir aux adeptes du tout puissant dieu Jahvé, au nom de quoi ces derniers peuvent revêtir n'importe quel masque. Les biens des non judéens ne leur appartiennent que provisoirement, en attendant d'être remis entre les mains du « peuple élu ». Lorsque ce peuple surclassera numériquement les autres peuples « dieu les leur livrera tous à massacrer définitivement! ».*

* Article publié dans «U.R.S.S.», Bulletin édité par le Bureau Soviétique d'Information, 22.9.72.

2) *Voici les règles concrètes déterminant les rapports des judéens envers tous les autres hommes qui sont nommés avec mépris « goyas », « akums », soit encore « nazaréens ».* 3) *« Les Akums ne sont pas à considérer comme des hommes »* (« Orah-Haiim », 14, 72, 77, 79, 55, 197). 4) *« Il est strictement défendu au judéen de sauver de la mort un Akum avec lequel il vit en paix.* 5) *Il est interdit de soigner un Akum, même pour de l'argent, mais il est autorisé d'essayer sur lui l'effet d'un médicament ».* (« Jore-dea », 158). 6) *« Lorsqu'un judéen assiste aux derniers instants d'un Akum, il doit s'en réjouir ».* (« Jore-dea », 719, 5).

7) *« Accorder quoi que ce soit de bien à l'akum ou donner quelque chose à l'akum est un grand sacrilège. Mieux vaut jeter un morceau de viande au chien que de le donner à un goya »* (« Hoschen-ga-mischnat » 156, 3). *« Il est cependant admis de donner l'aumône à des akums pauvres ou de rendre visite aux malades afin qu'ils puissent penser que les judéens sont leurs bons amis »* (« Jore-dea » 151, 12).

De telles dispositions religieuses que l'on pourrait citer sans fin composent le code « moral » de la société sioniste. Les autorités d'Israël ont mis sur pied un département spécial de propagande et de diffusion à l'échelle de l'Etat de la Thora, du Talmud et autres matériaux idéologiques des sionistes. C'est sur cette base « culturelle et morale » que prend forme la conception du monde du « sioniste authentique » qui est tenu d'apprendre dès son enfance tous ces préceptes et de les citer par cœur, dans l'atmosphère solennelle du Bar-Misva (première confirmation), pour prouver sa « maturité idéologique ».

Ces règlements répugnants et odieux, la haine des autres peuples ont été inculqués dès le berceau à des générations entières d'Israéliens auxquels il est prescrit de 8) *« massacrer les goyas sous les voûtes divines »* (« Orah-haaim » 690, 16). Ces lois du judaïsme sont inscrites dans le règlement de l'armée israélienne et leur transgression est réprimée par voie disciplinaire. Elles constituent l'essence même de la politique de l'Etat sioniste.

M. ZANDENERG

ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ БЮЛЛЕТЕНЯ РОССОВА
«ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС», стр. 15-17

(1) Мир, по учению Шулхан-Аруха, *должен принадлежать евреям* и они, для удобства обладания этим миром, могут надевать на себя *«какие угодно личины»*. Собственность «гоев» принадлежит им только временно, до перехода в еврейские руки. А когда еврейский народ будет превышать численностью другие народы, то «Бог отдаст им всех на окончательное истребление».

(2) Вот буквальные правила из некоторых §§ «Шулхан-Аруха», определяющие отношения евреев к гоям, акумам или назареям (эти названия означают христиан иноверцев).

В молитве «Шефох» евреи *просят Бога излить свой гнев на гоев и истребить их под небесами Господними* (Орах-Хайим, 480, 690, 16). Молитва «симун» не должна быть произносима в доме акума, чтобы он не получил благословления. Молитва «кадиш» может произноситься, если соберутся 10 евреев вместе и ничто нечистое, — напр. извержение или акум, — не разделяет их». (3) «Акумы не должны считаться за людей» (Орах-Хайим 14, 32, 33, 39, 55, 193).

«Когда попадетс я навстречу акум с крестом, тогда еврею строго запрещается наклонять голову, хотя бы в эту минуту он молился». (Орах-Хайим, 113, 8). — Проходя мимо разоренного храма акумов, каждый еврей обязан произнести: «*Слава Тебе, Господи, что Ты искоренил отсюда этот дом идолов*». Проходя же мимо нетронутого еще храма, он должен сказать: «*Слава Тебе Господи, что Ты лишь гнев над злодеями*». (Орах-Хайим, 224). — «Каждому еврею ставится в обязанность всякий храм акумов искоренять и, во всяком случае, — *давать ему позорные наименования*» (Иоре-Деа, 146, 14 и 15). — «Когда против храма еврей вынужден наклонять голову (наприм., он уронил деньги на землю), то в этом случае он должен повернуться к храму спиной» (Иоре-Деа, 150). — «Еврею запрещается давать или продавать акуму воды, когда ему известно, что эту водою хотят крестить» (Иоре-Деа, 139).

(4) *«Еврею строго запрещается спасать от смерти (положим — утопает) даже такую акуму, с которым он живет в мире».* — (5) Согласно с этим запрещено еврею лечить акуму даже за деньги, но дозволено испытывать на нем лекарство — *полезно ли оно (или вредно)?* (Иоре-Деа, 158). — (6) *«Когда еврей присутствует при смерти акуму, должен радоваться такому событию»* (Иоре-Деа, 340, 5). — *«Пред кладбищем акумов, еврей должен сказать: в дольшом стыде будет мать ваша».* — Когда еврей видит хорошо выстроенный дом акуму, он обязан воскликнуть: *«Дома надменных разорит Господь»* (Орах-Хайим, 224; Талмуд Берахов: 54, 58). — *«Всякого человека, который намерен сделать донос на еврея, — считается добрым делом убить; и тот будет блажен, кто раньше других обратит на него смертоносный удар»* (Хош.-Мишпаль 388, 10).

А вот уроки нравственности:

«Если умирающий еврей в своем завещании оставит что-нибудь акуму, то исполнять этого не следует». — *«Если еврей нашел что-нибудь принадлежащее акуму, то нет надобности возвращать ему, за исключением случая, когда это делается с целью побудить назареев сказать: «евреи очень честные люди».* — *«Когда еврей встречает животное, которое упало под тяжестью груза, и если то и другое принадлежит акуму, то он не обязан спешить на помощь».* — *«Если еврей должен акуму и тот умер, то он не обязан уплачивать своего долга наследникам, если они о том не знают».* — *«Обманывать гоя дозволяется, но так, чтобы обман не обнаружился, а также можно не уплачивать ему следуемого по счету».* — *«Когда арендатором состоит акум, то дозволяется вредить ему».* — *«Еврею с евреем играть в карты и обирать его запрещается, а с акумом вполне можно»* (Хошен-га-Мишпат, 256, 3; 259, 272, 8, 9; 283; 348; 369 и 370).

«В дни праздников, если еврей приготовляет для себя пищу, то он может добавить в горшок провизии еще для прокормления собаки, но добавлять провизии, чтобы прокормить акуму строго воспрещается». — *«В те же праздники вполне разрешается отдавать акуму деньги в рост, иначе случай будет упущен и еврей потеряет свой барыш»* (Орах-Хайим: 512, 539). — *«Если еврей держит акуму в руках (по буквальному переводу «сдирает шкуру»), то другой еврей может придти к этому акуму, дать ему в долг денег и надуть его так, что-бы он все*

потерял» (X. Мишпат, 156). — «Когда у еврея по ком-нибудь траур, то семь дней он не должен покидать свой дом. Но если представляется случай дать акуму деньги в рост, то еврею дозволяется выйти из дома и прервать свой траур» (Иоре-Деа, 380). — «Если акум требует деньги с еврея, то другому еврею, знающему правоту акума, *запрещается быть свидетелем в пользу акума*» (X. Мишпат, 28).

«Еврей может давать ложную присягу, особенно по делам кражи, или когда ему угрожают телесным наказанием». (Иоре-Деа, 239). «Строго запрещается еврею бить своего ближнего; но ближний — только еврей: а *бить акума* вовсе не составляет греха».

(7) *«Уделить что-нибудь хорошее на долю акума или дарить что-нибудь акуму считается большим грехом. Лучше бросить кусок мяса собаке, чем дать его гою»* (X. Мишпат, 156, 7). «Однако, можно иногда подавать милостыню бедным из акумов, или навещать их больных, чтобы они могли думать, *дубто евреи — хорошие друзья для них*». (Иоре-Деа, 151, 12) ...

Из официальных документов Парижского Трибунала
(март-апрель 1973 г.)

(Перевод с французского)

ДЕВЯТАЯ СТРАНИЦА ОТЧЕТА О СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ

«... В ходе процесса Суд принял во внимание следующие соображения и обстоятельства настоящего дела:

Ложное утверждение статьи бюллетена «СССР» о том, что «иудеи» не считают людьми инаковерующих, ложное утверждение, которое порождает ненависть к еврейскому народу и способствует исключению евреев из общества других людей,

свидетельства и доказательства того, что расовая клевета являлась уже неоднократно стимулом преследований и массовых убийств,

Заявление Рене Кассена, Нобелевского лауреата, о том, что Советский Союз подписал в 1965 году Декларацию Прав Человека и Гражданина и Акт соглашения о борьбе с дискриминацией,

Заявления Григория Свирского и его доказательства того, что статья, опубликованная в журнале «СССР», есть ничто иное, как едва измененная копия книги Россова, изданной в Петербурге в 1906 году перед началом серии погромов, под названием «Еврейский Вопрос»,

Заявления Гастона Моннервиля, обратившего внимание Трибунала на то, что т.н. «Сионские Протоколы» (они лежат в основе утверждений Россова) являются опасным, ведущим к преследованиям текстом».

Всесторонне рассмотрев вопрос, суд вынес нижеследующим приговор.

ПРИГОВОР Парижского трибунала

(На заключительном заседании, имевшем место 24 апреля 1973 года)

... Принимая во внимание сущность процесса-обвинение журнала «СССР» в пропаганде расизма, и то, что пропаганда расовой ненависти является предусмотренным законом преступлением,

принимая во внимание сущность обвинений, высказанных в статье журнала «СССР» и то, что сам редактор указанного журнала Робер Леганье признал на суде напечатанные тексты «досадными» и опубликованными «по ошибке»,

принимая во внимание то, что статья журнала «СССР», направлена не только против сионизма, как это может показаться, но написана так, что содержащиеся в ней обвинения исподволь распространяются на всех лиц еврейского происхождения,

принимая во внимание то, что согласно высказанным на суде доказательствам Григория Свирского и двух присутствовавших на процессе раввинов, и согласно показаниям Леона Полякова, религиозные книги иудаизма (и в частности) книга Шульхан-Арух, написанная лет четыреста тому назад) были искажены в свое время чиновниками царской «Охранки» и авторами т.н. «Сионских Протоколов»,

Трибунал признал вполне приемлемой предоставленную ему жалобу (приемлемой, — вопреки утверждениям обвиняемой стороны о необоснованности процесса).

Робера Леганье, допустившего напечатание в журнале «СССР» статьи, вызывающей у населения чувство ненависти к определенной группе лиц на основании их этнического или расового происхождения и на основании их религиозной принадлежности, Суд признал виновным в нарушении закона и присудил виновного к уплате штрафа в размере тысячи пятисот франков и к уплате Лиге ЛИКА символического возмещения в размере одного франка.

Помимо этого Суд выносит решение, согласно которому журнал «СССР» обязан опубликовать на своих страницах текст заключения Суда касательно виновно-

сти его редакции в незаконном напечатании призыва к расовой ненависти и сделать все необходимое для опубликования текста приговора Суда в шести различных газетах.

Кроме того, все расходы и издержки, связанные с ведением процесса, должны быть выплачены обвиняемой стороной.

ПОДПИСЬ СУДЬИ

«СВИДЕТЕЛЬСТВА»

ДНЕВНИКАМИ Э. Кузнецова открылась новая серия, посвященная злободневным вопросам. Написанные по свежему следу СВИДЕТЕЛЬСТВА неизбежно будут носить на себе отпечаток субъективности и страстности. Многие в них будут спорным и не обязательно соответствовать установкам издательства. Объединяющая их черта будет — искренность и подлинность. Они будут исходить от людей, запечатлевших свое свидетельство жертвой. «Я верю только тем свидетелям, которым рубят головы», говорил Паскаль. Из таких свидетельств, в первую очередь, и будет состоять эта серия.

1. Э. Кузнецов. Дневники (1973).
2. Г. Свирский «Заложники.»
3. «ВСХОН». Люди, идея, программа (готовится к печати).

